Андрей Янукович

Растение

избранные
стихотворения
повесть
рассказы

АНДРЕЙ ЯНУКОВИЧ

РАСТЕНИЕ

ИЗБРАННЫЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОВЕСТЬ

РАССКАЗЫ

Удивительные приключения поэтического духа.

Размышления о великом и мелком, о грустном и весёлом, о вечном и сиюминутном.

Волшебные зарисовки феноменов природы, блестящие пассажи о любви и грусти, о молодости и увядании, об иллюзиях и неизбежной меланхолии.

Автор приглашает в долгое путешествие по лабиринтам неуспокоенной человеческой души.

Образный, аллегоричный язык создаёт живые картины, малые формы завораживают глубиной, поэзия и проза, сплетаясь и дополняя друг друга, рождают новую вселенную.

Данная книга – невероятно крепкий сплав из двух сотен стихотворений, нескольких ранних рассказов и повести "Растение" – мистерии в жанре магического реализма, – произведений, создававшихся автором на протяжении четверти века.

© 2019 Все права защищены

Благодарю за интерес к моей книге. Книга может быть воспроизведена, скопирована и распространена в некоммерческих целях, если она останется в своём полном оригинальном виде.

Сайт автора: https://ianukovich.ru.

ПРОЗА

РАСТЕНИЕ

Повесть

ГЛАВА 1
СЕМЕНА

Аристарху Матвеевичу снился сон.

Тьфу, гадость какая! Даже сквозь полное бессознательное забытьё чувствовал он всю мерзость посетившего его существа. Собственно, слово "мерзость" скорее относилось не к существу, а к той нелепой ситуации, в которой оказался он, кротчайший Аристарх Матвеевич.

Дело в том, что сны Аристарху снились частенько. И разные. По большей части до оскомины скучные, бело-чёрные, чаще – навеянные тем или иным событием его долгой целомудренной жизни. Подобную же непристойность он видел впервые. И потому даже сквозь сон ощущал болезненную неловкость.

Спал он, по случаю затянувшихся холодов, в кальсонах и майке под ватным лоскутным одеялом. Вата в одеяле давно превратилась в труху, и Аристарх каждый вечер перед сном разравнивал своё любимое одеяло аки крестьянин свою десятину. В тот момент, когда снизошло к нему это чудо, первой мыслью Аристарха Матвеевича была именно мысль о кальсонах. Что ж, в данной ситуации вполне уместная щепетильность.

А сон был таким.

Сначала сгущалось почти осязаемое предчувствие. Обрывки былых снов в панике разлетались. Параллельно в Аристархе Матвеевиче рос протест против этакого насилия над его самобытной личностью. Интерес тоже был. Человек по природе своей – исследователь, вот и Аристарх Матвеевич решил проследить, чем же это всё закончится. А предчувствие меж тем сгущалось. И вот, сгустившись наконец до прямо-таки неприличного состояния, оно породило НЕЧТО.

НЕЧТО было девкой. Или бабой. Или чем-то сродни валькирии. Существо это воцарилось прямо посередь его квартиры, то бишь посреди комнаты, поскольку квартира была однокомнатной. И темнели очи, и светилась кожа, и самым страшным было то, что

явление это было по пояс голым. Слава богу, что только по пояс, блеснуло в мозгу Аристарха Матвеевича.

Дева подняла руки и приблизилась. Не подошла, не подплыла, а просто вдруг стала ближе. Заглянул Аристарх Матвеевич в страшные глаза (что и говорить, с ужасом заглянул), а они вовсе и не страшные. А больше хитрые. Хитрые и зовущие. Влажные и в то же время обжигающие. Тьфу, грех! Пакостные глаза, что и говорить!

И вот ещё на что, спя, обратил своё внимание Аристарх Матвеевич. Кожа. Кожа у снившейся ему женщины была намазана маслом. Или казалась таковой. Да что там – казалась, – во сне ведь всё всегда знаешь наверняка! Кожа была густо умащена маслом. Хоть облизывай.

И вот тут Аристарх Матвеевич сделал несвойственный ему жест. Он высунул язык.

Так уж было устроено в его организме, в его психической организации, что в любом сновидении существовало одновременно как бы два Аристарха Матвеевича. Один был, так сказать, непосредственным орудием сна (не игрушкой, нет! для этого спящий был слишком ответственным человеком), а другой стоял снаружи (а может, и не снаружи – поблизости) и наблюдал за первым. И не просто наблюдал, а был как бы глазом общественности. Общественным обвинителем.

Случилось: когда первый Аристарх Матвеевич (совершенно несообразно своей натуре) высунул язык, второй Аристарх Матвеевич попробовал этот язык запихнуть обратно. Не удалось, потому как девица – или как её там – предприняла неожиданное контрнаступление.

Она заговорила.

Озвученный сон – редкость. А следовательно, – большая удача.

Она сказала:

– Дай-ка свои руки, Аристархушка.

Аристарх Номер Два на всякий случай попробовал проснуть Аристарха Первого.

Опять не получилось. Аристарх Первый протянул руки.

– Ладони, – попросила дева.

И эта просьба была исполнена.

– Не делай этого! – завизжал Аристарх Второй. – Неужели ты не понимаешь, это ловушка!

А гостья тем временем взяла двумя руками свою цветущую голую огромную лоснящуюся грудь и положила её на ладонь Аристарху. По телу несчастного пробежала дрожь. Грудь была горячей и тяжёлой. Аристарху вдруг неодолимо захотелось вдавить свои пальцы в эту сладкую плоть, погрузиться в неё и мять, мять, мять.

Рот его наполнился слюной, он судорожно сглотнул.

– Тебе нравится, Аристархушка? – спросила вакханка, кладя вторую свою необъятную грудь на вторую ладонь Аристарха Матвеевича.

– Извращенец! – завопил Общественный Обвинитель, чьё неусыпное око от зримого им вылезало из орбит. – Я сгорю от стыда!

– Пусть горит, – согласилась грудастая.

И тут же Аристарх Второй был охвачен пламенем и, превратившись в смерч, унёсся прочь.

– Ты стал подставкой для грудей, Ариста-а-арх! – донеслось из удаляющегося огненного столба.

– Не обращай внимания, – произнесла она. – Обычная людская зависть.

Аристарх Матвеевич кивнул.

– Ты хочешь меня? – распутница улыбнулась, и он увидел её язык. Язык был зелёным.

– Я не могу, – хотел сказать Аристарх, но у него почему-то вышло: – Это не я.

– Ты, Аристархушка, ты, – шептала она, приближая своё лицо к его лицу. – Ах какой ты горячий, я просто таю.

И, правда, Аристарх увидел, как её груди, всё ещё лежащие на его ладонях, потеряли свою форму и вдруг потекли сквозь его пальцы. Это было ужасно. Вернее, это было ужасно приятно. Вы когда-нибудь мяли горячий воск? Если мяли, то должны понять Аристарха. Ещё будучи мальчиком, он очень любил прикладывать

тёплые восковые катыши к лицу, к губам и прочая. Ощущение текущих грудей было ещё приятнее.

Девица засмеялась.

– Ты растопил меня, Аристархушка! – хохотала она. – Какой в тебе огонь! Какой огонь!

В мятущейся сердцевине Аристарха вразрез всему почему-то опять всплыло воспоминание о кальсонах.

– Ты мой, ты будешь мой! – шептала она, начиная терять очертания. Её шёпот перешёл в гром и тут Аристарх Матвеевич открыл глаза.

– Вот дьявол! – выругался Аристарх, увидев перед собой потолок.

Сон прервался, но не ушёл. Он был здесь, рядом, всей своей кожей Аристарх Матвеевич чувствовал это.

– Вот дьявол! – повторил он.

Глаза обежали круг по комнате. Всё было на своих местах. Наступало субботнее утро.

Выпростав руку из-под одеяла, он отёр лицо, стараясь прогнать наваждение. Реалии дня медленно проступали сквозь ткань полусна.

Мало-помалу возвращались на свои места предметы в комнате и мысли в голове Аристарха. Он вспомнил, что сегодня выходной день и его ждёт… *подставка для грудей*... вот же прицепилась, мерзость! Его ждёт… что его ждёт? Он матерно выругался и сел в постели. Да что же это со мной в самом-то деле, подумалось ему. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, он откинул одеяло и сел. На нём были кальсоны, те самые, которые всю ночь почему-то вертелись у него в голове. Никогда больше не буду спать в кальсонах, определил для себя Аристарх и отправился в туалет.

Справив нужду, он почистил зубы, бросил взгляд на свою физиономию в зеркале и решил побриться. Часы показывали шесть пятьдесят восемь. Какого я поднялся так рано, подумал Аристарх. Спал бы ещё да спал… *да воск бы мял*. Да что же это такое! Кончится это когда-нибудь или нет! Ему живо представилось, что, если сейчас он вернётся в кровать, ляжет и закроет глаза, он опять окажется рядом с этой фурией. Нет, это невыносимо! Аристарх

долго намазывал щёки и подбородок пеной, затем остервенело скрёб себя тупой бритвой; закончив, ополоснулся холодной водой и вернулся в комнату.

Взгляд его упал на разваленную кровать, на комковатое одеяло, и ему вдруг захотелось поднять морду и завыть.

Но вместо этого он вздохнул и пошёл на кухню готовить завтрак.

Проглотив яйцо в мешочек и выпив горячего сладкого чаю, он проснулся окончательно.

Включил радио, глянул в окно.

Солнце встало. День обещал быть хорошим.

Аристарх собрал крошки со стола и бросил их в рот.

Радио сообщило, что у "МММ" по-прежнему нет проблем. Аристарх от души пожелал им подавиться хотя бы их отсутствием.

Чего-то я хотел… подумал он. Посидел, уставясь в окно. Ничего не вспомнил. Соседская девчонка выгуливала бультерьера. Да, симпатяга под стать хозяйке, отметил Аристарх.

Он натянул брюки, пригладил остатки волос массажной щёткой, надел пальто и вышел на улицу.

Было холодно и прозрачно. Бодряще. Аристарх Матвеевич поднял воротник, вдохнул и выдохнул. Лёгкое белое облачко слетело с его губ. Если не потеплеет, придётся опять спать в кальсонах, подумал он. Мысль эта неожиданно расстроила его. Он с досадой похлопал себя по карманам. Ага, вспомнил, – он хотел купить сигарет! Направился к киоску, отвалил кучу денег, купил "Космос", открыл, затянулся глубоко и с удовольствием.

Вернулся к подъезду. Сел на лавку.

Подошла соседская девчонка с бультерьером.

Бультерьер обоссал скамейку, обнюхал Аристарха.

– Доброе утро, Аристарх Матвеевич, – сказала соседка.

– Для твоего волкодава оно доброе. Собачье утро.

– Не в духе с утра?

– Ага, не в духе.

– А закурить дадите?

– Держи, – протянул пачку.

– А спички есть?

– Может, тебе ещё и лёгкие одолжить?

– Не, лёгкие не надо.

Прикурила.

– Ну, пока, Аристарх Матвеевич.

– Пока-пока.

Не любил он выходные дни, ох как не любил. В будни-то всё при деле каком-нибудь, то работа скучать не даёт, то пьянка лишние мысли прогонит. А в субботу эту чёртову да в воскресенье начинают одолевать всяческие ненужные размышления. Так гуртом в голову и прут! И о чём бы ни думал – всё к одной мысли приходит: да что же это за жизнь-то такая! Что за собачье существование! Да нет, какое там собачье – хуже! Вон, бультерьер соседский, выспался, выссался, аж светится весь, счастлив и весел. Ох и мало же ему, псу этакому, надо. А тебе, Аристарх, много надо, что ли? Твоя-то печаль по какому такому случаю? Али не кормлен ты? Али занемог? Али я тебя не холю, али ешь овса не вволю… Во-во, то-то и оно, а вот случись такое дело, вот вам и – пожалуйста… Человече, ты, Аристарх. И как всякий человече, ищешь ты не покоя, а приключений на свою лысую голову. Да уж какие тут приключения! Кран вон в кухне третий месяц течёт – вот и все приключения. Эх, будь они неладны, эти выходные!

Поднялся Аристарх со скамейки, стрельнул бычком в урну – промазал. В подъезд вошёл, достал ключи, заметил в почтовом ящике какую-то бумажку, решил посмотреть.

Ящик открыл, извлёк бумажку, прочитал:

ИЗВЕЩЕНИЕ.

Кому? Ему. Откуда? Город Москва. Ценная бандероль. Ценная? Ну да. И ценность указана. Шесть тысяч триста семнадцать рублей. Ишь ты, ещё и семнадцать… И всё. Штамп и подпись. А с чем бандероль – ни слова. Хмыкнул Аристарх Матвеевич, засунул извещение в карман и поднялся к себе.

Скинул ботинки, прошёл на кухню, достал из холодильника бутылку пива. На опохмелку брал, ещё в среду. Или в четверг? Нет, точно, отпускные давали в среду. Заночевал у Лёхи, поэтому и уцелела бутылочка. Отхлебнул, прошёл в комнату, включил телик. Распутина пела о белом мерседесе. И сама была вся в белом.

Вернее не вся, а только сверху. Что ж, как говорится, красиво жить не запретишь.

Достал курево. Выпала бумажка. Извещение. Ещё раз перечитал. Интересно, кто это ему и что прислал из столицы нашей родины? Стал вспоминать, где у него лежит паспорт. Встал, пошарил в шкафу. Паспорт оказался во внутреннем кармане пиджака. Положил извещение в паспорт. Решил: делать всё равно нечего, схожу на почту. Или по субботам почта не работает? Ладно, схожу, там видно будет.

Почтамт оказался открытым. Аристарх Матвеевич подошёл к окошку, подал квиток.

– Заполните, пожалуйста, – попросила девушка.

– У меня ручки нет, – пожаловался он.

– У меня тоже, – парировала та.

– Ну вот же у вас ручка, – наивно подметил Аристарх Матвеевич.

– Ну и что, я ведь работаю.

На хрен я сюда пришёл, подумал он. Обвёл взглядом зал, никого с ручкой не заметил. Возникло сразу три желания: сматериться, разорвать это извещение к чёртовой матери и допить пиво, что осталось дома. Сунул бумагу в карман и вышел на улицу.

Баран, обозвал он себя. Баран в козлячьей стране. Немного отлегло. Выругался вслух, матерно. Полегчало уже заметно. С чувством сплюнул. И – хоть снова заходи на почту. Вот что значит аутотренинг!

Но на почту Аристарх Матвеевич не пошёл. Пусть они там все подавятся своими ручками, пусть они их себе туда поглубже засунут – от души пожелал он работницам связи и отправился домой.

Теперь во дворе гуляло уже три собаки. Визгливая блядовитая колли из четырнадцатой квартиры, мраморный дог блядовитой девицы из дома напротив и ещё какая-то брыластая чёрная шавка, которую он видел впервые.

Вообще-то Аристарх Матвеевич любил всякую живность. Простой взгляд на собаку, кошку или лошадь приносил ему гораздо больше душевного отдохновения, чем общение даже с самым близким человеком. Плохо это? Ужасно плохо. Но уж такой он

был человек. Когда-то в детстве у него дома в комнате жил воробей. Серый пушистый комочек. Беззащитный и совершенно не наглый, что выгодно отличало его от его дворовых собратьев. Подобрал Аристарх (тогда ещё Арик) его под кустом сирени, спугнув кошку, которая всё же успела впустить в бедолагу зубок. Воробышек был ещё жив и, лёжа на Ариковой ладошке, смиренно косил бусиной глаза. Не жалость проявил тогда мальчик, не сострадание, а естественное соучастие в судьбе этой божьей твари. Взял домой, напоил, накормил, выходил. Воробышек ожил, стал ласковый к Аристарху, близкий, как родная душа. Вот ведь – три косточки всего и пять пёрышек, можно на одну ладонь положить, а другой прихлопнуть, а стал птенчик этот пацану родней кого бы то ни было. Назвал он его Саньчиком. Почему? Безотчётно. Назвал, да и всё. А тут срок выпал с матерью к бабке в деревню ехать. Куда ж Саньчика? Не бросишь ведь, сиротинушку. Уж мать уговаривала и друзьям-то его оставить, и соседям, Аристарх – ни в какую. Не захотел расставаться с любимцем. Пришлось маме искать коробку попросторнее, проковыривать в ней дырки для вентиляции и – в дорогу. В поезде Аристарх не переставал справляться о здоровье своего друга – всё заглядывал в коробку, поправлял устроенную там из ваты постельку и даже выводил своего ненаглядного на станциях на прогулку. Однажды на одной из таких прогулок Саньчик, хромой на одну ногу, испугавшись паровозного гудка, сиганул под вагон, и маме с риском для жизни пришлось его оттуда вылавливать. Потехи было! Саньчик сделался любимцем всего вагона и с достоинством принимал щедрые подношения…

По приезде в деревню Саньчик был зверски съеден бабкиным котом с мерзкой кличкой Мурзик.

Горя было! В трагедии обвинялся дед, на чьё попечение (всего на каких-то пять минут!) на дворе был оставлен Саньчик. Дед прикорнул на солнышке, а коту-изуверу того только и надобно было.

Саньчика предали земле с большими почестями под буйно цветущей сиренью. Видимо, такой конец – под сиренью – был написан ему на роду.

С тех пор Аристарх Матвеевич похоронил и деда и бабку, но так, как он плакал над могилой Саньчика, он больше не плакал никогда в жизни.

Вот какая хреновина получается, по-субботнему тёк мыслями Аристарх Матвеевич. Он сидел всё на той же скамейке у своего подъезда. "Космос" был сырой и тянулся плохо. Пальто было старое и плохо грело. Всё и вся кругом было плохо, и среди этой плохости – один, в скорбях о безвременно почившем Саньчике – Аристарх свет Матвеевич.

Говорят: жадность фраера сгубила. Не жадность тебя губит, Аристархушка, – жалость! Безмерно участливая душа и однолюбство твоё к себе. Ибо после Саньчика никого, кроме себя, ты и не любил. О господи! Да не повторяй ты за диким народом глупости эти! На себя уже смотреть не можешь, ни изнутри, ни снаружи! До любви ли тут…

До слуха Аристарха Матвеевича долетела какая-то возня. Он отвлёкся от своих мыслей и увидел, как из подъезда буквально выпал Витенька. Витенька этот обретался на первом этаже и по случаю одному ему известному не просыхал, почитай, с рождения.

– А-а, брательник! – осклабился слюнявым ртом Витенька, заприметив Аристарха. – То-то я в окно гляжу, а ты тут сидишь!

Аристарх Матвеевич нехотя кивнул. Общаться с Витенькой – было себя не уважать.

– Закурить, а? – мутно уставясь, испросил алкаш.

Аристарх Матвеевич сам достал из пачки сигарету и протянул Витеньке. Тот почему-то вдруг страшно обрадовался и попытался обнять Аристарха. Аристарх не позволил, выставя вперёд руку.

– Слушай Ари… – Витенька икнул, – Аристарх. Всё хотел тебя спросить. Почему тебя так зовут?

– Как?

– Ну, это, Ари… – на том же месте, – Аристарх. Во, видел! Даже глотка против!

– Отвяжись ты, – отмахнулся Аристарх.

Но у Витеньки с утра было игривое настроение.

– Ты, случайно, не из князей? – не унимался он, показывая, чтобы ему поднесли огонька.

Аристарх отдал ему спички и встал.

– Эй, ты куда? Эй!.. – закричал Витенька; и вдруг со злобой: – Иди-иди! Тоже мне, дерьмо собачье! Все вы тут одно дерьмо!

Последнее слово задело Аристарха. Он обернулся.

– А ты? Ты кто?

– И я дерьмо, – расплылся в улыбке Витенька. – Как положено.

Уже на лестничной площадке услышал Аристарх, как сожительница Витеньки в форточку орала ему:

– Что же ты, бля, всю водку-то выпил, а! Хули ты там расселся, гандон штопаный!..

Витенька что-то пытался возражать, но Аристарх Матвеевич уже открыл дверь и исчез в своей квартире.

Пиво стояло на прежнем месте. В один приклад осушив бутылку, он опустился на стул.

– Ка-зи-но, казино, казино, – пело радио. – Это музыка, песни, вино!

– Нажраться, что ли? – стукнула мысль.

Оценив известную наперёд перспективу и отчётливо увидев себя во всех – от первой до последней рюмки – состояниях, Аристарх Матвеевич решил отказаться от этой мысли. Так. Что ж ещё? Провести солнечную эту субботу наедине со своей меланхолией – эта участь его вовсе не прельщала. Кран, подумал он, вот что я должен сделать! Ага, тут же продолжило его второе "я", а заодно и бачок при унитазе, и трубу в ванной, и проводку в прихожей, и обои за кроватью, и…

Заткнись! – закричал Аристарх.

Яволь, – отозвалось "я" и послушно заткнулось.

– Ка-зи-но, казино, казино…

Аристарх решительно поднялся и направился в комнату. Там он выгреб из стола всё, разворошил эту кучу, почесал в затылке, свалил всё обратно, повернулся, уронил будильник, вспомнил чёрта, подошёл к окну и среди пачки пожелтевших газет отыскал авторучку. Шариковую. Белое с голубым. Без колпачка. Помнится, когда-то она писала, помнится, когда-то он разгадывал кроссворды… Прошёл в прихожую, извлёк из кармана паспорт, вернулся за стол и сел заполнять извещение.

А ведь та девчонка с почты права, думал он, выписывая паспортные данные, если каждый будет просить у неё ручку, её средство производства, то как же она сможет работать. Нет, та девчонка с почты определённо права. И правильно она ему ответила. Не огрызалась ведь, нет, а спокойно и резонно возразила. Ладно уж, чего там, сейчас заполним бланк, и всё будет хоккей. Его взгляд упал на номер паспорта. Ишь ты, ужаснулся вдруг Аристарх Матвеевич. Никогда не обращал внимания. В номере – три шестёрки подряд! Вот те на! Это же дьявольский знак! Или он что-то путает? Да нет, точно, три шестёрки – знак Князя Тьмы. Он даже кино такое глядел.

Ты, случаем, не из князей?.. Перед глазами всплыла слюнявая физиономия Витеньки. Охолонуло. О господи! Не хватало только этой напасти. И та ещё, с зелёным языком, сегодня ночью!.. Аристарх Матвеевич ощутил, как волосы у него на ногах встали дыбом. Буквы на бумаге запрыгали, будто желая залезть обратно в ручку, мысли съёжились и, как спасительная, трепыхалась одна, последняя: сейчас позвоню Лёхе и нажрусь.

Но прошла минута, и Аристарх Матвеевич стал успокаиваться. Успокаивать ся. Дурак, говорил он себе. Приблизительно с той же интонацией говорил, что и Витенька своё "дерьмо". Напридумывал бог знает чего! Нагнал жути! Знаешь, как это называется? Это называется: эхо в пустой голове. Вот как это называется. Наплюй и разотри. И не бери в голову. Что за чертовщина, в самом деле! Смех!

– Ну всё, хватит! – с этими словами приободрённый Аристарх Матвеевич дописал бумагу и, захватив ручку (учёный!), вышел из дома.

Из Витенькиной форточки отчётливо слышалась брань. Помнится, с месяц назад случайно как-то забрёл Аристарх Матвеевич в книжный магазин и был поражён, увидев там книгу под названием "Русский мат. Опыт исследования нестандартной лексики". Книжица была тоненькая и, просмотрев её, он согласился, что это, действительно, только опыт. Витенька, похоже, от опытов давно перешёл к серийному производству.

На улице всё ещё светило солнышко. Народ не спешил покидать нагретые постели, и двор казался покинутым.

Две тёмные понурые фигуры копались в баках с отбросами, тут же крутились голуби с сифилитичными клювами. Рыжая облезлая дворняга, приволакивая лапу, трусила через детскую площадку. На всём лежала безмятежность субботнего утра.

Девчонка на почте даже не взглянула в его сторону. Она взяла заполненный Аристархом бланк и молча удалилась в таинственные задние помещения. Интересно, подумал Аристарх Матвеевич, паспорт не спросила…

Вернулась она через минуту, неся в руке небольшой белый конверт в полиэтилене.

– С вас шесть тысяч триста семнадцать, – сказала она.

– Чего? – не понял Аристарх. – Рублей?

– Нет, бразильских крузейро, – съязвила пигалица. – Наложенный платёж. Вы читали извещение?

– Читал, – ответил Аристарх Матвеевич, смотря на неё как баран на новые ворота. Почему-то ничего о наложенном платеже в извещении этом он не заметил. Мелькнуло: а у меня, похоже, и нет с собой столько.

– А что там? – он указал на конверт.

Девушка собрала бровки к переносице, читая.

– Семена, – ответила она наконец.

– Семена? Мне? – не понял Аристарх Матвеевич. – Откуда? Я не заказывал никаких семян!

– Вы будете забирать бандероль? – как-то очень устало поинтересовалась та.

Аристарх Матвеевич мгновение помедлил, соображая, на кой ему сдались какие-то, мать их, семена… но уходить отсюда во второй раз ни с чем ему вдруг показалось позорным, и он сказал:

– Хорошо. Давайте.

И полез в карман за деньгами.

На счастье у него в кармане оказалось что-то около восьми тысяч. Он отдал семь девчонке, получил сдачу и вместе с ней ценную бандероль. Отошёл в сторонку и решил прочитать.

Это был конверт размером в два обычных с чёрно-белым рисунком и текстом с одной стороны.

Ценная бандероль, гласил текст. Сумма н/платежа: шесть тысяч триста семнадцать руб. "Н/платежа", вот оно что! Сумма оценки: шесть тысяч триста семнадцать руб. Всё для садоводов. Предлагаем Вам: набор семян овощных культур для получения качественной рассады. Всего 20 пакетов. Прейскуранты на семена селекции ТСХА, цветы, саженцы, книги, журналы мод (?) и другие материалы для садоводов (!). С уважением, фирма "СРЕДИ ЦВЕТОВ". 121467, г. Москва, а/я 92, р/с 467468 Хорошевское отд. МББ МФО 201627 уч. 38. И в центре конверта наклейка. А на ней: Ц № 2666 из Москвы, его, Аристарха, адрес и полные фамилия, имя и отчество. Вес 70 г. Сбор 1480 р. Заказ 0909. На картинке сидел ёжик. Улыбающийся, нога на ногу, в валенках и с листьями на иголках.

Он прочитал всё до последней буквы, но это не приблизило его к разгадке. По какому такому случаю фирма "Среди цветов" шлёт ему семена? По ошибке? Но вот же его адрес и фамилия его! На шутку тоже не похоже. Да и не заказывал он никаких семян! Ни сада у него нет, ни огорода. Ни даже плантации картофельной, как у большинства его соплеменников.

Крякнул Аристарх Матвеевич, сунул конверт в карман и порешил так: дома разберусь.

Вышел с почты. В кармане – тыща с мелочью. Добрёл до киоска, на последние взял бутылку "Жигулёвского".

– Эй, мужик! – услышал он вдруг.

Обернулся.

Рядом стояли два подвыпивших молодых парня.

Один сказал:

– Слышь, мужик, добавь косарь, на пузырь не хватает.

Аристарх Матвеевич хотел было послать сосунка, но потом передумал и извлёк из кармана мятую сотню и медяки.

– На, – сунул он их в руку патлатому.

Тот пересчитал и крикнул вслед уходящему Аристарху:

– Эй, да тут хуйня какая-то!

– Нету больше, – не оборачиваясь, отмахнулся Аристарх Матвеевич.

Дома он разулся, аккуратно поставил ботинки в угол, снял пальто, достал из кармана чудну́ю бандероль, прихватил пиво и прошёл на кухню. Пиво поставил в холодильник, а сам взял нож и разрезал полиэтилен на пакете. Вскрыл пакет.

Внутри оказались пакетики поменьше, целая куча, и большой лист с текстом. Аристарх достал лист, развернул. Ничего себе портянка! Бумаженция длиной в полметра была вся заполнена убористым текстом, какими-то таблицами и картинками. Ну, это отдельное чтение, на досуге, решил Аристарх. Стал рассматривать пакетики. Были они маленькие, где-то пять на восемь сантиметров, и внутри у них точно песок пересыпался. Аристарх Матвеевич глянул на свет. Семена шуршали, в каждом пакетике их было – с ноготь. Ох и сокровище я приобрёл за шесть тысяч, хохотнул он.

Стал читать. Кабачок Грибовский. Щавель "Бельвильский". Ишь ты! Перец сладкий. Хороший закусон. Укроп, опять же Грибовский. Свёкла "Бордо 237". Томат Поток. Баклажан Алмаз. Не раскусишь. Томат Факел. Капуста Амагер. Лук "Стригуновский". Редис "Розово-красный с белым кончиком". Ах как романтично! Огурец Дальневосточный. Кресс-салат. А на этом пакетике ничего не написано… Далее. Кориандр "Янтарь". Огурец "Феникс". Редька зимняя. Репа "Петров". Морковь "Калисто". Сельдерей.

Пересчитал. Двадцать пакетиков. Не обманули.

Ну и на кой нам всё это добро? Стоило шевелиться и деньги тратить…

А! решил Аристарх, отдам Лёхе. У него жена огородница, да и сад у них есть. Глядишь, и сгодятся семена эти. Катерина вечно чего-нибудь выдумывает, солений всяких у неё не переесть. Может, и Аристарху перепадёт что со следующего урожая. Как родоначальнику.

Улыбнулся. Захватил лист с письменами, прошёл в комнату. Лёг на кровать, читая.

СРЕДИ ЦВЕТОВ. Бланк заказа. Так, мы уже заказали. Предлагаем следующие формы оплаты заказов: наложенный платёж,

предоплата почтовым переводом, предоплата по банку. Вниманию частных лиц: Рекомендуем Вам предварительно оплачивать заказы через местные отделения Сбербанка, тем самым Вы экономите на оплате почтового перевода. Ага! В следующий раз мы так и поступим! Заказы принимаются: по телефону, по факсу, по почте. Эх, жаль, у меня нет факса, посетовал Аристарх… Абонентное обслуживание… Ну хватит, что там дальше? Господа! Фирма "Среди цветов" предлагает подписку на 5 серий книг. Сами читайте! Условия подписки. Так. Предоплата. Так. …подписаться на журналы "Бурда" и "Верена". Отлично. Перелистнул. СЕМЕНА. Вот оно, родное. Культура, фасовка, количество, цена. Огурцы, томаты, арбузы, баклажаны. Так, тут всё понятно. Набор № 1, набор № 2, набор № 82. "Аптека на грядке". Перевернул. КНИГИ. Это уже было. Каталог "Цветочные культуры", каталог "Лекарственные растения". Зевнул. Отложил лист. Пива хочу.

Вернулся на кухню. Открыл бутылку. Сказал:

– Пиво – это то, что нам нужно! – и приложился к горлышку.

Убрал остатки в холодильник, вернулся в кровать.

Ж. Бенцони. "Марианна в огненном венке". – 415 с., тв. переплёт. Любовный роман. Е. Козловский. "Шанель". – 94 с., мягк. обложка. Серия "Бестселлер на завтра". Ги де Мопассан "Монт-Ориоль. Пьер и Жан. Наше сердце". – 511 с., тв. переплёт. № п/п. Кол-во. Цена, руб. И т.д. и т.п. Предоплата, наложенный платёж – ненужное зачеркнуть. Перевернул. НОВИНКА! НОВЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – ЭТО НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МИРОВОЙ НАУКИ ДЛЯ САДОВОДОВ! НОВЫЙ НЕТКАНЫЙ УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ из синтетического волокна характеризуется следующими ценными свойствами… Опять зевнул. САЖЕНЦЫ. Форма оплаты… Хрен с ними. ЦВЕТЫ. Гладиолусы, фрезия, георгины, многолетники… Глаза сами собой закрывались. Всхрапнуть, что ли? Глянул на часы. 11:22. Давай-ка, Арик, часок, до обеда.

Отложил бумагу, закрыл глаза.

Новые укрывные материалы, многолетники и Жюльетта Бенцони покрутились немного в его одурманенном мозгу и отступили в небытие. Аристарх Матвеевич погрузился в сон.

В этом сне, может быть, не сразу, но нашлось место всем растениям мира, включая редис розово-красный с белым кончиком и такую экзотику, как бордо-237.

Началось всё с тихой ржи и полевой ромашки, но постепенно стало твориться что-то невообразимое. Диковинные бутоны пухли телесами, словно мадонны Рубенса, по толстым сочным стеблям тёк сладостный сок, а тычинки (не говоря уже о пестиках!) вытворяли тако-ое… В каждом всплеске обтекавшей его сытой зелени чувствовалась пресыщенность и извращённость, нахальные жирные ладони дотрагивались до его интимных мест, и это были листья и какие-то лианы, какие-то вываливающиеся языки и выворачивающиеся губы. И вся эта свистопляска продолжалась до тех пор, пока сквозь тропические влажные дебри со свистом и гиканьем не прорубился к нему на выручку Общественный Обвинитель (далее – О.О.). Он выползал из растительной каши с окровавленной секирой (цвет крови на ней – изумруд), с глазами, в которых светилась девственность и непорочность.

– Предупреждаю, – хрипел он, – если ты немедленно не прекратишь, я отсеку тебе орудие греха!

– Ты не можешь причинить мне вреда, – с тихою нежностью отвечал Аристарх.

– Это почему?

– Потому что ты – это я.

– Не имею ничего общего с извращенцами вроде тебя!

Его снова стало засасывать, и О.О. так отчаянно замахал своей секирой, что поднявшийся ветер взметнул целый ураган пыльцы, в котором потерялись уже и Аристарх Матвеевич, и сам О.О.

Вытянутые руки Аристарха искали в пространстве и не находили. Канула вечность, и у него уже начала кружиться голова, потому как он не знал где верх, а где низ. Затем он неожиданно обрёл опору, но оказался стоящим на руках. Вернее, он парил, за что-то держась. Его пальцы стали узнавать это ЧТО-ТО, узнавать так стремительно, что Аристарх Матвеевич испугался.

– Ты пришёл опять, – влажно шепнула она. – Я знала, что ты вернёшься к своему цветку!

Из тумана вытекли священные груди, и узнавание было настолько ярким, что Аристарх Матвеевич ощутил нечто близкое к оргазму. Её язык проник к нему в рот, и ещё дальше, и Аристарх Матвеевич стал задыхаться. Задыхаться от наслаждения и экстаза.

О.О. рядом не было, и никто не мешал ему вкушать это неописуемое блаженство. Её язык прорастал в него подобно корню счастья. И чем больше его (языка) было в нём (Аристархе Матвеевиче), тем полнее был восторг. Они слились в единое целое, и он видел, как она втекает в него сквозь все мыслимые отверстия, и чем больше была его жертвенность, тем сильнее он её жаждал. И это длилось одну минуту, а потом язык исчез, и стало холодно. Аристарх Матвеевич забеспокоился, и его беспокойство переросло в какой-то дикий звон. Он увидел себя голого, на улице, и люди глядели на него, и некоторые даже показывали пальцем. Ему стало страшно, а звон всё рос и превратился в набат. И отец Андрей из Никольской церкви успокаивал его, а Аристарх Матвеевич только и молил, что об одежде, о нищенской тряпке, но батюшка всё говорил и говорил, а люди всё смотрели, и бил колокол…

Не сразу он понял, что звонят в дверь. Он вскочил, сердце выпрыгивало из груди, и он не знал, куда бежать.

В дверь снова позвонили. Аристарх Матвеевич окоченевшими ногами доковылял до двери, повернул замок.

Перед ним стояла незнакомая женщина. Вернее – силуэт женщины, поскольку свет падал сзади.

– Извините, пожалуйста, – сказал силуэт, – Владимир Иванович здесь живёт?

– Нет, – прохрипел Аристарх Матвеевич, ещё не вполне ощущая себя. Он был здесь, но как бы ещё и не весь.

– А где? – поинтересовалась женщина.

– Не знаю, – отрезал он. – Обратитесь в справочное.

– Извините, – сказала женщина, и Аристарх Матвеевич закрыл дверь.

Шагнул и понял, что Владимир Иванович – это, скорее всего, Владимир Иванович Ковач, его сосед по площадке.

Решил вернуться, повернулся и раздумал.

– Тьфу ты, чёрт! Сколько раз говорил себе: не спи днём!

Сходил в туалет. Посидел подольше, отогревая ноги, – в ванной всегда было тепло. Хоть спи там. Выкурил сигарету, вышел.

Достал из холодильника кастрюлю с позавчерашним супом, открыл крышку, понюхал. Вроде бы, нормально. Поставил суп на плитку, сел на табурет, ожидая, когда тот разогреется.

Взгляд упал на пакет с семенами. Машинально стал перебирать кулёчки, пробегая глазами названия. На одном названия не оказалось. Что бы это могло быть? Овощ? Цветок? При воспоминании о цветке мелькнуло что-то неуловимое, исчезло. Поднял пакетик к глазам. Сквозь плотную бумагу ничего не было видно. Семена неизвестного растения! Удивила мысль: **моего** растения. Ну да, ведь я заплатил за эти семена! И имею право делать с ними всё, что захочу. Надорвал краешек и высыпал несколько на ладошку. Семена были чудные. Звёздочками. Никогда бы не подумал, что такие бывают. Потрогал мизинцем, разглядывая. Посмотрел на окно. На подоконнике в старом горшке, прислонившись к стеклу, стояло длинное убогое "ушастое" растение, которое Аристарх Матвеевич, не знавший истинного его названия, нарёк "доктором". Это был одинокий толстый стебель, от которого через равные промежутки в разные стороны отходили пары больших мясистых листьев. На каждом из этих листьев по краям теснилось множество "деток" – маленьких листиков размером с булавочную головку и с тоненьким корешком. Большие листья по форме напоминали листья крапивы и имели похожие зубчатые края. "Доктором" растение было названо за его способность быстро и эффективно залечивать любые раны, язвочки, чирьи и прочая. Этот голенастый уродец был единственным живым существом, делившим это жилище с Аристархом Матвеевичем.

Аристарх Матвеевич встал, приблизился к окну и, повинуясь странному давлению внутри себя, вонзил указательный палец в горшок, в землю, туда, где рос "доктор". Затем высыпал в образовавшуюся лунку содержимое надорванного пакетика. Заровнял землю, отряхнул палец.

– Вот теперь всё! – сказал он и удивился тому, что говорит вслух.

Вопреки сказанному, в нём крепла уверенность, что это далеко не всё. Напротив, где-то там, в глубине, зрело предчувствие, что всё ещё только начинается.

Аристарх Матвеевич снял суп с плитки и сел есть.

ГЛАВА 2
ЦВЕТОК

Когда вечером этого дня Аристарх Матвеевич готовился отойти ко сну, он обнаружил довольно странную вещь. Он обнаружил, что во время своего полуденного сна самым постыдным образом испачкал свои трусы. Попросту – кончил. У него была поллюция. Вообще говоря, в его возрасте подобный факт не есть что-то особенно знаменательное, но таких вот спонтанных семяизвержений не было у него уже много-много лет.

Аристарх Матвеевич был удивлён. И ещё он не мог решить, как ему к этому отнестись, хотя было ясно, что расстраиваться тут не из-за чего. Немного смущало и то обстоятельство, что открылся этот казус только сейчас. Почему я не заметил этого сразу, думал он. Как бы то ни было, трусы были осквернены, и ему пришлось доставать из шкафа чистые.

Переодевшись, он посетовал на непрекращающиеся холода, натянул свои неизменные кальсоны и нырнул под одеяло. Вата в одеяле сбилась к ногам, и ему пришлось вставать, чтобы поправить положение.

Улёгшись окончательно, он свернулся калачиком – нужно было беречь драгоценное тепло.

Сон не шёл.

В голову лезла всякая ерундистика. Почему-то представилось, что женщина-тень, искавшая Владимира Ивановича, до сих пор бродит по подъезду и тыкается во все углы. Затем прилетела мысль о завтрашнем футболе по ящику, и он дал себе команду, не упустить сие из виду. Следом пришли вместе сожаление о шести тысячах трёхстах семнадцати рублях и воспоминание о початой бутылке пива в холодильнике. До завтра выдохнется, опечалился Аристарх Матвеевич, но вставать не стал. Потом он долго делил в уме шесть тысяч триста семнадцать на тысячу триста. Выходило четыре бутылки "Жигулей". А если ещё прибавить к остатку ту мелочь, что он отдал у киоска патлатому, то получалось чистых

пять бутылок. А вместо этого на кухне сейчас лежит кулёк с бестолковыми семенами.

Аристарх Матвеевич вздохнул и повернулся на другой бок.

Сна не было.

Нечего днём дрыхнуть, укорил он себя. Лежи вот теперь с вытаращенными глазами.

На улице залаяла собака. Аристарх Матвеевич пожалел эту собаку. Потом он услышал кран в кухне. Как странно, подумал он, вода капает постоянно, но слышишь это только иногда. Удивительное существо – человек.

Засим пришли мысли о месте и предназначении человека на Земле. Эта тема была особенно болезненной для Аристарха Матвеевича, поскольку не видел он для человека на Земле ни места, ни предназначения. Столь тяжкие думы вскоре утомили его, и он начал помаленьку задрёмывать.

Из состояния полусна его вывели пьяные крики под окном. Похоже, что там завязывалась драка. Басил мужской голос, к нему приплетался женский, потом женщина начала кричать, да так истошно, что Аристарх Матвеевич заткнул уши. В нём начинала закипать злость. Вот ведь сволочи, подумал он, сволочи, сволочи, сволочи. И ночью от них покоя нет! Сквозь заткнутые уши он услышал как бы два хлопка, на мгновение всё стихло, а потом раздался такой жуткий вой, как если бы танком переехали слона. Аристарх Матвеевич выругался и решил встать покурить. Под одеялом он уже согрелся, и вылезать в холод квартиры ему совсем не хотелось. Но ведь эти гады всё равно не дадут уснуть! Он выпростал ноги, нащупал тапки, накинул рубаху и прошёл на кухню. Зажёг сигарету и выглянул в окно. Ничего не видно. Он попрежнему слышал чей-то сдавленный вой и как будто приглушённые голоса. Кромешная темень во дворе не позволяла ничего рассмотреть. Потом стали зажигать свет в окнах нижних этажей, и тогда Аристарх различил внизу движущиеся тени и человека, одиноко лежащего на земле. Человек лежал свободно раскинув руки – так на пляже лежат курортники, разомлев от бешеного солнца. Аристарх Матвеевич удивился этой возникшей в его мозгу ассоциации, но тут осознал, в чём дело. Человек на земле был абсо-

лютно голый. Мурашки стройными рядами прошествовали по спине Аристарха Матвеевича. Ни хрена себе, сказал я себе! Вид обнажённого мужика внизу окончательно выбил сон из Аристарховой головы. Со своего наблюдательного пункта ему явственно был виден тёмный волос на лобке лежащего мужчины, лицо несчастного было в тени. Святы дела твои, Господи! Аристарх вытер губы и достал ещё одну сигарету. Вспоров ночь качающимся лучом, подъехала машина. Скорая. Врач, белея халатом, проследовал к лежащему и наклонился над ним. Рядом стояли люди. Мужика быстро погрузили на носилки, и неотложка, лавируя в кромешной темноте квартала, уехала. Люди внизу постояли ещё какое-то время и начали расходиться.

Аристарх отлип от окна. Так. Пиво. Где-то было пиво. С огромным наслаждением допил остатки. Как будто Боженька босыми ножками…

Вернулся в кровать. Перед глазами стоял (лежал) голый мужик. Ну, теперь точно не заснуть.

Но уснул Аристарх Матвеевич в эту ночь довольно быстро. И, на удивление, не видел никаких снов. Может быть, что-то и снилось, но ничего не запомнилось. И слава богу.

Утром – Аристарх Матвеевич ещё нежился в кровати – раздался звонок в дверь.

– Кого ещё принесло! – буркнул он и нехотя стал подниматься. Крикнул в сторону двери:

– Щас! – и стал натягивать штаны.

Поддел тапки, накинул рубаху и прошествовал в прихожую. Спросил:

– Кто?

– Милиция. Откройте.

Сердце ёкнуло. Повернул замок. Перед ним стоял человек в штатском.

– Вы позволите?

– Да. Конечно. Проходите, – отступил на шаг.

Человек, из-под густых бровей зыркнув на Аристарха Матвеевича, ступил через порог.

– Представьтесь, пожалуйста, – попросил вошедший.

– Арис… – Горло перехватило. Откашлялся. – Аристарх Матвеевич.

– Где мы сможем поговорить, Аристарх Матвеевич?

– А что случилось? – голос по-прежнему не слушался его.

– Сюда? – спросил человек, указывая в комнату.

– Нет, лучше сюда, – Аристарх кивнул на дверь в кухню.

Прошли.

В кухне было посветлее, и ему удалось лучше рассмотреть неожиданного визитёра. Лицо обычное, может быть, немного широковатое, мясистый нос, глубоко посаженные умные глаза, волосы коротко остриженные, слегка вьющиеся. Выделялись на этом лице только брови – они были тёмные, гораздо темнее волос на макушке, мощные и нависали над глазами как два утёса. Аристарху Матвеевичу тут же вспомнился легендарный генсек Брежнев.

– Я сяду, – сказал человек, похожий на Брежнева. Он взял табурет и сел спиной к окну.

– Итак, Аристарх Матвеевич… – он улыбнулся краешком губ. – Интересное у вас имя – Аристарх. Редкое. Так вот. Для начала представлюсь. Меня зовут Сергей Сергеич, а фамилия моя Иртеньев. Я следователь городской прокуратуры.

Он извлёк из кармана плаща удостоверение и развернул его.

Озадаченный Аристарх Матвеевич поднял было бровь, но перед ним вдруг живо встало воспоминание о голом мужике вчера ночью под его окном, и он понял всё.

– Он умер? – слова вылетели как-то сами собой.

Теперь была очередь следователя Иртеньева поднимать свою царскую бровь.

– Я вижу, вы уже в курсе.

– Нет-нет, – смутился Аристарх Матвеевич. – Я… просто… я видел.

– Вот-вот. Как раз о том, что вы видели, я и зашёл поговорить с вами. Да вы садитесь.

Аристарх Матвеевич опустился на табурет у стола.

– Вы знали погибшего? – Он убрал удостоверение.

– Видите ли… товарищ… дело в том, что я ещё, собственно, не знаю, кто погиб…

Глаза следователя блеснули из-под двух утёсов.

– Но ведь вы же сами только что сказали: "я видел"!

– Так-то оно так, – почему-то заторопился Аристарх Матвеевич, – но когда началась драка…

– А почему вы решили, что была драка?

– Не знаю. Там кричали. Мне показалось.

– Ну хорошо, и что дальше?

– Да, так вот, когда я выглянул из окна, вот из этого самого окна, я сначала ничего не увидел, потому что было очень темно. Вы же знаете, было поздно…

– Вы смотрели на часы?

– Нет, я не включал свет.

– Хорошо. Дальше.

– А потом зажёгся свет, там, ниже, и я увидел, что прямо у меня под окном кто-то лежит.

– Это всё?

– Нет. Ещё. Вы знаете, он был абсолютно голый.

Тут Аристарх Матвеевич неожиданно вспомнил, как во вчерашнем сне он умолял отца Андрея дать ему какую-нибудь тряпицу, прикрыть свою наготу.

– А что вы слышали? – продолжал свой допрос бровастый следователь.

А что вы чувствовали, в тон ему продолжил Аристарх Матвеевич. Вслух же сказал:

– Я слышал крики. Кричала женщина. Жутко.

– Вы видели эту женщину?

– Нет, я только слышал крик.

– Вы знаете эту женщину?

– Нет, я же сказал.

– Вы сказали, что слышали крики. Кто ещё кричал?

– Мне показалось, там были мужчины.

– Сколько мужчин?

– Не знаю.

– Вы слышали их голоса?

– Я слышал один мужской голос. Это точно.

– Что ещё вы слышали?

– Больше ничего.

– Хорошо, – вздохнул Сергей Сергеевич Иртеньев, следователь городской прокуратуры. – Скажите, Аристарх Матвеевич, что вас связывало с Виктором Афанасьевичем Рытиком?

– С кем? – не понял Аристарх.

– С погибшим.

– А кто это – Виктор Афанасьевич… как вы сказали?

– Рытик. Его фамилия была Рытик.

– Я не знаю никакого Рытика.

– До сегодняшнего дня он проживал в вашем подъезде в квартире номер два.

– Витенька! – ужаснулся Аристарх Матвеевич. – Так это был он?

– Вы не ответили на мой вопрос.

– О господи! На какой вопрос?

– У вас были какие-то особые отношения?

– У меня? С кем? С Витенькой? Да вы что!

– Как долго вы были знакомы?

Аристарх Матвеевич молчал. У него никак не получалось приложить смеющееся слюнявое лицо Витеньки, какое он видел вчера, к тому бледному неподвижному телу, что лежало этой ночью под его окном.

– Как долго вы были знакомы? – повторил свой вопрос Сергей Сергеевич.

– Я не знаю. Я живу тут давно. И он, сколько помню, всегда тут жил.

– Вы были друзьями?

– Побойтесь бога! С алкашом-то! Да у него в году если три сухих дня и случалось, так это был праздник для всего дома!

– Он так всем досаждал?

– Да нет… Разве что иногда.

– А вы что же, Аристарх Матвеевич, совсем не употребляете?

– Почему? Но я же не алкаш!

Следователь улыбнулся.

– Гусь свинье не товарищ? Так?

– Я даже здоровался с ним через раз!

– Да вы успокойтесь. Не вы же его убили.

Аристарх Матвеевич обомлел.

– Его убили?

– Это для вас новость?

Взгляд следователя проникал, казалось, в самую душу.

– То есть… вы сказали, что он мёртв. Но я же не знал…

– И вы не слышали выстрелы?

Охренеть не встать. Витеньку убили из огнестрельного оружия! Да кому он сдался-то, чтобы на него ещё пулю тратить. Аристарх Матвеевич недоумевал. Неисповедимы пути твои, Господи!

– Нет, – наконец произнёс он. – Я ничего не слышал.

– Это понятно, – сказал Иртеньев. – Ведь вы могли и спать в это время. Верно?

Следователь встал и выглянул в окно. Его плащ на заднице был живописно измят.

– Так вы говорите, он прямо вот тут и лежал?

Аристарх Матвеевич кивнул и тут же добавил:

– Да.

– Какой интересный у вас цветок, – заметил следователь, оборачиваясь от окна. – Как он называется?

– Я не знаю, – как бы в прострации ответил Аристарх Матвеевич, захваченный своими мыслями. На него вдруг обрушилось понимание бренности всего сущего и жуткой скоротечности человеческой жизни. Кроме того, его беспокоил тот факт, что сегодня он ещё не чистил зубы.

– Понятно, – сказал следователь Иртеньев. – И последний вопрос. Аристарх Матвеевич, не припомните, какого числа Рытик знакомил вас со своим завещанием?

– А? Вы о чём?

– Я просто хотел уточнить, когда оно было составлено.

– Я не знаю… О чём вы говорите?

Следователь молчал, разгуливая взглядом по лицу Аристарха Матвеевича. Наконец он сказал:

– Покойный оставил завещание в вашу пользу. Вы что же, не в курсе?

Если бы в этот момент Аристарх Матвеевич мог выйти и посмотреть на себя со стороны, он увидел бы довольно неприятную картину. Немолодой мужчина в жёваных брюках и тапках на босу ногу окаменело, подобно буддийскому божку, сидит на своей хрущёвской кухне, – а челюсть его ведёт совершенно самостоятельную жизнь, удаляясь всё дальше и дальше от лица своего хозяина.

– Как вы сказали?

И тут Аристарх Матвеевич засмеялся. Да нет – он самым настоящим образом захохотал! Он заливался всё пуще и пуще, и ему было неудобно перед следователем Иртеньевым, но он ничего не мог с собой поделать.

Глядя на него, улыбнулся и Иртеньев, и даже деликатно подождал, пока счастливый наследник преодолеет эту минутную слабость.

– И что там, в завещании? – растаскивая слёзы по щекам, стонал Аристарх Матвеевич. – Обоссаный матрас?

– Да нет. Всего лишь тридцать миллионов рублей.

Весёлость с Аристарха как ветром сдуло.

– Чего-о?!

Следователь качнул бровями.

– В завещании на ваше, Аристарх Матвеевич, имя, обнаруженном в квартире убитого, указаны банк и номер сейфа индивидуального хранения, в котором лежит упомянутая сумма. К сожалению, банк в воскресенье не работает, поэтому мы сходим туда завтра. А пока расскажите-ка мне, чем же всё-таки был обязан вам Виктор Афанасьевич Рытик?

Аристарх Матвеевич был не готов к таким сюрпризам с утра в воскресенье. Он видел – его пытаются в чём-то уличить (да что там! его уже уличили!), и его непричастность вынуждала его психовать. Мелькнуло: если бы это я всадил пулю в мокрогубого Рытика, я нервничал бы меньше.

Он начал было оправдываться и даже произнёс уже:

– Да ничего он… – как вдруг у него в душе всё перевернулось, и он стал противен сам себе.

– Мне нужно поговорить со своим адвокатом, – услышал он киношную фразу и не сразу понял, что говорит сам.

Мать родная, пронеслось в голове, чего я мелю, какой адвокат!

Лицо Иртеньева С. С. слегка окаменело.

– Это ваше право, – сказал он и встал. – Только прошу учесть, сегодня я с вами разговариваю как со свидетелем, и как свидетель вы обязаны давать показания. Никаких обвинений вам, Аристарх Матвеевич, не предъявлено и, надеюсь, предъявлено не будет, а потому адвокат здесь совершенно ни при чём. Надеюсь, вы понимаете, что свидетель по делу и обвиняемый – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. – Он направился к двери, но обернулся. – Завтра в девять мы должны быть в банке. Вам нужна повестка?

– Вообще-то я в отпуске… – растерялся Аристарх.

– Всего доброго, – и он вышел из кухни.

Аристарх Матвеевич вздрогнул, услышав, как хлопнула входная дверь. В нём во весь свой гигантский рост вставало осознание того, какую дурость он только что совершил.

– Кретин! – сказал он вслух. – Кретин!

Хотелось побежать следом и всё рассказать.

– Что! Что рассказывать-то! – Аристарх Матвеевич не замечал, что уже кричит. – Я выложил всё, что видел! господи!.. Завещание какое-то…

Всего лишь тридцать миллионов рублей… Да не может этого быть! Откуда у Витеньки, у пропойцы этого, такие деньги! Бред!..

Аристарх Матвеевич закурил. Заметил, что дрожат руки.

Эй-эй, сказал он себе, ну-ка, успокойся, чего ты расходился. Если это шутка, про деньги, – завтра всё выяснится. Ты же не виноват… А если не шутка? А если не шутка, значит, ты и убил. Ага, очень смешно!

Промелькнули, как во сне, обрывки виденного и слышанного. Голый Витенька с мертвенным загаром… Брови следователя Иртеньева и его слова "…как говорят в Одессе…". Размытым пятном в разинутой форточке Витенькина сожительница…

Может, спуститься да поговорить с ней? Не она ли кричала там, внизу, сегодня ночью?

Мысль эта показалась довольно удачной, и Аристарх Матвеевич накинул пальто и спустился вниз.

Когда он ещё только подходил к двери квартиры № 2, он понял, что ничего узнать ему не удастся. Дверь была опечатана. Он бросил угрюмый взгляд на приклеенную официальную бумажку и вышел на крыльцо.

На скамейке сидели две старухи.

Удачно я выглянул, подумал Аристарх Матвеевич, тут, как в ЦРУ, информация всегда с пылу с жару.

Одну из сидящих он знал. Это была тётка Роза, известная всему кварталу как санитар природы – её коньком был сбор стеклотары. В этом презираемом всеми ремесле она достигла таких высот совершенства, что среди бомжей и выпивох в своё время слыла настоящей колдуньей.

Аристарх подошёл ближе. Старушки повернули головы.

В глазах тётки Розы светилась волхвическая мудрость. Эта женщина-эпоха ещё помнила те благословенные времена, когда пустая бутылка стоила 12 копеек! Эх, было времечко… Бутылочный бизнес процветал, ещё не было миллионеров, но все были богаты и, выпив, не клали бутылку в карман. Злодейка жизнь – что бурный океан. И первая волна повышений цен на посуду буквально выбила краеугольный камень из фундамента её благополучия. Бутылки попросту перестали выбрасывать. Пришлось менять амплуа – тётка Роза подвизалась в торговле кичевой литературой. Всяческие сонники, травники, лечебники, оккультная ахинея, похабные анекдоты и анекдоты политические, нескончаемые брошюрки о сексе и царях-извращенцах не иссякали на её лотке. А если добавить сюда агитлистки анархистской партии, можно понять, что именно в этот период своей блистательной жизни тётка Роза занималась по-настоящему грязным делом. Эту новую статью её доходов скушало обвальное развитие гласности. Се ля ви. И вот на старости лет, закалённая в боях и умудрённая опытом, она вновь вернулась к своему высокому призванию – сбору пустых бутылок. Теперь, правда, это уже не назовёшь благородной миссией – нынче это скорее великомученический венец. На дворе – полная победа плюрализма. Народ нищ, тара сплошь импортная, а и

своя – найди ещё, где принимают. Вот и сидит тётка Роза на солнышке у подъезда как динозавр былых времён.

– Аристарх Матвеич! Слыхали? – Роза без всякой преамбулы перешла к сути. – Витька-то! А?

Аристарх Матвеевич решил схитрить.

– Нет, а что случилось?

– Да как же! Весь двор с утра на ушах! Убили Витьку-то!

– Да ну!

– Убили! Из автомата! Ночью сегодня стрельба была! Вы разве не слыхали?

– Меня дома не было.

– А-а, – Роза почесалась. – Вот тут он валялся, ещё кровь осталась. Ментов с утра было!.. Допрашивали всех. Меня тоже допрашивали. К вам разве не заходили? Ах да, вас же не было… А Верка-то – тю-тю. Вот ведь блядва!

– Кто это – Верка?

– Баба его, кто ж ещё! С Веркой он жил последний-то год! Причастная, видать, раз струхнула.

– Да кому он нужен, стрелять в него, – забросил крючок Аристарх Матвеевич.

Роза сотворила загадочное лицо и поманила Аристарха Матвеевича пальцем.

Он приблизился.

– Мы тут с Машей сейчас как раз об этом говорили… (Маша сидела как в рот воды набравшая.) Девчонки говорят, деньги у него крупные нашли! – сообщила она зловещим шёпотом. – А порешила его мафия! Вот тебе и разгадка!

– И сколько денег? – подыграл он.

Девчонки переглянулись.

– Миллиона два! – сообщила Роза, сама обалдев от своей смелости.

Аристарх Матвеевич изобразил на лице недоверие.

– А в квартире-то у него притон был! – продолжала она. – Вот денежки и стекались. А пил он для отводу глаз. Чтоб, значит, быть как все. А вчера, видать, чего-то не поделили. А ещё в квартире у него менты цветок какой-то чудной нашли. С глазами. И ещё… –

Розу начинало заносить. – Ещё, говорят, в больнице, перед смертью, он что-то про тебя, Матвеич, сказал.

– Про меня?

– Да. Вот, у Маши спроси, у неё сестра в больнице нянечкой работает. Она сегодня в ночь аккурат на дежурстве была.

Маша утвердительно кивнула.

– Да ну вас! – Аристарх Матвеевич отмахнулся.

– Вот те истинный крест! – Роза осенила себя крестным знамением.

– И что же он про меня сказал?

– Что сказал – не знаю, а только последние его слова были о тебе. – И шёпотом: – Синими остывающими губами твоё имя шептал! Александра врать не станет.

Маша снова кивнула.

Роза сощурила глаз и будто прицелилась.

– Ты, Матвеич, часом, не из ихней компании?

Он вздрогнул.

– Я-то? Само собой! Приглашаю и вас, девочки, на сегодняшнюю оргию. Вход – сто тысяч. Придёте?

Аристарха почему-то начало потрясывать.

– Тьфу! – сплюнула Роза и пообещала: – Подожди, голубчик, и до тебя доберутся!

Кто до него доберётся, Аристарх Матвеевич выяснять не стал. У него вдруг схватило живот. Вот ещё новости!

Он развернулся и нырнул в подъезд. Мигом взлетел на этаж. В нетерпении повернул ключ и не разуваясь ввалился в ванную. Вывернуло. Он не ел со вчерашнего дня, поэтому ничего не вышло. Было ещё несколько позывов, потом стало полегче. Он сел на край ванны и опустил голову. В висках стучало. Ты ещё не чистил зубы, Аристарх… Усмехнулся. Взял тюбик с пастой и взглянул на себя в зеркало. Цветок с глазами. Открыл рот. И с зубами. Бросил тюбик обратно в стакан, ополоснул лицо, снял чёботы и побрёл на кухню.

Белый свет втекал в окно. Сердце упало. Его "доктор" цвёл! Он никогда не видел его цветущим, хотя, сколько себя помнил, "доктор" всегда стоял у них на подоконнике. И в старой квартире, и в

новой, и даже переезжая сюда, он захватил с собой этого уродца как кусочек той, прежней, жизни. Растение и человек были чем-то схожи. Да, Аристарх знал это. Он угадывал: насколько нескладен его зелёный друг внешне, настолько сам он неуклюж внутренне.

А вот теперь его "доктор" цвёл! Это было дико. Это было так же дико, как увидеть беременного мужика. Аристарх Матвеевич подвинулся к окну. Вытянул шею и отёк взглядом это чудо.

Цветок красовался в гордом одиночестве. Огромный и вульгарный. Он почему-то вылез из основного стебля посередине и теперь изогнулся и с удивлением смотрел на то, что его держит. Он имел свой собственный стебель и был настолько уверен в себе, что казался спускающимся по стволу диковинным животным. Размеры цветка заставили Аристарха напрячь память: он уже приходил сегодня на кухню и… весь этот разговор со следователем… мятый плащ… отмотай-ка ещё… Какой интересный у вас цветок… Вот! Он сказал "цветок"! И только ты, Аристарх, опять ничего не заметил. Что у тебя с головой, дружок?

Мясистые лепестки, словно вымазанные не вполне свернувшейся кровью, царили на кухне. Форма венчика напоминала… о боже! У Аристарха возникло желание оборвать эту мерзость, паразитирующую на его старом испытанном друге. Снова напомнил о себе желудок… Знакомые контуры, влажный, сальный разрез, отороченный редкими ворсинками, словно влагалище волосками.

И тут вернулась память. Ведь он высыпал туда семена! Ну конечно, как он мог забыть! Смерть Витеньки, Иртеньев – всё это выбило его из колеи. Должно быть, именно эти семена (он помнил их звёздчатый контур) дали такой неожиданный эффект.

Всегда немного подвянувший, подсохший "доктор" – что и говорить, хозяин частенько забывал его поливать, – сейчас расправил свои ладони, налился силой и жизнью. Какой странный союз, подумал Аристарх. Что ж, он искренне желает своему чаду долгих лет и здоровой жизни.

От сердца отлегло. Живи, пизда, цвети и пахни, патетически измыслил Аристарх Матвеевич. В голове мелькнули похабные ассоциации, но он только криво усмехнулся.

Весь этот день он провёл дома в размышлениях о превратностях судьбы своей и мира. В 13:45 сел смотреть футбол, потом варил суп и ел его.

Желудок больше не капризничал, лишь при мысли о тридцати миллионах начинало сосать под ложечкой.

Несколько раз хотел сходить позвонить Лёхе, рассказать другану о случившемся, но так и не собрался, рассудив, что надо сперва хоть немного разобраться самому.

Вечером, уже перед сном, зашёл на кухню покурить, а заодно проведать своего зелёного брата, обременённого женским половым органом.

– Ну что, дружище? – спросил он, наклоняясь к растению. – Не высосала она из тебя ещё последние соки, а?

Приметил, что "доктор" и в самом деле как будто сжался. Или это был всего лишь контраст с цветком-исполином?

Ночью во сне летал.

Сон был хороший, вот только начался он не очень. Аристарх Матвеевич увидел себя из форточки голым внизу на земле. Причём, из форточки он высунулся тоже голым. Потом он слетел к тому, который лежал, и как бы вошёл в него, слился. Стрела дома, облитая жёлтым солнцем, прямо из его глаз уходила в бирюзовое небо, и было тепло и хотелось ввысь. Так он и сделал. Поднимался медленно, и каждый камень в стене всеми своими трещинками прошёл перед его взором. За стеклом своего окна увидел друга. Почему-то это был кактус. Он цвёл, мирно, бледно-розово. Аристарх Матвеевич не стал задерживаться у кактуса, поплыл выше. И так он поднимался и поднимался, его парение не добавляло ни новых впечатлений, ни новых эмоций, перед ним была всё та же стена, и только редкие окна в занавесочках и горшках скрашивали его путешествие наверх. Возношусь, подумалось ему. Покой снизошёл в его душу, спину пригревало, всё тело сковала невыразимая истома, и он улыбался и засыпал. И он действительно уснул в своём сне, потому что когда он снова открыл глаза, то не было уже ни бесконечного дома, ни занавесок, ни кактусов. Он по-прежнему парил в воздухе, но теперь под ним проплывали лаково блестящие озёра и тянулись изумрудные луга. Расшалившись, он стал выде-

лывать в воздухе разные штуки, всякие па, антраша и кульбиты. Душа его пела и искрилась, и, окончательно захмелев, он понёсся ракетой навстречу жёлтому пятну светила, и не было ветра, который бы раздувал его волосы, и становилось всё жарче и жарче. Наконец стало совершенно невыносимо, и он повернул назад…

Проснулся Аристарх Матвеевич весь в поту. Пододеяльник и простыня под ним были мокрые. И пот стекал по вискам, и до колик хотелось в туалет. Сегодня понедельник, стукнула мысль. И зачастило, зачастило сердце.

Утёрся краем одеяла и сел.

Итак, понедельник. Что день грядущий нам готовит… Все чёрные мысли, связанные с событиями последних двух дней, ожили и зароились у него в голове.

А жить-то надо, решил он и пошёл ссать.

ГЛАВА 3
КОРНИ

Иртеньев позвонил в дверь, когда часы показывали 8:52.

Аристарх Матвеевич сразу догадался, кто это. Он уже привёл себя в порядок, почистил зубы, побрился, проглотил неизменное яйцо и теперь сидел на кухне и курил уже третью сигарету в ожидании новых напастей.

Иртеньев не стал проходить в квартиру, только коротко бросил:

– А! Вы уже собрались. Отлично.

Они спустились на улицу.

– Вы знаете, где находится Искра-банк? – спросил следователь.

– Нет.

– Пойдёмте, тут недалеко.

Через пару десятков шагов Иртеньев проронил:

– Погодка-то, а? Никак налаживается!

Ничего не ответила рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море… Почему я не рыбка, подумал Аристарх Матвеевич. Поддакнул:

– Да, похоже, налаживается.

– Директор банка ждёт нас в девять тридцать, – сообщил Иртеньев, – так что мы вполне успеваем.

На улице действительно стало гораздо теплее. Даже пальто, несмотря на ранний час, казалось лишним. Вот почему я так взмок сегодня ночью, отметил Аристарх.

Они шли рядом. Сергей Сергеевич чуть впереди. В руке он держал портфельчик, которым слегка помахивал.

– Вы не вспомнили ничего нового? – поинтересовался он как бы между прочим.

– Нет. Ничего.

Они пересекли парк, миновали перекрёсток и вошли в старое здание. Табличка у двери гласила: КОММЕРЧЕСКИЙ ИСКРА-БАНК.

Аристарх Матвеевич никогда раньше не посещал подобных учреждений. Его весьма расплывчатое представление о банках было навеяно новой советской рекламой да фильмами из далёкой Америки. По телику смазливые длинноногие девчонки дефилировали на фоне роскошных апартаментов; солидные причёсанные дяди, млея, говорили проникновенные фразы типа: "Это мой банк!". Громилы в масках вламывались в огромные залы, укладывали всех на пол и брали деньги, и банкиры были колоссами в стиле Гаргантюа, и всё казалось не от мира сего, потому как пахло деньгами, властью и преступлением.

Для Аристарха Матвеевича сие было так же далеко, как Калифорния для алеута.

Когда же они вместе с Иртеньевым вошли в помещение Искра-банка, Аристарх понял, что телевидение уже в который раз подсунуло ему сладкий леденец вымысла вместо ржаного хлеба действительности.

Искра-банк был ещё той забегаловкой. Тёмный и тесный зал, который они уместили в пять шагов, вдруг разломился на мрачные пещерообразные рукава, кои и коридорами-то назвать можно было только льстя снующим в них людям. Словно пробитые в недрах векового дуба гигантским древоточцем, ходы эти множились подобно ходам Лабиринта, и уже после четвёртого поворота Аристарх Матвеевич понял, что окончательно заблудился.

Краска (давно забывшая свой родной цвет) отслаивалась от стен струпьями, над головой тянулись снопы труб, из углов выпирали немыслимые коллекторы и распределительные щиты. Было чувство, что попал в чрево насосной станции, и Аристарх Матвеевич заподозрил, что сходство это не случайное, – должно быть, вместо воды здесь перекачиваются криминальные капиталы.

Он поднимался и сбегал по крутым ступенькам, чуть не упал, попав ногой в рваную пазуху линолеума, и если бы не маячившая впереди спина следователя, уже давно запаниковал бы. Но вот, наконец, и приёмная. Что это именно приёмная, он понял по лицу

милашки за столом, которая никем кроме секретарши и быть не могла. Аристарх узнал эти линии, эти ноги и бёдра, эти плавные жесты и зовущую улыбку, столь знакомую по телерекламе. Красотка поднялась им навстречу, и Аристарх Матвеевич приготовился услышать привычное:

– Это мой банк!

Но вместо этого она сказала:

– Владимир Иванович ждёт вас. Прошу, – и распахнула перед ними дверь.

Иртеньев, а за ним и Аристарх, прошли в кабинет.

Кто читал сказку Толстого "Золотой ключик", должен помнить и то кульминационное место, где Буратино открывает секретную дверь в каморке папы Карло и попадает из убогой реальности в волшебную сказку. Перешагнув порог кабинета управляющего Искра-банком, Аристарх Матвеевич почувствовал себя Буратино.

Во-первых, здесь был свет. Не искра, но возгоревшееся пламя. И горело оно так ярко, что Аристарх после мрака насосной станции на мгновение ослеп. Во-вторых, здесь была мебель. И какая мебель!.. Солнце множилось в зеркалах и лаке и, заглянув сюда утром, оно наверняка блуждало весь день, не находя выхода. Поражали также циклопические размеры кабинета. И это уже в-третьих. А в-четвёртых… четвёртым сюрпризом был сам управляющий. Как только он встал из-за стола, Аристарх Матвеевич узнал в нём… Ковача, своего соседа по лестничной площадке. Странно, он всегда держал его за инженера с химзавода…

– Я вам звонил сегодня, – сказал Иртеньев, здороваясь с Ковачем за руку и протягивая ему удостоверение. – По поводу сейфа гражданина Рытика.

– Да-да, я в курсе, проходите.

Управляющий взглянул на Аристарха Матвеевича.

– Вы, кажется, знакомы? – Иртеньев отступил на полшага, пропуская Аристарха. Его умные глаза зорко следили из кустов бровей.

– Да, – быстро сориентировался Владимир Иванович. – Аристарх… э-э… Матвеевич, если не ошибаюсь? – и в бдительные очи следователя: – Мы соседи.

Пауза. Такая лёгкая мимолётная пауза.

Иртеньев кивнул.

– Садитесь, прошу вас, – пригласил управляющий и опустился в своё кожаное кресло.

Интересно, нашла его та женщина-невидимка или нет, вспомнилось вдруг Аристарху.

Сели.

Иртеньев. Вы подготовили бумаги, Владимир Иванович?

Ковач. Да, как вы просили. Но мне хотелось бы сначала увидеть свидетельство о смерти.

Иртеньев. Конечно-конечно, вот оно. *(Открывает портфель, протягивает листок.)*

Ковач. Поймите меня правильно… *(Читает.)*

Иртеньев. Понимаю. Тайна вкладов.

Ковач. Вот-вот. *(Возвращает бумагу.)* Что от меня требуется?

Иртеньев. Расскажите всё, что вы об этом знаете.

Ковач. Хорошо. *(Берёт с края стола конверт, кладёт его перед собой.)* Семнадцатого марта этого года в наш банк обратился гражданин… *(смотрит в бумаги)* …Рытик. Виктор Афанасьевич Рытик.

Иртеньев. Семнадцатое марта? Это ведь прошлая пятница, не так ли? Всего два дня назад?

Ковач. Да.

Иртеньев. Ага, понятно. Продолжайте.

Ковач. Он пожелал арендовать сейф индивидуального хранения сроком на один год. С клиентом был заключён договор, и он оплатил услугу. Вот квитанция. *(Вручает Иртеньеву.)* Сейф номер двести шестьдесят три. Оплачен до первого апреля следующего года.

Иртеньев. Оплачен наличными?

Ковач. Да, наличными в кассу.

Иртеньев. Дорогое удовольствие, наверное?

Ковач. Для сейфа этого размера – четыреста двадцать долларов США.

Иртеньев. Он что, платил долларами?

Ковач. Нет, рублями по курсу. Там, в квитанции, всё написано.

Иртеньев *(изучает квитанцию)*. Понятно. А каков размер сейфа?

Ковач. Тридцать четыре на двадцать четыре сантиметра. Высота восемь сантиметров.

Иртеньев. Есть и другие размеры?

Ковач. Ещё есть сейфы высотой три сантиметра.

Иртеньев. Так. Скажите, Владимир Иванович, этот Рытик был единственным владельцем сейфа?

Ковач. Да. Вот договор. *(Передаёт бумагу.)*

Иртеньев *(читает)*. Владелец открывает сейф своим ключом в присутствии работника банка… Ключ один?

Ковач. Второй ключ хранится в банке.

Иртеньев. Вы, как управляющий, можете открыть сейф?

Ковач. Нет, это исключено.

Иртеньев. Почему? Сейф, ключи – ведь всё это ваше.

Ковач. В соответствии с данным договором, и сейф и ключ от него – собственность клиента. Кроме этого, существуют ещё такие понятия, как профессиональная этика и престиж банка.

Иртеньев. По роду моей работы мне чаще приходится сталкиваться с их отсутствием.

Ковач. Что ж, сочувствую вам.

Иртеньев. Когда в последний раз вы видели убитого?

Ковач *(пожимает плечами)*. Я не помню. Кажется, на прошлой неделе…

Иртеньев. В пятницу?

Ковач. Нет, это было в начале недели. Понедельник или, может быть, среда…

Иртеньев. А в пятницу Рытик разве не заходил к вам?

Ковач. Ко мне? Куда? Сюда?

Иртеньев. Но он ведь был в банке.

Ковач. Нет, в пятницу я его не видел. У нас есть специальная служба, которая ведёт всю работу с клиентами, желающими приобрести сейф индивидуального хранения. Я тут совершенно не нужен.

Иртеньев. Ясно. Я просто подумал, вдруг есть какие-то сложности в покупке сейфа. Ну, к примеру, наш всегдашний дефицит…

Ковач. Да нет, пока нет никакого дефицита. Эта услуга у нас недавно, всего четвёртый месяц, да и расценки довольно высокие…

Иртеньев. Значит, в пятницу Рытик к вам не заходил?

Ковач. Нет.

Иртеньев. А раньше?

Ковач. Нет, никогда. Он был человеком… как бы это лучше сказать…

Иртеньев. Не вашего круга?

Ковач. Дело не в этом. Он сильно пил.

Иртеньев. Но вы знали, что он купил этот сейф?

Ковач. До сегодняшнего дня – нет. Только когда вы позвонили…

Иртеньев. Я должен буду забрать у вас этот договор и квитанцию, поэтому, если нужно, оставьте себе копии.

Ковач. Но я не могу…

Иртеньев. А я вам напишу протокол изъятия. Вполне официальная бумага. Вот, пожалуйста. *(Заполняет листок.)*

Ковач. Ну, в таком случае… хорошо. (Нажимает клавишу селектора.) Леночка, зайди, пожалуйста.

Появляется нимфа. Покачивая бёдрами, приближается к управляющему.

Сделай, пожалуйста, копию. Прямо сейчас, пожалуйста.

Нимфа кивает головкой и удаляется.

Иртеньев *(проследив из своих кустов за перемещениями нимфы)*. Н-да… Скажите, Владимир Иванович, а что лежит в сейфе?

Ковач. Вы меня удивляете! Я не могу этого знать! И никто, кроме владельца сейфа, этого не знает.

Иртеньев. Может быть, вы и правы. Знать не знает, а вот догадываться может. *(Взгляд в сторону Аристарха Матвеевича.)* Верно, Аристарх Матвеевич?

Аристарх Матвеевич молчит.

Ладненько. Если будет такая необходимость – мы это выясним. А сейчас я хочу поговорить с человеком, составлявшим договор с Рытиком.

Ковач. Пригласить сюда?

Иртеньев. Нет, лучше пройдёмте к нему.

Ковач. Я провожу вас. (Поднимается.)

Иртеньев *(Аристарху Матвеевичу)*. Подождите меня, ладно?

Иртеньев и Ковач выходят. Аристарх Матвеевич остаётся один. Через минуту появляется обворожительная Леночка.

Леночка *(сексуально улыбаясь)*. Это вам?

Аристарх молчит.

Это копии. Вот. *(Кладёт перед ним на стол.)*

Аристарх Матвеевич. Спасибо.

Леночка. Вы из милиции?

Аристарх Матвеевич. Н-нет.

Л**еночка**. А! Я понимаю. *(Загадочно улыбается.)*

Пауза.

У нас что-то не в порядке?

Аристарх Матвеевич *(смотрит на Леночку, на её формы)*. На мой взгляд, у вас всё в порядке.

Леночка. Да? *(Мгновение медлит, томно глядя на Аристарха.)* Владимир Иванович сейчас придёт. *(Выходит.)*

Аристарх Матвеевич берёт принесённые Леночкой бумаги, читает. Через пару минут появляются Иртеньев и Ковач.

Иртеньев. Уже готово? Хорошо. *(Убирает оригиналы в портфель.)* Значит, Владимир Иванович, мы с вами договорились. Завтра в десять я вас жду.

Ковач. Да-да, разумеется.

Иртеньев. Тогда – всего доброго. Пойдёмте, Аристарх Матвеевич.

Аристарх Матвеевич встаёт.

Ковач. До свидания.

Выходят из кабинета.

Вышли.

– До свидания! – это Иртеньев, с поклоном, секретарше.

– До свидания, – это наяда, с ужимкой, Иртеньеву.

Покинули приёмную.

– Какая женщина! – восхищённо выдохнул Иртеньев.

Теперь они разматывали коридоры в обратном порядке. Аристарх шёл сзади.

– Аристарх Матвеевич, поведайте-ка мне, что из себя представляет Мелитина Васильевна?

– А кто это?

– Насколько я понял – ваша будущая супруга.

– Да ладно вам!..

– Нет-нет, я серьёзно! Ей богу! Вот мы сейчас с вами пойдём ко мне, и вы всё увидите.

Иртеньев двигался с интуицией крота.

– Кстати, вы уже посоветовались со своим адвокатом?

Аристарх Матвеевич крякнул, глядя в спину следователя.

– Нет у меня никакого адвоката, – сознался он.

Иртеньев обернулся. Они уже стояли на улице, и было непонятно, каким чудом им удалось выбраться из чрева этого монстра под названием коммерческий Искра-банк.

Аристарх заметил, что следователь улыбается.

– Говорил я вам, что никакой адвокат не нужен! Говорил?

– Говорили.

– То-то же. Пойдёмте.

И они пошли.

В кабинете Иртеньева всё было гораздо проще. Они уселись на стулья по разные стороны стола, и следователь сказал:

– Поставлю-ка я чайничек! Да вы не волнуйтесь, у меня уже всё записано, так что долго я вас не задержу. Надеюсь, вы не побрезгуете моей компанией?

– Нет, – ответил Аристарх Матвеевич, а сам подумал: чего это у него записано? Следователь прокуратуры Иртеньев С. С. нравился ему всё меньше и меньше.

Через пару минут, неся в руках чайник, Сергей Сергеевич вернулся в свой кабинет.

– Тэ-экс, включим его в розетку… Заварка у нас ещё осталась? Отлично. Это займёт не более пяти минут.

Сел за стол. Взглянул на Аристарха.

– Волнуетесь, Аристарх Матвеевич? – сказал. – И правильно делаете. Попали вы в очень неприятную историю. – Его глаза светились лукавством. – Да, вдобавок ко всему, ещё и упорствуете.

Аристарх Матвеевич молчал.

Иртеньев просто цвёл улыбкой.

– И вы действительно оказались бы в довольно затруднительном положении, если бы мы не нашли убийцу.

Немая сцена. Аристарх Матвеевич опешил.

– Что? Вы нашли убийцу?

– Да. Видите, как оперативно мы работаем.

– Когда? Когда вы его нашли?

– Его взяли вчера вечером.

– О боже! – вырвалось у Аристарха.

Всё напряжение последних часов – да что там, дней! – готово было вырваться наружу. И тут всплыла мысль: а не шутит ли с ним Иртеньев? Уж больно плутовато посверкивают его глаза из-под утёсов бровей. Аристарх Матвеевич нахмурился.

– Вы что, разочарованы? – утёсы шевельнулись.

– И кто же он? – сдержанно поинтересовался Аристарх.

– Этого я вам пока не могу сказать. Дело-то ещё не закрыто.

– Понятно. Но в таком случае… я уже как бы…

– Вам хочется знать, почему я вас беспокою?

– Да.

Иртеньев кивнул.

– Причина одна. Ведь всё, что касается вас, до сих пор покрыто мраком. Какое-то загадочное завещание, сейф с кругленькой суммой. Да! – и ещё одно престранное обстоятельство…

– Какое?

– А вот сейчас… – Иртеньев выдвинул верхний ящик стола и извлёк оттуда лист серо-зелёного цвета. – Вот оно родимое. – Он вздохнул. – Это, Аристарх Матвеевич, адресованное вам завещание Виктора Афанасьевича Рытика.

Аристарх кивнул и спокойно, чтобы не дать понять как он вдруг разволновался, взглянул на следователя.

– Я буду читать, а вы слушайте.

И следователь начал:

– Завещание. Ну, тут адрес, дата… Вот. Я, Виктор Афанасьевич Рытик настоящим завещанием делаю следующее распоряжение. В случае моей смерти деньги в сумме тридцать миллионов рублей, цифрами и прописью, хранящиеся в сейфе индивидуального хранения под номером двести шестьдесят три в Искра-банке, принадлежат двум лицам в равных долях…

Аристарх Матвеевич сглотнул.

– Двум?

– Да. Хотите взглянуть?

Иртеньев передал листок.

Чтобы скрыть дрожь в руках, Аристарх положил листок на стол и стал читать.

В завещании был указан он, Аристарх Матвеевич, и некая Мелитина Васильевна, названная в документе его супругой и носящая его фамилию. Ещё и ещё раз перечитывал он завещание, и с каждым разом в нём всё больше крепло чувство нереальности происходящего.

Завещание было нотариально удостоверено, подписано гр. Рытиком В. А. И ещё там была следующая фраза: личность завещателя установлена, дееспособность его проверена. Каким это образом? – мелькнуло в голове. Фраза в отношении дееспособности (даже такого горького питуха, как этот Рытик) почему-то вызывала двойственные ассоциации.

– И что вы обо всём этом думаете? – Иртеньев потрогал ладошкой чайник.

Аристарх Матвеевич не нашёл ничего лучше, как продемонстрировать полное непонимание:

– Послушайте! Это же бред сивой кобылы! Этот алкаш Витенька, наверное, был в белой горячке, когда писал эту белиберду.

А Иртеньев в тон ему:

– И к нотариусу ходил в белой горячке. И в банк. Перестаньте, Аристарх Матвеевич, давайте лучше разберёмся.

– Да в чём тут разбираться! Не в чем тут разбираться!

– А вот тут я с вами не согласен. Убит человек, и деньги эти, сдаётся мне, сыграли не последнюю роль.

– А что убийца? – Аристарху вдруг стукнула мысль. – Вы же сказали, что поймали убийцу. Что он-то говорит?

– Его слова – это ещё не вся правда. Поэтому мне бы хотелось выслушать вас. Кто эта Мелитина Васильевна?

– Я не знаю.

– И никогда не слышали?

– И никогда не слышал.

– Вы не женаты, это мы выяснили…

– Неужели?

– Не иронизируйте. Это вовсе не смешно. Кстати, вступить в право наследования вы сможете только через шесть месяцев. – Он развёл руками. – Таков закон. Вы в курсе?

Аристарх Матвеевич усмехнулся.

– Вы думаете, там есть деньги?

– Меня сейчас волнует другое. Мы выяснили, что у нас в городе нет женщины с таким именем. Постарайтесь вспомнить, Аристарх Матвеевич, может быть, где-то, когда-то…

– Да нет же, Сергей Сергеевич! Разве такое имя можно забыть! – Сверился с завещанием. – Ме-ли-ти-на. Эка! Без бутылки и не выговоришь!

– Ладненько. Может, ещё вспомните.

Иртеньев убрал завещание обратно в стол.

– А знаете, как я назвал это дело? Дело о тридцати миллионах! Так что вы в нём по-прежнему – главное действующее лицо.

– Спасибо за доверие.

Иртеньев встал.

– А теперь давайте пить чай. Кипяточек как раз созрел.

И он занялся приготовлением напитка.

Аристарх Матвеевич достал сигареты. Подумал: как я ещё не запил от всех этих чудес! Поискал взглядом пепельницу.

– Ой, нет! Только не это! – закричал и замахал руками Сергей Сергеевич. – Всё что угодно, только не дым! Чайком сейчас побалуемся, а там травитесь себе на здоровье.

Пришлось убрать пачку.

Чай был налит, и Иртеньев поставил на стол блюдце с конфетами.

– Сахару нет, вот, только карамельки. Налетайте.

Пили в молчании.

Сквозь маленькое пыльное окошко проникал солнечный свет. В кабинете, где стояли два стула, стол, сейф и обшарпанный книжный шкаф, царил полумрак.

– Что вы намерены делать? – спросил наконец Иртеньев.

– В смысле?..

– Я прошу вас не предпринимать никаких самостоятельных шагов. – Он хрустнул конфеткой. – Мы проведём доскональное расследование, и я вас проинформирую. Договорились?

– Договорились.

– Как чай?

– Спасибо, хороший. Я, правда, предпочитаю пиво.

– От пива толстеешь.

– А от чая потеешь.

Иртеньев рассмеялся.

– Приятно было с вами познакомиться.

Аристарх Матвеевич кашлянул.

– К сожалению, не могу ответить тем же.

– Ничего, я не обижаюсь.

Аристарх допил чай и поднялся.

– Ну что ж, спасибо за угощение. Я, наверное, пойду.

– Э, погодите, погодите!

Иртеньев полез в стол, извлёк оттуда папку, порылся в ней и пододвинул к Аристарху листок.

– Присядьте. Вам нужно подписать вот это.

– А что это?

– Ваши показания. Ознакомьтесь и, если нет замечаний, поставьте свою закорючку. – Он улыбнулся. – Порядок есть порядок.

Аристарх Матвеевич сел и взял листок в руки. Пока он читал, Иртеньев изучал свои ногти.

– Хм, интересно, вроде, всё правильно, – согласился Аристарх. – Вы что же, сначала пишете протокол, а потом допрашиваете?

– Да, это моё ноу-хау. Вот здесь – свою подпись. Есть ручка? Держите мою.

Листок вернулся в папку, а папка – в стол.

– Ключ от сейфа пока останется у меня. Не смею задерживать. Всего.

Иртеньев на прощание кивнул, и они расстались.

Дома Аристарх Матвеевич попытался обмозговать события последних часов, но никакая мысль в голову не лезла. Крутилась, как на световом табло, только одна цифра: ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ. Она переливалась всеми цветами радуги, растягивалась в цепочку, сжималась кольцом, и то воспаряла подобно воздушному змею, то обвисала как хрен собачий. Она заняла всю его голову, и Аристарх никак не мог от неё избавиться.

Теперь, когда опасность обвинения его в убийстве Витеньки миновала, его разум решил освободиться от всяческих страхов и проследить всю цепочку событий от начала до конца. Что-то тут было не так. Он чувствовал это. Но что? Однако о чём бы он ни думал, на передний план всё время вылезал дурацкий плакат с надписью: ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ! ВОЛШЕБНЫЙ ПОДАРОК ЖЕНИХУ МЕЛИТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ! НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!

Он сказал "тьфу ты!", встал и включил телевизор.

Какой-то мужик с бородой рассказывал о нуждах селян. Переключил канал.

– Это канал звукового сопровождения программы "Орбита-4 Восток", – сообщил женский голос.

Ещё раз переключил.

Шёл фильм.

Ковбой гнал свою лошадь по прерии. В него стреляли… В Витеньку тоже стреляли… Почему я не слышал выстрелов, подумал Аристарх. Я заткнул уши, вот почему! Этот гвалт под окном вывел меня из себя. А с Витенькой я не имел никаких дел! Вот ведь козёл, и чего это он вдруг решил включить меня в своё сраное завещание? Такой обсосок, а туда же! Завещание пишет! Чего-то, видать, следователь не договаривает… И какого чёрта не вскрыть сейф? Уж ему это – как два пальца обоссать… Но, видать, надобности такой нет – давно, мент, разнюхал, что там, внутри. А людей мурыжит… Ох, Витенька, Витенька! Подложил ты мне свинью, спасибочки!..

На экране ковбой целовал кружевную блондинку. Очаровашка закатывала глазки и подставляла ему всю себя. Вернулась гадская мысль о Мелитине Васильевне. Кто такая? Откуда? И что это за имя такое неслыханное – Мелитина? Стал вспоминать, не встречалось ли где. Перебрал с дюжину всяких Тань и Мань, но ничего похожего на ум не приходило. И вдруг… Погоди-ка, погоди-ка! Что-то начало всплывать. Была одна такая, точно была! Как же её звали-то? Лет восемь уже тому… Мелитина? Нет? Мальвина? Павлина? Эх, блин, память ни к чёрту!.. Мелисса! Вот как её звали – Мелисса! Точно! Не Мелитина – Мелисса.

Ездил он тогда на курсы повышения квалификации в далёкий город Липецк. Поехал-то сдуру, развеяться решил. Оказалось – скука смертная. Жили в общаге. Телик на этаже один, день в зелёном цвете показывает, день – в красном. Для разнообразия, значит. Податься некуда, хоть вой. Жили в комнате вдвоём с каким-то гнусавым интеллигентом, он, помнится, по поводу диссертации своей приезжал. Кличку ему ещё потом дали – Мозг. Днём Мозг пропадал бог знает где, а вечерами сидел на своей койке и на гигантском лбу своём прыщи ковырял. Да ещё писал чего-то бисерным почерком. Аристарх раз от нечего делать заглянул в его бумаги – чуть крыша не съехала. Там ни одной буквы знакомой – сплошь россыпи загадочных крючков да тёмных знаков. Чистая иероглифика. Секретный физик, наверное, заключил тогда Аристарх. Поговорить с ним никак не получалось, был он какой-то зашкаленный. Квёлый и вымученный, как гнилая картофелина. И всё думал о чём-то – будто теорему решал.

С девяти до двух Аристарх лекции слушал, а после не знал, куда себя приложить. Душевная неприкаянность эта и толкнула его на знакомство с одной дамочкой, которую все почему-то называли Лиса, с ударением на "и". Чуть позже он узнал, что Лиса – это уменьшительное от её не менее странного полного – Мелисса. Из-за имени этого чудного, должно быть, и обратил он внимание на эту женщину.

Ничего в ней особенного не было, и только некоторые уголки лица светились благородной чувственностью, будто ведала она о сердце и нутре человеческом больше других, будто была открыта

ей тайна предназначения людского. Что Аристарха и тогда уже смертельно занимало.

Цвёл июль, и волшебными вечерами они гуляли по тёмным городским улицам, и лето пряно дышало им в лицо, и мир вокруг был загадочен и полон сказки. Они беседовали без тем, без конца и начала, и слова не имели значения, потому что главным было единение двух существ, двух чад человеческих, отринутых миром, позабытых на чужой планете, бредущих без цели и смысла. И он часто заглядывал ей в глаза, пытаясь постичь-таки секрет этого неожиданного восторга, но находил там только зрачки, радужку и всё остальное, как и у всякой божьей твари. Являлись и мысли о сексе. Рахитичные такие мыслишки, мыслишки-фантазии, допущения, гипотезы. Однако предложить Лисе соитие он никогда бы не решился, поскольку знал, что физическая близость тотчас разрушит их духовное единение. Да, собственно, и трахаться всё равно было негде. Не вести же её в палату к душевнобольному физику. Несостоявшийся половой акт, на его взгляд, был ничем не хуже состоявшегося, хрустальный мост между их сердцами сверкал и переливался под солнцами ночных фонарей, плоть была укрощена и смиренно отступила.

Отступила, но не сдалась. И по ночам, когда секретный физик забывал о своих формулах и тёк слюною на подушку, Аристарх отправлялся в общий туалет, закрывался там, в кабинке, и совершал очистительный обряд экзорсизма, попросту – онанировал. Так он изгонял из себя дьявола.

Они с Лисой ни разу не ходили в кино и даже ни разу не целовались. Аристарх привык чувствовать её руку на своём запястье и был благодарен судьбе за эту малость. Время остановилось, атомы прекратили свой бег, светила вмёрзли в бескрайние льды вселенной, и только они двое плыли вдоль мировых торосов по зеркальной воде покоя и умиротворения. Она рассказывала ему о своём доме, о семье, о маме и сыне, о работе в конструкторском бюро и о занятиях аэробикой. Он участвовал в разговоре, но о себе никогда не распространялся. Не то чтобы он что-то скрывал или чего-то стеснялся – просто рассказывать было нечего. Вся его жизнь виделась ему плоской, двухмерной, пошлой и предрешённой. Он пом-

нил и то, как под конец их пребывания на курсах у него стали возникать подумки о женитьбе, но не в связи с Лисой, а так, вообще, как нечто альтернативное его всегдашним настроениям. Однако семейные радости рисовались ему как логическое продолжение человеческих слабостей, мысли о неблагодарных визгливых детях вызывали изжогу, он опять замыкался в ненависти к своему земному ничтожеству и терял всякий интерес к подобным темам.

Уже возвращаясь домой, в поезде, он узнал от своего сокурсника с монументальной фамилией Ретроградов правду о Лисе. (Они вместе слушали лекции и теперь ехали в одном направлении.)

– Ну и как тебе Лисонька? – вопрошал Ретроградов, луща крутое яйцо и заглатывая его целиком. – Хороша в постели, верно?

– Не знаю, – отвечал Аристарх. – Не пробовал.

– Не пизди, – не верил Ретроградов, – чтоб столько времени валандаться – и не завалить…

Его сермяжная простота забавляла Аристарха.

– Представь себе.

– Ну, брат… – Ретроградов разводил руками и принимался за второе яйцо. – Пропащий ты человек! Я и то успел.

– Чего успел? – не въезжал Аристарх.

– Переспать с ней, чего ж ещё! Да ты прикидываешься, что ли?!

Тут-то всё и открылось.

Оказывается, только с ним, с Аристархом, Лиса вела душеспасительные беседы и прогуливалась под ручку (уж неизвестно, отчего именно ему была оказана такая честь). А со всеми остальными она просто спала. Трахалась, дрючилась, еблась. Видно, она тоже любила разделять духовное и плотское. Так сказать, мухи – отдельно, котлеты – отдельно. Из мужиков на их этаже только он да ещё Мозг – его незабвенный сосед по нарам, этот инвалид умственного труда, – не побывали на Лисином празднике плоти.

– Я и то разок подсуетился, – похвалялся Ретроградов, дивясь Аристарховой неосведомлённости. – А как она отсасывает! Н-н, сказка! – он икал и запивал икоту "Буратино" из горлышка.

Несмотря на это открытие, Аристарх и по сей день вспоминал о Лисе и обо всём с ней связанном как о романтическом приключении и ни о чём не жалел. И вот теперь её имя всплыло в связи с этими непостижимыми событиями… Но там была Лиса, Лисонька, Мелисса, но вовсе не Мелитина…

Так и не определившись, кто бы это мог быть и что означает вся эта нелепица, он решил не ломать больше голову.

– А идите вы все в Катманду! Жрать хочу! – заключил он и пошёл на кухню взглянуть, чего бы поесть.

Только вошёл – вот те на! Что за напасть? Весь пол усеян обломками. Наклонился, разглядывая. Кусочки керамики. Поднял голову. О господи! Горшок!

Ему открылось довольно печальное зрелище. Горшок под его "доктором" развалился. Точнее – рассыпался. Какое! Он просто взорвался! Ибо, чтобы наплодить такое количество осколков, он должен был именно взорваться. Вся кухня, весь пол, весь подоконник были усеяны осколками, он увидел, что этих коричневых кусочков полно и на столе, и на газовой плите, и даже в раковине среди грязных тарелок.

– Что это с тобой случилось? – обратился он к "доктору". – Что за война такая?

Подошёл. Под ногами заскрипели обломки.

Растение, все его листья и стебель, налились какой-то необычайной силой. Оно стало заметно меньше ростом, но раздалось вширь. Листья набухли и от них отвалились все "детки". О боже, да это же натуральный отёк, пронеслось в голове Аристарха. А тот небывалый порноцветок, что ещё вчера так гордо торчал над его чахоточным другом, теперь ссохся и висел сбоку на стебле, как… ну вот, теперь уже мужская аналогия!.. как самый настоящий фаллос.

Вокруг плотного комка корней, отчасти ещё сохраняющего коническую форму, не осталось и следов горшка. Горшок был буквально разметён по всей кухне, и Аристарх Матвеевич дивился той мощи, которая могла это сделать.

Присмотрелся. В горшке (пока он ещё был цел) совсем, оказывается, не оставалось земли – всё его нутро занимал клубок тесно

свитых корней. Влажные, с красноватой, будто натруженной, плотью, корни крепко обвивали друг друга. Было впечатление, что в последней, смертельной схватке сплелись невиданные борцы – отовсюду торчали локти, колени, плечи.

– Ох и натворил ты делов! – попенял Аристарх Матвеевич своему дружку.

Пришлось идти за веником и совком.

Пока сметал и выгребал отовсюду черепки, мысли, как река после половодья, понемногу начали возвращаться в прежнее тихое русло. Вспомнилась вдруг давным-давно читаная история. Чудная история… Была это повесть грека какого-то о растении, проросшем насквозь через целый дом. Держал это растение у себя в комнате один паренёк. У него ещё с девчонками были какие-то нелады, короче – шизик. Обретался он в четырёх стенах, всё ранимость свою прятал, и вот как-то раз притащил он домой горшок с этим самым растением. Купил или украл – неважно. Одиночество его заело, а тут как-никак живое существо рядом. И стал он за этим растением ухаживать, лелеять его, и всю любовь, что так и пёрла из него, фикусу этому и отдал. Горшок купил побольше. Водичкой поливал. Да только растению всё мало. Пустило оно корешки свои под пол и в стену. И так – по стеночкам да по переборочкам – вскоре весь дом и прошило. А само уже всю комнату заняло, того и гляди, на улицу вывалится. От электричества подзаряжается, из труб водопроводных водичку пьёт. Света в доме нет, воды нет, ни поссать, ни посрать, жильцы на себе волосы рвут – дом-то новый! Пришли электрики, проводку чинить, глядь, а из стены вместо лапши корень вытягивается. Потянули, потянули, дальше – больше… Так всё и обнаружилось. Потом вырубали, выпиливали – жуть! В общем, дому – хана, капитальный ремонт. Вот только чем кончилось, он не помнил… Дом, вроде, отремонтировали, а паренёк… паренёк – так тот умом двинулся уже окончательно. Такая история…

Ох, как бы и мне со всеми этими чудесами умом не двинуться, подумал Аристарх, ссыпая в ведро останки взорванного горшка.

Ещё раз взглянул на своего растолстевшего приятеля, который, словно Адам, нагишом стоял на подоконнике, открыл холодильник и углубился туда в поисках пищи.

Надо будет купить ему новый горшок, рассудил он и сел чистить картошку.

Картошка была мелкая и вялая, а нож тупой. Поднял взгляд к окну. Прищурился, прикидывая размеры нового горшка. Большой… Сколько, интересно, он будет стоить? И потом, кто сказал, что такие большие горшки есть в продаже? И вообще, где эти магазины, в которых продают горшки? Все эти неожиданные мысли отвлекли его от работы, и он нечаянно полоснул себе ножом по пальцу.

– А, чёрт! – выругался Аристарх Матвеевич, облизал кровь и пошёл в ванную за лейкопластырем.

Вернулся, взглянул на недочищенную картошку и вспомнил стихотворение, которое сочинил, когда ему было… сколько ему тогда было? Пятнадцать? Двадцать? Теперь уже и не вспомнить. Век назад это было.

Решил: схожу-ка я сегодня в столовку. Пока одевался, в голове всё крутился этот стишок.

Будем думать, я всё же не гений,
Я нормальный, простой человек,
И на робкую связь поколений
Не окажет влиянья мой век.
Проживу я, трудяга и лодырь,
Измараю несчётно листов,
Истасую, как карты в колоде,
Целый ворох событий и слов,
Прошагаю по жизни упрямо,
Суесловьем наполнив года,
И уйду… Даже ты, моя мама,
Понимала меня не всегда.
Я уйду, позабыв оглянуться.
Сзади пусто. Темнеет окно.
Это, в общем, так просто – вернуться,

Возвращаться ж в ничто – для чего?
И, оставив седеющий профиль
Серым фото на серой стене,
Я уйду, не дочистив картофель
На своём холостяцком столе.
Я уйду. Это будет началом
Осмысления прожитых дней.
Может, где-то коснётся причала
Моя шхуна без мачт и рулей…
Я ещё поброжу, поглазею,
Может, вспыхнет иная заря?
Может, новый рассвет заалеет,
И я брошу свои якоря?
Но смешон я, надежды союзник,
Я, сносивший ботинки до пят,
Я давно не тюремщик, а узник
Своих прежних безумств и растрат.
Я задумал начать всё с начала,
Но в порыве не выверил сил.
Я задумал, когда уж кончались
Моя юность, и зрелость, и пыл.
Я уйду. Погуляю немножко.
И вернусь. Но вернусь уж не тем.
Я приду – и дочищу картошку,
Покрошу, и поджарю, и съем.

Покрошу, и поджарю, и съем… Рефрен этот крутился в башке, пока стоял в очередь в столовой, пока отсчитывал деньги, пока ел. Целый рой воспоминаний налетел на него. Отдалились все звуки и краски, перед ним в каком-то болезненном ностальгическом параде проходили загубленные, убитые, промотанные дни его пустейшей жизни, и он ел и не чувствовал вкуса пищи, он ел и плакал. Слёзы двумя ручьями побежали в гарнир, и он выплюнул недожёванную котлету, выскочил из столовой и в сквере на какой-то скамейке излил свою душу в безудержном и диком плаче.

– Вот дубина! – вслух ругал он себя, пытаясь унять рыдания. – Вот дубина! Заплатил за обед – и бросил. Всех наебал. Купил билет, а сам не поехал.

Нос заложило, и он долго сморкался под куст, прежде чем выползти на свет божий.

Немного успокоившись, он закурил и ещё посидел на скамейке, наблюдая, как мамаши катают в колясках своих малышей, как фланируют мимо ногастые молодые девицы.

Глубоко вздохнул и встал.

– Ну, всё? – спросил он себя. – Больше у барышни припадков не будет?

Выбрался на проспект. Постановил: схожу в хозяйственный, погляжу горшок.

Но в хозяйственном горшков не оказалось. Он посоветовался с продавщицей, и та сказала, что вряд ли он где-нибудь вообще их найдёт.

– И что же делать? – задал он наивный вопрос.

– А вы купите пластмассовое ведро, – порекомендовала та. – Вон у нас какой выбор! И цвета всякие… Дырку только проковыряйте снизу, чтобы вода выбегала, – чем не горшок!

– Вы думаете?

– Конечно!

Так он и сделал. Купил жёлтое ведро. Продавщица сказала, что жёлтый цвет – цвет измены, но он всё же выбрал жёлтое. Мой "доктор" мне не изменит, решил он, а этот золотистый цвет мне нравится.

С ведром подмышкой вернулся домой.

"Доктор" стоял на окне обнажённый, как супермодель из журнала "Плейбой".

– Извращенец, – бросил ему Аристарх главный упрёк своего двойника О.О.

Поставил горшок на подоконник, осторожно, двумя руками, приподнял растение и водрузил его на новое место.

– Как тебе эти канареечные штанишки? Нравятся?.. Теперь вот ещё землю где-то искать надо. Хлопот с тобой… На-ка, хлебни пока, а то ещё окочуришься.

Плеснул из банки воды. Растение стояло слегка наклонившись, его поддерживало стекло окна. Янтарная пластмасса ведра окрасила корни в телесный цвет, и те стали похожи на скрюченные пальцы из фильма ужасов.

– Н-да, уж лучше тебе прикрыться.

Вспомнились почему-то ноги Леночки, секретарши из Искрабанка. Что и говорить, ноги – класс! Да и сама Леночка ничего себе… А Владимир-то Иванович, а? Каков? И не подумаешь! Славненько замаскировался. Тот ещё фрукт. Инженер с химзавода… Вот, оказывается, как у нас мафиози живут. Тихо и неприметно. Ай, да хрен с ним! Мне-то какое дело!

Аристарх Матвеевич взял из пачки сигарету, зажёг спичку. Поднял огонёк и остановился.

Хм, это что же получается! Очень любопытно! И несчастный Витенька, и подпольный Владимир Иванович – все мы из одного подъезда! Совпадение? Ещё чего! Тут и следователем прокуратуры не нужно быть, чтобы понять: такие совпадения – весьма настораживающая штука… Тэ-экс, давай-ка, рассудим.

Спичка начала жечь пальцы, и он загасил её в новом горшке. Зажёг другую, прикурил.

Предположим, Владимир Иванович и Витенька – звенья одной цепи. Но причём здесь я? Если у этих двоих и были какие-то общие дела, то я об этом ни слухом, ни духом… Зачем им меня-то во всё это втравливать? Свалить на меня убийство? Так следователь сказал, что убийцу уже нашли. На кой я-то им нужен?.. Так, а если зайти с другой стороны? К примеру, Витенька и Владимир Иванович – враги. Витенька, как страховку, оставляет завещание и хочет… Чего он хочет? Напиться и поблевать он хочет, вот что! Что я знаю обо всём этом? Ничего! Ровным счётом – ничего! Вот и не надо выдумывать!

Аристарх бросил окурок всё в то же жёлтое ведро и подумал: хорошую пепельницу я купил, большую.

Он решил пойти и накопать земли своему чаду. Некоторое время соображал, чем он будет копать и куда складывать, наконец, взял полиэтиленовый пакет, столовую ложку и вышел.

На лестнице задержался у квартиры № 2. Ему показалось, что из-за двери доносятся голоса. Прислушался. Голоса смолкли. Да нет, глупость, дверь закрыта и опечатана. Бумага с печатями не нарушена, не порвана.

Вышел на улицу.

Направился в сквер и там какое-то время сидел, выжидая, когда поблизости никого не будет. Улучил момент, приблизился к клумбе. Оглядываясь, словно воришка, начал быстро вонзать ложку в жирную недавно оттаявшую землю.

Мимо прошла женщина, взглянула на него, но ничего не сказала. Убегать показалось стыдным, и он лишь ниже опустил голову. Продолжал копать.

Управился быстро, отряхнул руки, бросил ложку в пакет и пошёл обратно.

Снова постоял у двери квартиры № 2. Тишина. Как и положено.

Дома оставил землю в прихожей и решил сделать себе яичницу. Вымыл руки и пошёл на кухню бить яйца.

Взглянул на часы. Полшестого. Ни фига себе! Немудрено, что я так проголодался. Ещё если учесть, как я варварски поступил с обедом…

Глазунья на сковородке уже начала шкварчать, когда раздался звонок в дверь.

Пришлось открывать.

На пороге стоял Владимир Иванович Ковач.

ГЛАВА 4
КОРНИ
(окончание)

Давненько это было. Арик о ту пору был ещё зелёным шкетом.

В один прекрасный день с его глазами случилась странная вещь. Глаза перестали нормально видеть. Не то чтобы он стал слепнуть, или что-то подобное… Просто всё им зримое само собой уменьшалось вдруг раз в десять. Да-да, каким-то хитрым образом делалось мельче, крохотнее, миниатюрнее. Когда это произошло впервые, он перепугался и побежал к маме. Встревоженная его рассказом, она стала расспрашивать что да как, но он только повторял, что всё вокруг стало маленьким. В тот раз это закончилось довольно быстро и поэтому не вызвало какой-то особой озабоченности. Позже, по случаю, они поинтересовались в детской поликлинике, и мудрая женщина-врач успокоила их, объяснив всё обычной перестройкой организма подростка в переходный период.

Начинался этот заскок всегда неожиданно и продолжался недолго – каких-то пять-десять минут. В очередной раз Арик и сам понял, что ничего опасного в этом нет. Он счёл это даже забавным. "Мама, ты вот такусенькая!" – смеялся он, когда это приключалось, и показывал на пальцах, в какого пигмея превратилась его любимая мамочка. "Зато ты у меня – гигант!" – обычно отвечала та. И он действительно ощущал себя Гулливером. В этом исполинском состоянии он расхаживал по комнате как бробдингнег по Лилипутии.

И было жутко, и по спине бегали мурашки, и виделось всё как в перевёрнутый бинокль: он протягивал руку – и она уходила в бесконечность, он хотел взять карандаш – и не мог дотянуться. Он попадал в мир, где измерения были неравноправны. Разумеется, постоянно жить с таким взглядом на вещи было бы невозможно, но в небольших дозах это по-настоящему забавляло.

Арик подрос, вместе с ним повзрослели мышцы его глаз, и оптические иллюзии оставили его. Тому уж лет двадцать, как он вообще не вспоминал о них…

И вот сегодня, в момент ответственного бдения за яйцами на сковородке (и одновременного звонка в дверь!) эта напасть, как гром с ясного неба, снова обрушилось на Аристарха. Он повернулся от плиты и почувствовал себя странно. Как будто ни с того ни с сего впал в детство. Или переместился во времени, в прошлое, лет на двадцать.

Продвигаясь по коридору в сторону двери, он уже почти осознал это. Но убедился окончательно, лишь обнаружив за дверью карликового Владимира Ивановича.

– Аристарх Матвеевич, ради бога, извините! – сказала кукла голосом его соседа. – Но я должен с вами поговорить!

В подъезде было по-вечернему сумрачно, и пришедший показался Аристарху инопланетянином. Он даже как будто различил антеннки на голове.

– Я прямо с работы – и к вам, ещё домой не заходил. Вы не заняты? Это очень важно!

– Проходите, – сказал Аристарх. Он закрыл дверь и поспешил обратно на кухню. Кровь бросилась ему в лицо, как будто его застали за чем-то непристойным. И было одно желание – скорее выбраться из этой воронки времени.

– Я тут яичницу делаю, – объяснил он, простирая бесконечную руку к бесконечно далёкой сковороде. – Хотите? Ковач был уже у него за спиной.

– Нет-нет, спасибо, я на минуту.

Сейчас я повернусь – и он всё увидит! Эта мысль бомбой взорвалась в голове у Аристарха. Он было запаниковал, но тут же вразумил себя, сказав: успокойся! ты, конечно, ненормальный, но пока это видно только тебе самому!

Выключил плиту, сдвинул сковороду и медленно обернулся. Кухня скользнула, будто отражённая в никелированном шарике. А вот и представитель межпланетной мафии – соседушко Владимир Иванович.

– Хотите, чаю? – в страхе перед неизбежным разговором вымолвил хозяин.

Ковач отмахнулся.

– Ай да не до чая мне! – сел. – Еле пяти часов дождался. Как на иголках… Вы, гляжу, только что пришли?

– Я в отпуске.

– А! Вот не знал. Раньше бы прибежал.

Утёр лицо, взглянул в параболические Аристарховы глаза.

– Историйка одна тут у меня вышла… Вот, пришёл. Нужно нам с вами всё обсудить, обмозговать. Вы, я так понимаю, у них теперь главный подозреваемый?

Вот так, без обиняков!

– Да нет. Убийцу уже нашли.

Владимир Иванович дёрнулся как от пощёчины.

– То есть как "нашли"? – он был явно ошеломлён. – Но ведь… – он не договорил. – Это следователь вам сказал?

Аристарх Матвеевич кивнул.

Мышцы на физиономии Ковача как-то вразнобой задвигались, будто он натягивал маску, но у него ничего не выходило. Наконец дело было сделано, и Аристарх увидел лицо кротчайше улыбающегося человека.

– А что! – воскликнула маска. – Замечательно! Хоть это и в корне меняет ситуацию… но, в общем, и слава богу! Верно? И нам с вами спокойнее. Меньше дёргать будут. Верно?

Маска сидела плохо. Под ней продолжались подспудные процессы, и улыбка то и дело съезжала на сторону. Ковач:

– Хорошо… Отлично… И всё же я должен вам сказать… Теперь это уже всё равно не скроешь. Деньги, там, в сейфе – это мои деньги. – И без паузы. – Послушайте, Аристарх Матвеич, я бы сейчас с удовольствием принял чего-нибудь этакого, бодрящего. А? И желательно покрепче чая. Как вы на это смотрите?

– У меня нет, – ненавидя себя, проинформировал Аристарх Матвеевич.

– А это ничего! – вроде бы даже обрадовался Владимир Иванович. – Пойдёмте ко мне. У меня там полно всего! Коньяк есть, виски, водка. Пойдём?

Но вовсе не о возлиянии думал Аристарх в эту минуту. В нём боролись две мысли, два исполина: первая – об остывшей напрочь глазунье, и вторая – о мистической предначертанности каждого мгновения его жизни.

– Почему это ваши деньги? – в безысходной тоске проговорил он.

Ковач скривился. Что-то там двигалось за этим лицом, что-то перемещалось.

– Эдик, сын мой, квартиру у этого Рытика купил. А деньги я дал. Договаривался-то он, а деньги мои. В пятницу только переписали квартиру. Хорошо ещё, успели… Эдька неделю не мог его, горького, к нотариусу вытащить. Уже вроде всё, договорились, а он, пьянчуга, что ни день – пуще прежнего… На выходные мы с женой на дачу ездили – так и не знали ничего… ну, что убили-то. Вернулись поздно вчера, так я только сегодня от следователя утром по телефону всё узнал. Ага. – Он пригладил волосы. – Думаю, раз завтра идти в милицию, так вот, чтобы чего-нибудь поперёк не ляпнуть, решил сначала к вам заглянуть… А это точно, что убийцу нашли?

Аристарх повёл плечом.

– За что купил…

– Ясно.

Ковач помолчал, жуя губами.

– Я за Эдьку переживаю. На него ведь тоже могут подумать, как вы считаете?.. Но деньги он уплатил, честь по чести. Все тридцать пять миллионов. Об этом уж придётся рассказать, что делать. Бумаги-то все официальные, купчая там и прочее – всё на виду. Не хотелось бы афишировать, но… всё-таки человек погиб.

Аристарх Матвеевич обнаружил вдруг, что смотрит на своего гостя вполне нормальными глазами. Ба! Был бзик – да весь вышел! Умчалось наваждение! Ну просто диву даёшься, как быстро всё варится в человеческом котелке!

И вот, окинув гостя новым взглядом,
Он новый вывод сделал для себя.
И был тот вывод сладостно-приятным,

Как средь песков живительный ручей.
Пред ним сидел не жуткий мафиози,
Не межпланетной мафии отец. –
Какое! То был кроткий человече,
Его ближайший лестничный сосед.
Судьбою сына был он озабочен,
Но больше – Аристарховой судьбой!
Подумать только! Не домой, к супруге, –
К нему пришёл и помощь предложил!
А дома его ждали: виски, водка
И пятилетней выдержки коньяк!
Но бросил всё он и пришёл к соседу,
Как к другу – друг, как к брату ходит брат.
Ах как я обманулся! – промелькнуло. –
За галстуком не разглядел лица!
Не станет зло творить тот сын Адама,
Что тридцать пять лимонов отвалил
За сраную убогую каморку
Какого-то пропойцы Рытикá…

Ну, Рытикá – это я так, для складу, подумал Аристарх Матвеевич и нервно сглотнул. При мысли о деньгах поэтический настрой с него как ветром сдуло. Глаза по-прежнему не обманывали его. Перед ним сидел управляющий Искра-банком Владимир Иванович Ковач.

– Так, значит, деньги там всё же есть? – как можно спокойнее проговорил Аристарх.

– Должны быть! Зачем бы он покупал сейф… В пятницу после нотариальной Эдик передал ему всю сумму.

– А завещание?

– Какое завещание?

Аристарх Матвеевич вскинул глаза и тут же спрятал. Он понял, что проговорился.

– Да следователь говорил тут о каком-то завещании…

Запоздалая хитрость.

– Я ничего не слышал о завещании. А что там?

– Не знаю. Он просто спросил, не в курсе ли я.

– А! Понятно. По части заковыристых вопросов они мастера, это известно. Ох-хо-хо! Мне ещё предстоят эти муки… Расскажите, как дело-то было? Ночью его убили, говорят? Вы видели?

– Нет, я спал.

– Понятно, – он грустно покачал головой. – Ужас что творится! Стреляют, скоро носа не высунешь. Ай, да и высовываться не надо, дома укокошат – пикнуть не успеешь! У вас ужин совсем остыл. Пойду я.

Он встал. Но уходить не спешил.

– Знаете что, Аристарх Матвеевич, – он слегка замялся. – Вот мы с вами соседи, так? Живём, можно сказать, дверь в дверь. И вот что я думаю. Уж коль было угодно судьбе нас рядом поселить, так надо тому и следовать. Вы, я гляжу, человек одинокий. Мы с женой люди простые. Компаний ни с кем не водим. Эдька, сын, отдельно живёт, так что мы теперь вдвоём. Заглядывали бы к нам иногда. Так, запросто, на рюмку чая. И нам веселее, и вам, глядишь, какое-то разнообразие.

Аристарх Матвеевич после таких слов Владимира Ивановича снова чуть не съехал в поэзию. Удержал его голод, уже сделавшийся из человеческого звериным. Взгляд с тоскою вернулся к затянутым мертвенной плёнкой жёлтым глазам на сковороде и, сдерживая рыдания, он выдавил:

– Хорошо. Спасибо за предложение. Я как-нибудь… обязательно… Спасибо.

Ковач кивнул и протянул руку на прощание. Аристарх Матвеевич без желания подал свою. Их руки соединились… и вот тут что-то произошло.

Чуть позже, когда вся эта пытка была уже позади, а безнадёжно ледяная яичница разогревалась в его желудке, Аристарх в мыслях своих вернулся назад и не смог подобрать слов для описания странного ощущения, которое родилось в нём в момент этого рукопожатия. Словно неведомые токи протекли через соприкоснувшиеся руки… Нет, не то, не так! Скорее это была лёгкая, едва уловимая и как бы завораживающая волна теплоты… Да ни хрена подобного! Никакая это была не волна! Измыслил тоже! Удушливый

поползень сальных мыслей – вот что это было, эманация порока, выпот извращённых желаний! Аристарх почесал за ухом. Во нагородил! Короче, нормальным русским словом всё равно это не обозвать. И он бросил.

После ужина курил, выпускал дым из ноздрей и рта, делал "дракончика". Смеживал веки и смотрел в масляные очи Владимира Ивановича. Так, бывает, лампочкой глаз нажжёшь, потом жмурься, не жмурься – спираль всё одно горит. Владимир Иванович смотрел как-то заискивающе, будто молил о чём-то. Невысказанная мысль просилась и не могла быть объявлена. И руку-то он не жал, а словно гладил… Вот ведь пакость, прицепилась! И тут Аристарх Матвеевич ахнул. Ему нечаянно вспомнился мультик о Бременских музыкантах, когда вся эта весёлая джаз-банда даёт представление на королевском дворе, а осёл, пёс, кот и петух встают друг другу на головы… Трубадур оказывается на самой вершине пирамиды, а супротив, на балконе – прекрасная принцесса. И вот тут-то…

...их глаза встретились и они, конечно же, сразу полюбили друг друга...

Да уж не гомик ли он?! Догадка эта, как откровение, смешала в нём всё до самых низов. Оп ля, только голубизны нам тут и не хватало! Распавшиеся было связи, полуобрывки фраз, осколки мыслей стянулись вдруг в единую картину, как если бы он решил шараду или сложил мозаику. Мысль о том, что он только что тискал руку гомика, повергла его в такое уныние, что Аристарх поджёг следующую сигарету от бычка первой и матерно выругался. Вообще говоря, в самом этом предположении не было ничего особенного – он признавал за этими людьми право на то, чем они занимаются, он даже видел фильм про них… Но соприкасаться с этим вот так, самому, в собственном доме, было всё равно что вляпаться голым в дерьмо. Он бросил обречённый взгляд на свою руку и решил её помыть. А ведь я ей только что ел… Всё, пиздец, настроение было испорчено вчистую. Да что же это за мутотень такая, а? Почему одним всё дарное, торклое и глористое, а другим лишь хнявое и бяклое? Ну почему?

Он тёр руку и плевался в раковину. Жизнь пошла кругами, и берега-то рядом, вон уж и осинничек синеет, и взгорочек земляничный. А ты, братец, утонул, погрузился в пучину своих страхов, в тёмные воды своих подозрений и обид. Волна ударит о берег и вернётся. Вернётся к тому месту, откуда пошла, но никого в том месте уже не будет. Ты на дне, братец, и водоросли цвета насморка сплели саван на твоём челе, и тело твоё разбухло от невыплаканных при жизни слёз, он невысказанных мыслей и неосуществлённых мечтаний. И солнышко не будет танцевать на твоей коже, и не лежать тебе никогда ни сверху, ни внутри того земляничного пригорочка, под певучей печальной осиной…

Аристарх глядел на капли влаги в раковине и не понимал, то ли это его мутные слёзы, то ли грязная вода с беспутных рук его.

– Да что я, сбрендил, что ли! О чём переживаю! Чего выдумываю! Кто сказал, что сосед – и какой! всеми уважаемый президент банка! – гомик? Тут тебе что, деревня Гомосеково, что ли? Откуда такие фантазии, право? Ну, Аристархушка, и воображение у тебя…

Так увещевал он себя, стоя в ванной и держа пальцы под холодной водой. Потом он решил окунуть туда всё лицо и окунул. На душе чуть прояснело.

– Ну вот и хорошо. Ну вот и ладно, – подбодрил он своё отражение в зеркале и начал вытираться.

В ванне лежал ворох грязного белья. Постирать, что ли?

Открыл воду замочить эти жалкие тряпки, но увидел свой обмотанный лейкопластырем палец и передумал. Ладно, раскинул, стирка никуда не убежит.

Был понедельник, и телевизионщики отдыхали. В программе стояли всяческие "репортажи с мест", "телегазеты", "хроники дня" и "там-там-новости". Муть голубая, ничего путного. Бросил программу на стол, вздохнул, упал на кровать.

Вдруг вспомнил, что мешок с землёй для "доктора", для его многострадального эскулапа, так и лежит в прихожей.

Пришлось вставать и идти заниматься этим.

Когда ссыпал землю в новоиспечённый горшок, что-то мелькнуло в её жирной черноте. Вытянул. Это был гандон. Презерватив,

как говорится в рекламе против СПИДа. И, разумеется, использованный. В его носике (или как он там называется!) мутнели вязкие сгустки.

– Блядь! – сказал в сердцах Аристарх и уронил гандон на пол.

– Блядь! – повторил он, потому что теперь нужно было его поднимать и нести топить в унитазе.

Избавившись от контрацептива, оттёр с мылом руки, брезгливо сплюнул на стареющий рукомойный фаянс и вернулся к обустройству горшка. Продавщица сказала, что в днище нужно проковыривать дырку. Объяснила: чтобы вытекала вода. Если вода вытечет, рассудил Аристарх, то как же "доктор"? Ему ведь ничего не достанется! Дырку делать не стал. Растут же цветы на клумбах без всяких дырок снизу…

Поднял глаза. Цветок-транссексуал совсем иссох и превратился в сморщенную мошонку. Оборвать, что ли?.. Так и поступил. Пока нёс его в ладошке, опять на свет божий выполз давешний Владимир Иванович. И вот уже тянет он руку лодочкой – сейчас ухватит. И взгляд – зайчиком, и улыбочка – леденцом. Видать, в постели он в миноре, снизу… Сгинь, нечистый! – цыкает Аристарх. – Сгинь, кому говорю! Владимир Иванович жеманно белеет зубами и растворяется в сиреневом тумане… Да что это я сегодня такой озабоченный, нервничал Аристарх Матвеевич, от безделья у меня эти закидоны, что ли? И ладно бы думал о бабах, а то – о мужиках! Совсем крыша едет…

Он вдруг вспомнил и заскучал о своём бдительном двойнике О.О. Что-то давненько его не видно, уж не в отпуске ли зоркий мой караульщик?

А беспризорные мысли уже успели перебежать в женский лагерь. Проплыло полустёршимся пятном лицо Лисы-Мелиссы, отдающейся всякому ради платонической любви к Аристарху… Пришло в окладе, как икона, хорошо сохранившееся личико девчонки, какую он любил в девятом классе… Заглянули на огонёк ещё два-три случайных потраченных временем лица. И всё пропало. Всё украл холодный сиреневый туман…

Сиреневый туман над нами проплывает,

Над тамбуром горит полночная звезда…
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкою я прощаюсь навсегда…

Аристарх стоит перед окном на кухне, руки испачканы землёй, в груди сквозняк, звёзды колют зрачки, и девочка в розовом платьице бежит по ромашкам и одуванчикам, разметались молочные кудри, и синь кругом – хоть плыви, и мальчик… где-то ведь был мальчик, такой стройненький, хорошенький, в коротких штанишках… Но где же он? Почему его нет? Он был, он только что был здесь! Что могло с ним случиться? Эй, люди, товарищи, вы не видели мальчика, ау, он ещё так славно смеялся, у него ещё были такие невинные глаза… Нет, всё ушло, рассыпалось, поросло быльём. Провернулись жернова, и вместо зёрен – песок, и вместо света – тьма, и слышен не звонкий мальчишеский смех, но скрежет чугунных мыслей в соломенной голове старика. Куда всё исчезло? Куда подевался город над рекой, и те одуванчики, и сама река, и небо, и солнце? Какой сказочный крокодил проглотил все эти простые вещи? Да кто посмел, в конце концов! Отдайте мне моё детство! Ведь это же такая малость. Ну пожалуйста, ну я вас прошу-у-у!.. Верните мне меня! Потому как этот, с грязными руками, – вовсе не я! Я не хочу быть таким, я не был таким! Я уже забыл, какой я на самом деле. Погодите… мне бы только вспомнить…

Сигарета плясала в руках, и он засунул её в рот. Но она плясала и там. Танцы народов мира. Пара крепких затяжек, чтобы не размыло звёзды, и Аристарх – как новенький.

Сердце мудрых – в доме плача. Уж лучше я останусь глупцом…

А знаешь, кто ты есть, Аристарх? Ты страдательное причастие несовершенного вида! Вот ты кто! Запомни это и не возгудай. Издержал, промотал, растратил ты жизнь в пустой борьбе с собственной плотью, будто бы слишком тебе докучающей. И разве тебе не страшно, что нет в твоём сердце – и уже не будет, слышишь, не будет никогда! – воспоминаний о шёлковой девичьей коже, о пушке над верхней губой, о родинках и ямочках, о взгорочках и

ложбинках, о тайных закуточках женского тела? Зачем оттолкнул ты радости эти, зачем не пустил их в сердце своё? Зачем?..

…Затем!!! – кричал внутри себя Аристарх. – Затем, что всё это суета сует, дешёвая возня вокруг собственного пупа, и больше ничего! Пустая, никчёмная, ненужная возня!..

Эх, Аристарх, Аристарх! Было бы это правдой – не кусал бы ты сейчас локти свои…

Кто?! Я?! Это я-то локти кусаю? Ха-ха-ха! – вот хохот мой в лицо тебе…

Скажи уж: в лицо себе самому…

Какая разница…

Действительно, никакой…

Да если уж на то пошло, вся жизнь человеческая – одно оскорбление ума и совести! Взять хотя бы приём пищи…

А чего это ты вдруг о пище? Мы же, вроде, о бабах…

В жопу баб! Ем-то я каждый день, а секс у меня по великим праздникам…

Хорошо-хорошо, уговорил, валяй…

Так вот, возьмём еду. Хавку. Жрачку. Застолье это нескончаемое. Что оно есть на самом деле? Да не что иное, как набивание мешка под названием желудок кашей, смешанной с оральными выделениями! Чистая физиология! Биологический процесс! И мы ещё умудряемся находить в этом какое-то удовольствие, удовлетворение, приятность! А всё оттого, что молимся одному богу, одному монстру – Утробе. Труды наши тяжкие, силы все и всё здоровье – к добыче того, что можно разжевать, расхрумкать, растереть, перемолоть и – проглотить. Да неужто мозг, этот волшебный прибор, данный нам в награду за божественное наше происхождение (или авансом за божественное предназначение!), – всего лишь отмычка к кладовке, где лежат съестные припасы? Неужто серое вещество, так плотно умятое в наши котелки, для того только и существует, чтобы обслуживать нескончаемый биологический процесс? Тошно думать об этом! О! И это лишь малая доля, лишь верхушка айсберга! Вы жуёте, вы поглощаете, вы питаетесь – а попробуйте-ка вынуть изо рта этот тёплый, мягкий, вонючий комок. Разглядите его хорошенько. Пощупайте. Разомните его паль-

цами, всмотритесь в его черты, ощутите его консистенцию. Запомните. И тот из вас, у кого возникнет желание засунуть это в рот ещё раз, может смело идти в гиннесовский комитет и прилюдно глотать мокриц, жуков, опарышей и прочая – место в книге рекордов ему гарантировано. Ну, как вам картинка? Ничего? А вот ещё одна, побаще. И название подходящее: отправление естественных надобностей. Вслушайтесь, други и братья, как стыдливо за округлой этой фразой спрятало несовершенное человечество свою неизменную (точнее – низменную) потребность ссать и срать. Вянут уши, глаза потупляются, и звучит в оправдание старое как мир: что естественно, то не безобразно. Да, для червей земных, копошащихся в своих испражнениях, это больше чем естественно! Но кто поверит, кто согласится, что это не безобразно? Это жутко безобразно! Это омерзительно! Лишено даже намёка на гармонию! Не говоря уже о том, что это негигиенично. Будь хоть какое-то эстетическое оправдание этой гадости, не прятались бы человеки в свои пещеры, не забивались бы в тёмные углы, лишь только приспичит. Тьфу! Куда ни глянь – всюду пошлость, беспомощность, слепая покорность року. Или не так? Так! Так! Всюду, всегда и везде. А я… я просто заблудился во времени. Вот родился бы раньше, лет этак на пятьсот, может, и поддался бы зову совести, и сделался бы отшельником в белой пустыне. Носил бы рубище, питался акридами, был бы худ, провялен солнцем и ветром, с седой бородою на впалых щеках. Усмирил бы плоть свою, чтоб не была докукой, и весь обратился бы к богу, к чёрту, какая разница, лишь бы скорее вон из этой клетки из костей и кожи, убраться прочь, объять необъятное, воспарить над миром, – даже и совсем исчезнуть, если уж другого не дано. Или же вот, к примеру, принять схиму. Заточить слабое тело в каменном мешке, надеть власяницу, класть поклоны, сечь себя бичом, пока не спадут путы и цепи, пока дух не освободится от скверны земной, от общественных столовых и не менее общественных туалетов, от испачканных трусов и стоящего торчком отростка между ног, требующего места приложения…

Аристарх Матвеевич очнулся лицом к лицу с ночью за окном. Землица на его руках уже начала подсыхать и осыпаться.

…Для тебя ли это всё, Аристархушка? Уж больно ты любишь одеяло своё комковатое, пивко бутылочное да кальсоны зимние…

– Ненавижу! – завыл Аристарх Матвеевич. – Ненавижу! Всю эту круговерть земную, шевеление это бессмысленное! Что оно? Для чего? Для пополнения плодородного слоя почвы? К чему все эти изыски, эти перлы творения? Ради ещё одной горсти перегноя? Прах был – и в прах вернёшься?.. Господи Боже, Царю Небесный, если ты есть, и если это именно ты организуешь и населяешь, создаёшь и вдыхаешь, если это всё твои придумки – ох и говнюк же ты в таком случае! Чистой воды мазохист! Нагородить такой огород из чад своих – и вырастить персть, прах, ничто! Непостижимо!

Внизу, во дворе, зажёгся фонарь. Всего один фонарь на столбе около трансформаторной будки.

…Аристархушка, милый, хватит о плоти. Ведь есть ещё любовь…

– Любовь? – Аристарх Матвеевич посмотрел на свои руки. – Неужели?

Он разровнял землю вокруг растения, бросил прощальный взгляд за окно, в непостижимый разумом мир, смёл в кулак крошки земли с подоконника и через десять минут уже лежал в кровати.

Сегодня он снял кальсоны, потому что сегодня было тепло. Стягивая их, он вспомнил армию и как после отбоя сержант, выполняя неписаный ритуал, рявкал в темноту казармы:

– Вот и день прошёл!

И в ответ ему сто двадцать глоток, вся рота, как на параде, дружно и весело гаркала:

– Да и хуй с ним!!!

Что ж, вот и ещё один день, подумал Аристарх.

Тысячелетия, эпохи проносились над его постелью, вздымались пирамиды и рушились цивилизации, с сухим шелестом сыпался песок времени, а он всё ещё был жив, ещё дышал и видел, как вздымается грудь под истлевшим одеялом…

Вскоре он уснул, закрыл глаза, и две слезы скатились из-под Аристарховых век в Аристарховы уши.

ГЛАВА 5
ПЛОДЫ

Когда зреет что-то подспудное, тайное, то поздно или рано наступает такое время, когда всё вылазит наружу, потому как у всего есть начало и конец, зад и перёд, верх и низ. И даже у мира нашего, казалось бы, безразмерного, есть свои рамки, и если, к примеру, у одного существа заболела душа, и у второго заболела, и ещё у многих других – так эта боль, нагноение это, через край мира так и брызжет, пойдите, спросите любого экстрасенса, они люди чуткие, они всё это видят и за версту угадывают.

Долго, мучительно болят эти раны… Зато потом, прорвавшись и забрызгав гадостью своею всё вокруг, нарывы мирские поджи-вают, затягиваются, зарубцовываются. А пока суд да дело – зияет пустота, потому как дрянь-то выплеснулась, а хорошее ещё не нарос-ло. От века так уж: дряни почему-то всегда больше, чем хорошего… И вот в это самое время происходят престранные чудеса. Ну сами посудите: скверны поубавилось, дышать стало легче, а нового ещё не построено, времени не было, – и дырка цела. Как же в неё не заглянуть? Понятно – всем хочется, и дуракам и умным, и живым и мёртвым. И даже неодушевлённым. (Не путать с бездушными.) Учёные – так те говорят, что всех нас, да и вообще всё кругом, породил вакуум. Во как! Нас-то, дурней, в школе учили, что вакуум – это пустота, дырка от бублика, то, чего нет и быть не может. Ан нет – не так всё просто. Оказывается, в вакууме этом все мы заранее в комочки свёрнуты, в мешочки сложены, и на каждом мешочке – бирочка. Это, мол, такой-то и такой-то, человечек никудышный, а вот, поди ж ты, – без него нельзя. Он – та самая гаечка, на которой всё держится. Придёт минутка, и выплюнет его вакуум в нужном месте, и поддержит тем самым своё равновесие. Равновесие – это у него наипервейшая забота. Так и живёт этот невидимый и непознанный властелин, сам себя обихаживает, туда-сюда поплёвывает. То молекулу какую завалящую выплюнет, то

собаку бездомную, а если уж в особенном настроении – так и управляющего банком…

В эту ночь изливалась из мира скверна. Тёмная, душная, очистительная ночь была. И вот что странно: протекала вся эта гадость почему-то прямиком через сердце спящего Аристарха Матвеевича. А потому сон его был как бы и не совсем сон, а больше транс, медитация и экстаз. Сон-пронисон. Началось всё быстро и разом, без лишних анонсов и предупреждений. А так как пакости в подлунной – не излиться, то Аристархово сердце раздалось до прямо-таки вакуумных масштабов.

И открылись хляби небесные в чреве его.

И пролился поток смердящий и неистощимый.

Слетела корка с Аристарховой души. Мелькнули и исчезли, словно утопленные младенцы, обиды детства, злые воспитатели и несъеденные конфеты. Рассыпались мутными брызгами обманутые надежды и несбывшиеся мечты. Прошлое и настоящее, былое и думы, преступление и наказание, рыбак и рыбка, Чип и Дейл – всё смешалось в этом неистовом смертоносном потоке. Любовные треугольники своими углами вспарывали нежнейшие сосуды. Тугими пробками проталкивались дружбы, разменянные на комфорт и презренный металл. Болотной жижей изливались армейские унижения, тупость-глупость-гваделупость. Бадьи стыда – на голову твою. Ушата грязи – в уста и очи твои… Отовсюду сочилась сукровица мелких жизненных неурядиц, отдавленных в трамваях ног и невыплаченной зарплаты. Захлёстывали волны фатального одиночества и хронической безысходности…

Авгиевы конюшни сердца. Лабиринты души. Пандоров ящик. Коловращение вод, разруха, ужас и столпотворение… Пульсировало сердечко: тук да тук, бух да бух, грым-грым. Всё толще, всё необъятней становилась струя, всё нестерпимее делалась вонь.

И когда пришёл девятый вал, сердце не выдержало. Оно попыталось сжаться – и не смогло. Оно уже вмещало несколько галактик и могло принять ещё, но… только, пожалуйста, не надо этого, не надо так, это больно, это ужасно, потому что ещё есть надежда, ещё теплится жизнь, пускай и пошлая, и пустая, и загубленная жизнь. Её утрата страшнее любой чёрной дыры, даже нейтронные

звёзды, красные карлики и белые гиганты – ничто в сравнении с этим трагическим шаром боли. За гранью этого – пустота, россыпь атомов и бесконечность времени, новое слипание в шарик и сидение в мешке с ярлыком. За этим – вакуум…

Все скорби мира устремились в одну расселину, в одну открывшуюся брешь, и не было Аристарху спасения, и губы уже шептали последнее "прости"…

Если бы не чудо…

(Ох уж это чудо! – заметим кстати. – Это вездесущее русское диво! Тема излюбленная и неизменная. Вечное состояние русской души. Ни в одном царстве-государстве не случалось досель столько чудес, сколько в земле русской. Да у нас, куда ни глянь, – сплошные чудеса! И быт наш неописуемый, и незримые оку плоды трудов наших – от А до Я, всё – сплошная фантасмагория и праздник тайных сил. Есть где развернуться неведомому! Просторы кругом немерены, дали нехожены. А там, где хожено – живёт народ-затейник, знакомый с чудом не понаслышке. Он сам – великая загадка Природы. Ей-ей! Ну разве не диковина, что пролез он через века, и сохранился, и сыт, и пьян, и чёрт ему не брат. При лености его, при всём его беспрочье-недоучье. Народ-Сизиф! Любимая цаца Фортуны!)

Хотя Аристарх и не полагался на русский авось, но подвезло ему безмерно. Где-то совсем рядом, может, за стеной или на соседней улице, на другом материке или в смежной галактике, открылась ещё одна воронка, вошёл в действие ещё один дренаж для мировой дряни. Другое жертвенное сердце и беззаветная душа…

Поток скорбей был рассечён, и уцелело Аристархово сердечко, не разлетелось оно сияющими осколками от Млечного пути до далёких туманностей. А то ползать бы ему потом на карачках, собирать черепки взорванного горшка…

И мрак ушёл, и пришёл свет. И воссиял он из той шикарной пробоины, что образовалась в груди несчастного. Свет воплотился в существо (Вселенная не терпит пустоты!), и не нужно было даже смотреть в ту сторону (тем более что разглядеть всё равно ничего было невозможно), чтобы понять, что в брешь проникла женщина. Да и кому же быть, как не женщине. Это ведь только у зыбки мира

стоял ОН – Бог, вакуум, или другой какой живородящий мужик, а тут, у нас, на грешном шарике, в стране дураков, – баба начало всех начал. Исход и окончание. Причина и следствие. Посади, к примеру, Аристарха Матвеевича писать свой, Аристархов, Завет, он начал бы так: "В начале была баба…" В ней, в ней – и завязка, и эпилог. Первооснова бытия и его трагедия.

И баба спросила:

– Не узнаёшь?

Просто и естественно спросила, как наяву.

И Аристарх был рад и голосу её и появлению. (Тот, кто выжил в катаклизме – не погибнет в пессимизме!)

– Узнаю, – сказал Аристарх. – Ты плесень души моей, цветущая на могиле моего тела.

– Красиво, но невпопад, – возразил знакомый голос.

– А ты сегодня ничего. И даже одетая.

– Ну ты нахал!.. Я всегда ничего!

– Что, снова по мою душу?

– Ага. Пойдём-ка.

И они пошли. Он не спрашивал – куда, он знал.

– Но там же дверь опечатана!

– Неужели?

Они вышли из квартиры и спустились по лестнице. В подъезде было холодно и неуютно. Одна лампочка на два этажа.

– Рано я снял подштанники.

– Не церемонься, там все свои.

Он стоял босиком на каменном полу перед знакомой дверью. Не было милицейских печатей, в щёлку сочился слабый мерцающий свет.

– Входи.

И он вошёл. Первое впечатление – будто и не покидал своей берлоги. Такой же тамбур-коридор и узнаваемое кругом пространство, тысячекратно промеренное глазами. И выключатель был на том же месте. Он коснулся его пальцами.

– Не надо, – шепнула она сзади в самое ухо. – Проходи.

В комнате горела свеча. Одинокая свеча на круглом столе. И качались углы. Стояла кровать у стены, на кровати кто-то сидел.

– Проходи, Аристарх Матвеевич, – сказал сидящий голосом Владимира Ивановича. – Садись, – и он хлопнул по простыне рядом с собой.

Аристарх покорно сел.

– Эй, долго ты там будешь ковыряться! – крикнул Владимир Иванович куда-то в темноту.

Из провала кухни, словно из преисподней, появился Витенька. В одной руке у него была бутылка, в другой – стаканы. Он выглядел почти нормально, если не считать густой черноты вокруг его впалых глаз. Он двинулся к столу и поставил бутылку на самую середину. Звякнуло стекло о стекло, забулькала жидкость.

– Но он же погиб! – шепнул Аристарх в ухо банкиру.

Тот только кивнул в ответ. Мол, да, погиб, я знаю.

Женщина приблизилась к столу и выплеснула налитое из одного из стаканов на пол.

– Ты своё выпил, – сказала она холодно.

Витенька как-то сразу весь согнулся, заскулил.

– Ну хоть рюмочку, хозяюшка…

– Да заткнись ты! – вдруг закричал Владимир Иванович. – Ты что же, гнида, пить сюда пришёл!

– Тише, братец, тише, нас могут услышать. Два часа ночи всё-таки, – урезонила его женщина.

Аристарх в ужасе смотрел на синее Витенькино тело. На безволосой груди и на руках у него были наколки, но они почти исчезали, растворялись в общей синеве его кожи. На животе, прямо над пупом, чернело какое-то странное пятно.

– Ты будешь говорить или нет?! – снова закричал неугомонный Ковач.

Витенька забился в угол, и только свечные блики в его зрачках выдавали его присутствие в комнате.

– Ты видишь, это бесполезное занятие! – пожаловался Ковач женщине и скрипнул зубами.

Та взяла два стакана со стола и протянула один Аристарху.

– Ты должен выпить.

Жидкость в стакане была густая, как глицерин, и пахла совсем не водкой.

– Что это?

– Это ликёр. Пей.

Он с опаской сделал маленький глоток, но ничего страшного не случилось. Допил остатки.

– А теперь слушай. Он, – она указала на тень Витеньки в углу, – посмел присвоить деньги. Тридцать пять миллионов.

– Тридцать три! – взвизгнул Витенька. – Один сейф сколько стоит!..

– Замолчи! – Ковач вскочил с постели. – Мы всё сделали как надо, а ты всё испортил, падаль, синяк, у-у! – он замахнулся кулаком.

– Сядь! – сказала женщина. – Сядь.

Ковач сел.

– Деньги эти должны принадлежать тебе, Аристарх. Тебе и мне. Мы должны пожениться. Считай, что это свадебный подарок.

– Я это знаю, – сказал Аристарх. – Но тебя ведь нет.

– Я буду. Это всего лишь задержка. Витенька оказался слабым человеком и теперь общается с ангелами.

– С чертями! – зло вставил Ковач.

– Какая разница… – Она пригубила из стакана. – Теперь, Арик, тебе всё известно. Теперь ты один из нас. – Она провела рукой по его щеке. – Главное, ни о чём не беспокойся, всё само собой устроится. Дай только срок.

– Но почему я? Почему не… – ну просто первое, что подвернулось, – это сидящий рядом на кровати Владимир Иванович. Кивнул на него.

– Я тебе нравлюсь? – спросила женщина.

– Да, – сказал Аристарх Матвеевич.

– Спасибо, родной. Я страстная женщина и хочу, когда это произойдёт, вкусить все прелести земной жизни. А этот, – указала на Ковача, – не спит с женщинами. Он предпочитает кровь молодых барашков.

– Где деньги, ублюдок! – завопил Ковач и бросился на Витеньку.

Раздались глухие удары. Аристарх вздрогнул.

– Я ничего не знаю! – жутко заверезжал убиенный. – Это всё Верка! Я уже говорил! Это она, проблядь, это всё она! Ай, не надо, не бейте меня! Ой! Это она сломала цветок. Чего я мог поделать-то! Приревновала, сука. Не надо по лицу! Я всё сделаю, всё как вы скажете…

Владимир Иванович сопел, его широкая спина вздрагивала в такт с каждым его ударом. Витеньки видно не было, из темноты торчали только его голые синюшные ноги с грязными пятками.

Она понаблюдала за этим побоищем и брезгливо изрекла:

– Нет, это не для меня. Пойдём отсюда, Аристархушка.

– Я замёрз, – пожаловался Аристарх Матвеевич, поднимаясь.

– Я согрею тебя. Пойдём.

Они снова шли по бетонным ступеням, и их тени скользили по скабрёзным наскальным росписям, коими были испещрены стены в подъезде.

– Ты знаешь, что такое космос? – спросила она, когда они закрыли за собой дверь его квартиры.

– Да, это сигареты.

– Дурачок. Это то, к чему ты всегда стремился. Это свобода. Свобода ото всего. В том числе и от тела.

– Полной свободы не бывает, – возразил он и так неожиданно и глубоко прочувствовал это, словно был не Аристархом Матвеевичем, а каким-нибудь там Спинозой.

– Ты прав, конечно, но давай не будем сегодня об этом. У нас ещё будет время…

– Но тогда почему ты так хочешь стать обычным человеком?

– Обычным? – она захохотала. – Я никогда не смогу стать обычным человеком, Аристархушка! Мне это противопоказано!

Она продолжала смеяться, пока они шли к кровати.

– И потом, каждый тоскует о том, чего ему не хватает. Не так ли?

Они сели на одеяло, и Аристарх почувствовал, как перекатываются под его ягодицами ватные сугробы.

– Мы купим новое, – сказала она. – У нас с тобой всё будет новое. Нужно только вытрясти из Витеньки деньги.

Он желал ещё задавать и задавать вопросы, но её лицо приблизилось, и ему мало-помалу расхотелось говорить.

Любовь у них в этот раз была какая-то судорожная, удушливая и жирная. Аристарх вспотел, и чувствовал свой запах, и вспомнил, что мылся накануне отпускных, то есть в среду. Ему было неприятно всё это чувствовать и даже думать об этом, но Мелитина снова возбуждала его плоть всё новыми и новыми измышлениями и изысками, и он опять падал в страсть с головой, как в омут, и не мог опомниться, пока не ослабел настолько, что был не в состоянии двигаться. Потом он лежал и думал об этом странном имени – Мелитина, но поинтересоваться уже не было сил, а она всё ласкала и ласкала его, так что он кончил даже и не взбираясь на неё, кончил уже в третий раз, и запросил пощады, сказав, что и так уже поставил рекорд, и она поцеловала его ещё раз и зачем-то встала, а он потерялся и больше ничего не помнил.

Перед тем как окончательно забыться, он подумал о том, какой это странный сон, очень натуральный и естественный сон, и отметил про себя, что вот опять он засыпает в своём собственном сне. Это уже во второй раз, и это просто удиви…

– …тельно! – он вскочил как ошпаренный.

Ярко светило солнце и ему сперва показалось, что он сидит в кабинете у Ковача. Одеяло было скатано в жгут и свисало с кровати колбасой. В башке был полный кавардак, глаза не открывались. Натыкаясь на углы, он пошёл в туалет. Сел на стульчак и сказал "У-у-у-у-у…". Обратил внимание на член. На нём были мозоли.

...я страстная женщина и хочу вкусить все прелести земной жизни…

Мелитина! О господи! Я что же, всю ночь работал? Посмотрел на часы. Ёб!.. 12:42! Память прорвало. Как будто лавина сошла с гор, сметая всё на своём пути. Он увидел своё сердце, раздувшееся до космических размеров… комнату Витеньки… самого Витеньку, голого, скрючившегося у ног Владимира Ивановича… их с Мелитиной всенощную… Он вспомнил ледяной бетон лестничных ступенек и вывернул ногу, чтобы взглянуть. Нога была чёрной от грязи. У него перехватило дыхание. Попытался и не смог проглотить комок. Это что же, я всю ночь разгуливал по подъезду в одних

трусах? Да нет, быть этого не может! Как не может, как не может! Вот же перед тобой твой разлюбезный причиндал, он весь опух как с перепоя! А ноги? Они все в грязи! Ты что, Аристархушка, совсем охуел? Крыша у тебя, что ли, поехала? В психушку захотел? Ты же тихо двигаешься, съезжаешь с катушек, понял!

Натянул трусы, вернулся к кровати. Обвёл взглядом комнату, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь зацепку, какое-нибудь доказательство… Да нет, вроде, всё на месте, всё как всегда, вот только постель изрыта, будто шёл в ней бой не ради славы, а ради жизни на земле.

Стал чистить зубы и ужаснулся своему отражению в зеркале. Зря ты согласился на отпуск в марте, сказал он этому отражению, замучит тебя похоть твоя, изведёт вожделение, а неуёмный тонус тазовых мышц окончательно доконает… Эротические фантазии с фатальным исходом… Он улыбнулся. Улыбка получилась довольно вымученной.

И всё же помимо всех этих страхов чувствовал он ещё и успокоение в душе. Будто упал с сердца камень, будто рассеялась вековая мгла и забрезжил огонёк надежды… нет, не надежды, ясности какой-то, что ли. Теперь он узнал, кто такая Мелитина. Узнал? Раз так – пойди, расскажи следователю!.. Н-да, такое никому не расскажешь… Послушай, дружок, болезнь-то у тебя прогрессирует. Ну-ка, вслух скажи, кто такая Мелитина?

– Дьявол во плоти.

Эка ты залетел!.. Да и в какой плоти? Она ещё и не воплотилась даже!

– Тогда – ведьма.

Опять не угадал. Ведьмы-то были земными бабами, одержимыми бесом.

– Во! Бес! Мелитина – бес! Бес похоти и сладострастия!

Ну, вот и договорился. А теперь – бегом в спорттовары за сетью, потом – к Иртеньеву, и вместе – на ловлю беса. Поймаете – обоим хватит.

Эх, дорогой мой О.О., как же ты довёл-то до такого… Куда же ты подевался… Ночью сегодня даже носа не показал. Совсем слабаком стал!

– А ты сам – не слабак?

– Так ты здесь, что ли?

– Где ж мне быть, конечно, здесь.

– А хрена ли ты…

– Не ругайся.

– Почему на помощь не идёшь?

– А ты звал?

– Тебе ещё и приглашение нужно? Может, письмецо послать?

– Хотя бы вспомнил о моём существовании…

– Вот, видишь, вспомнил же!

– После драки кулаками не машут. И потом, ты с ней всегда заодно! Я кручусь, верчусь, оттаскиваю тебя, она, понимаешь, глумится надо мной, издевается всячески, а ты – сторона.

– Ну извини…

– Ну вот и ты извини.

Эй, эй, Аристарх, ты с кем разговариваешь? Сам с собой? Заткни уши-то, а то последние мозги вытекут! Или пора уже идти сдаваться, как ты считаешь? Примерять рубашку с длинными рукавами? Мультики на стенках смотреть? Вот жизнь-то весёлая пойдёт… Мелитина передачки носить будет…

Укусил губу, прогоняя наваждение. Дентал крим "Малахит" тёк по подбородку зелёной пеной…

Он по-прежнему стоял над умывальником и держал в руке зубную щётку.

– Напьюсь сегодня во что бы то ни стало! – определился он. – Надо сходить взять пузырь и позвонить Лёхе.

Никак не мог дождаться, пока сварится яйцо. Внутри всё свербело. Хотелось скорее бежать из квартиры, из дома, а то и из города – куда подальше, забыться, перевести дух. Ты и отпуск взял, чтобы отдохнуть… Что ж, видно, противопоказано тебе отдыхать. В простые-то выходные от мыслей покоя нет, а как неделя безделья – так и вовсе вальты загуляли. Не отдых тебе нужен, а тяжкий труд с мозолями и потом. Во-во, совсем как нынешней ночью!..

Съел яйцо, не дав ему свариться. Весь измазался желтком, как спермой. Ополоснулся, натянул штаны, сунул два червонца в карман и – бегом из дому.

А что если позвонить в Искра-банк и поговорить с Ковачем? Он, наверное, уже вернулся от следователя… Что-то он скажет? Мысль эта испугала и в то же время приободрила. Может, хоть какая-то определённость появится…

На первом этаже остановился около Витенькиной двери. Ночные видения так и шастали перед глазами. Он помнил всю обстановку в комнате, вернее – почти полное отсутствие обстановки. Допотопный круглый стол, панцирную кровать у стены, Владимира Ивановича на кровати… И как Владимир Иванович бил, а Витенька кричал… Дверь была закрыта и опечатана. Толкнул – заперто. Как и положено.

На улице совсем потеплело, и он подосадовал, что надел пальто. Многие уже расхаживали в пиджачках, школьники – так те вообще бегали в одних галстуках, в смысле, в рубашках.

На проспекте Ленина зашёл в телефонную будку. Хорошо, хоть телефоны сделали бесплатными, монетки искать не надо… Снял трубку. Трубка была оборвана. В соседнем автомате ему повезло больше. Услышал тремоло зуммера, будто где-то далеко неаполитанская старуха пела отходную. Набрал 09.

– Девушка, пожалуйста, управляющего Искра-банком… Адрес? А я не знаю. Это по Декабристов… Как-как? Последние – сорок девять? Ага, понял, спасибо.

Долго собирался с духом и, когда уже совсем забыл номер, вставил палец в дырку диска.

Два длинных гудка – и ему ответили.

– Да? – голос тёк как мёд.

Аристарх Матвеевич тут же нафантазировал себе прекрасную Елену, её округлые колени и божественный затылок.

– Искра-банк? – проговорил он осипшим голосом. – Леночка, это вы?

– Да, – ответила Леночка. – А кто это?

– Владимир Иванович у себя? – поспешил Аристарх, поскольку всё равно не нашёлся бы что ответить на её вопрос.

– Нет, он в командировке. Это вы, Семён Ильич?

– Нет-нет… А когда он уехал?

Леночка помолчала, как бы соображая, как ей себя вести.

– Он уехал сегодня, – сказала она наконец. – На семинар. Вернётся в понедельник.

– Спасибо, – пробормотал Аристарх Матвеевич и повесил трубку.

Листья кленовые падают с ясеня… – сказал он сам себе. – Этотожнадо! Уже смотался!

Он стоял в будке и не мог ухватить за хвост ни одной мыслишки в голове. Потом осенило:

– Напиться! Я должен сегодня напиться!

Снова снял трубку, но вспомнил, что Лёха сейчас на работе. Катерина, может, и дома, да разговаривать с ней не о чем. Пойду, бутылку пока куплю, решил он, и вышел из будки.

В киоске был такой выбор водок, что разбегались глаза. И все – импортные. Водка – чисто русский напиток, если вдуматься. И почему это, интересно, весь мир изготавливает то, чего ему не свойственно? Для одной, видать, цели: чтоб свезти всю горькую в одно место, в Россию, и понаблюдать за русским чудом, то есть как запойный мужик управляет своей с ног валящейся державой. Для смеху. И для выгоды, конечно. Но больше – для смеху.

Аристархов дед, бывалый бражник (тот самый дед, по чьему недогляду сгинула птаха божья Саньчик), певал, помнится, такой куплет:

Русский ум изобретёт
На зависть всей Европы
Так, что водка потечёт
Прямо в рот из жопы!

Аристарх соглашался с дедом. Так ведь оно и вышло: какую сейчас водку продают – так только оттуда она и может течь. Вот только льётся она теперь в русский рот в основном из заграничных жоп…

Как истинный патриот, купил родную и навек любимую "Русскую". Две бутылки. Хотел было и третью, но что-то его остановило. Зашёл в гастроном, взял шмат варёной колбасы, в булочной – буханку чёрного, дома ещё есть тушёнка и консервы рыбные –

сайра, кажись, – так что живём. Сложил всё в полиэтиленовый пакет и отправился домой.

На часах было 14:48.

На улице – плюс десять.

Побродив по магазинам да по очередям, Аристарх Матвеевич взопрел неимоверно. Придя к себе, скорее всё скинул: пальто, пиджак, рубаху, и остался в одних брюках.

Из-под мышек воняло. Лёха придёт с работы к пяти – успею постирать бельё и вымыться.

Как решил, так и сделал.

Стирал свои пожитки и чувствовал свой запах, и опять пускался в воспоминания о жуткой этой ночи, о безудержном и изнуряющем сексе с незнакомой женщиной, о восставшем с одра мертвеце, о банкире-садисте.

И ещё он думал вот о чём. Сны не могут, не должны запоминаться так хорошо! Они слишком неуловимы, слишком эфемерны, чтобы хоть сколько-нибудь серьёзно отпечатлеваться в памяти. Обычно ничего не помнишь уже через минуту после пробуждения. А сейчас… сейчас я почему-то помню всё до мельчайших подробностей! Я вижу каждый жест, свой и чужой, каждый взгляд, чувствую запах ликёра в гранёном стакане, ледяной холод лестничного пролёта. Это не может быть обычным сном! Если это сон, то какой-то ненормальный. А если не сон… А если не сон, значит, я – телевизор, и – эй! кто-нибудь там! – выдерните-ка вилку из розетки.

Мылся с диким остервенением. Что есть силы скоблил свои телеса капроновой мочалкой, намыливал и снова скоблил, на три раза. Отмывал грех. Напустил пару – да столько, что отпотело всё, от пола до потолка, – сидел в кипятке, кряхтел, но не сдавался.

Выполз из ванны – сил хватило, только чтобы поставить вариться пшённую кашу. На завтра. Упал на кровать и с час валялся, отдыхивался и курил. Обычно он старался не курить в комнате – спать в этом запахе было неприятно – но сегодня придёт Лёха, один хрен будет дым коромыслом.

Он уже забыл и о пшённой каше, и обо всём остальном, и будто бы даже задремал, когда услышал звонок. Одеваться было не-

когда, и он так – босиком и в трусах – прошлёпал к двери. Спросил, кто.

– Вам повестка! – сообщил молодой голос.

Открыл и высунул голову.

– Повестка?

– Да. – Длинношеий паренёк протянул бумажку и ручку. – Вот тут распишитесь, пожалуйста.

Аристарх поставил свою подпись, оторвал корешок и вернул его вместе с ручкой посыльному. Закрыл дверь.

Следователь Иртеньев приглашал его в свой кабинет завтра к 10:30. Ну надо же! Поспать, блин, не дадут человеку с похмелья!.. Он уже предвкушал долгую и бурную ночь.

В половине шестого стал собираться. Нужно было идти звонить Лёхе.

Минут через двадцать он уже стоял в будке и крутил телефонный диск. Ответила Катерина.

– А его ещё нет, – сказала она. – Чего хотел-то?

– Да так, ничего… Да, кстати, Катюша, мне тут семена прислали – тебе надо?

– А что за семена?

– Да я в этом ничего не понимаю. Для огорода. Огурцы, кабачки всякие. Принесу – сама разберёшься. Ладно?

– Идёт. Алексею-то передать чего?

– Я перезвоню ещё.

– Ну давай.

Пошатался по улице, постоял у киосков, купил курева. Через полчаса позвонил ещё раз.

– Нету его, – отозвалась Катерина.

– Куда он пропал? Время-то – седьмой час.

– А бес его знает, где он шляется.

– Мне он нужен, – объяснил Аристарх. – Дело есть.

– Знаю я ваши дела, – беззлобно заметила Катюша. – Ты в отпуске, что ли?

– Ага.

– Чем занимаешься?

С ведьмой ебусь, чуть не ляпнул он.

– Да так, пока ещё не решил, чем заняться.

– Эх, мужики, мужики… – вздохнула женщина на том конце провода, – беззаботная у вас жизнь!

– Я ещё перезвоню.

– Как хочешь.

Зашёл в гастроном, выпил молочный коктейль с мандариновым сиропом. Подумал и взял ещё стакан. Вкусная штука. Постоял на углу, покурил. Время тянулось как резиновое. Через дорогу, у овощного, кучковались мужики. Там продавали на розлив. Зайти, что ли?

В овощном к винному прилавку была очередь. Человек семь. Встал. Впереди стояли синяки с испитыми и усталыми лицами. Среди них были две женщины. Он заметил: они все брали по стакану – не больше и не меньше, – отходили в сторонку и очень сосредоточенно выпивали свою порцайку мутноватого пойла. У меня дома в холодильнике стоит чистейший русачок, подумал он, – какого я сюда припёрся? Это всё из-за Лёхи, куда его занесло, мудилу!

Когда подошла его очередь, Аристарх отсчитал деньги и подал их проворной толстухе за прилавком. Вино было налито в большие охлаждаемые ёмкости для сока – чёрт их знает, как они там называются, – и стакан она наполняла, поднося его снизу и нажимая на специальный рычажок. Струя пенилась, и вино в стакане выглядело как брусничный чай "Пиквик". На ценнике не было названия, стояло просто: креплёное вино. Аристарх Матвеевич сгрёб сдачу и отошёл в уголок. Понюхал напиток. На запах вино было лучше, чем на вид. Отхлебнул. А что! Вполне! Допил и встал в очередь по-новой. Время есть, а для рывка два стаканчика будет – в самый раз. Второй стакан пошёл хуже первого. Было всё-таки в этом вине что-то не то, что-то недоделанное, недодержанное или, наоборот, перестоялое и затхлое. Он уже пожалел, что позарился на второй стакан. Допил без желания, взял без очереди бутерброд с сыром и вышел на воздух.

День клонился к вечеру. Да, собственно, уже и был вечер. Солнышко ещё светило, но во всём уже виделись предвечерняя контрастность и красота. От выпитого вина потеплело в животе, и

приятная дурманящая волна поднималась к груди и выше – в голову. Аристарх Матвеевич с удовольствием затянулся сигареткой, и жизнь показалась ему не такой уж хреновой. А что, подумалось ему, всё наше присутствие здесь, на Земле, состоит из таких вот маленьких радостей, из тёплого вечера, стакана вина, доброй сигареты, да просто из хорошего настроения, – жаль только, осознание этого посещает нас слишком редко и почти всегда случайно. Вот как сейчас. И, стоя около овощного магазина на улице Ленина, постиг Аристарх, что жизнь прекрасна.

– А его нет до сих пор, – ответила Катерина, когда Аристарх Матвеевич снова набрал Лёхин номер.

– И не звонил?

– И не звонил. Да ты его что, не знаешь, что ли? Зашёл к кому-нибудь за пустяком и – ля-ля, ля-ля. Он ведь пока всё не перемелет, не остановится. Как только люди его терпят? Трепло – хуже бабы.

– Ну, ты-то ведь как-то терпишь…

– А ты?

– Я уже привык.

– Во-во.

– Кать, я больше звонить не буду. Сама знаешь, у меня телефон не в ванной стоит. Если заявится не очень поздно, пусть ко мне домой заскочит – я буду ждать. Хорошо?

– Ты семена-то когда занесёшь? Я уже свои давно высадила. Потом поздно будет.

– А вот Лёха пусть придёт, ему и отдам. Всех благ, бывай.

– Ага, пока.

Светлое настроение улетучилось. Ну Лёха, ну змий, всю малину обосрал! Так хотелось нажраться – и что теперь? Идти домой?.. И что там делать?.. А больше-то всё равно некуда… И это винище гадское ещё в животе булькает – на кой я его пил?..

Алкоголь уже разбежался по капиллярчикам, и организм требовал – ещё! Как картотеку, пролистал в голове всех знакомых… нет, в этакую компанию никто не подходил. Ну Алексей, ну сучара!..

И вдруг – как удар – мысль. Пшённая каша! Я же не выключил плиту. Ё-моё! Вот это да!

Нёсся по улице, ругал себя последними словами, боялся пожара и вычислял, сколько времени каша стоит на плите. Выходило что-то около трёх часов. Ё-моё! И он бежал быстрее.

Вот, наконец, и дом! Перепрыгивая через три ступеньки, – к квартире. Распахнул дверь и опрометью – на кухню. Сердце стучало у горла, в ушах слышался какой-то писк.

Кастрюля с кашей стояла на плите, укрытая полотенцем. Плита была выключена. Никаких стихийных бедствий и катаклизмов не намечалось.

Поднял полотенце и крышку. Каша была толстая и упревшая. Ничего не понимаю! Но я же не выключал плиту… – Промокнул лоб полотенцем и продолжал стоять и пялиться на кашу… – и уж тем более не укрывал кастрюлю полотенцем! Я это точно помню!

И помню очень точно,
А может, и не точно…
А может, и не помню
Я вовсе ничего!
Зовут его Василием,
А может, не Василием…
Нет, правильно, – Василием!..
Но только не его…

Песенка была такая… Да, Аристарх, вовремя ты пошёл в отпуск. Тебе определённо нужен отдых. Длительный и глубокий, как сон, как смерть…

Распахнул холодильник и достал бутылку. Она уже успела охладиться.

Настрогал колбасы, отрезал хлеба, открыл водку. Плеснул в стакан. Чтоб вам всем пусто было! И – опрокинул в себя. Губы сделал трубочкой, выдохнул. Взял колбасу, втянул носом густой запах, положил кусок в рот. Передёрнуло. Фу ты ну ты! Что ж ты такая противная-то, родимая? Отломил хлебушка и пошёл в комнату смотреть телевизор.

Показывали какую-то дребедень типа Розы или Барбары – бесконечная болтология вокруг выеденного яйца. По другой программе были мультики. Метро Голдвин Майер. Косматый лев рыкал из овальной рамы. Вот это дело! Уморительный Том гонялся за обаяшкой Джерри и учинял неописуемый погром. Был там ещё и третий персонаж – крохотный мышонок-обжора, глупыха и непоседа, который всё время попадал по своей детской наивности в опасные ситуации, а Джерри был вынужден его выручать. В этот раз война шла на праздничном рождественском столе среди яств, свечей и салфеток кульками. Мышата измотали Тома до колик, подпалили ему хвост и проткнули его вилкой, засунули ему в рот свечу и поджарили на спиртовке. Короче, издевались над ним как могли. Аристарх искренне сочувствовал незадачливому и, в общем-то, абсолютно беззлобному коту и радовался победам мышей.

Водка, обжегши пищевод, соединилась где-то ниже с выпитым накануне вином, и этот коктейль довольно сильно ударил по мозгам Аристарха Матвеевича. Мышат почему-то стало трое, потом четверо, и он был вынужден ненадолго зажмуриться.

Вернулся на кухню и решил поесть. Положил себе каши, сделал ещё бутерброд с колбасой, налил водки. На часах было 20:03. Эх, Лёха, Лёха, мне без тебя так плохо! – пропел Аристарх, выпил и принялся плотно закусывать.

Вот и вся жизнь, твоя, Аристархушка, со всеми её прекрасными мгновениями – за этим столом, за этой кашей, за бутылочкой, да за стаканчиком! Ничего никуда не ушло. Всё с тобой, протяни руку – и бери. Это ли не счастье? Набей утробу свою. Охмури разум спиртными парами. Ублажи утробу ненасытную. И не смей мечтать о большем. Всё остальное – от лукавого. Въехал? Врубился? Уразумел?

Аристарх чавкал, хлебные крошки сыпались ему на колени, дрожащей рукой он наливал себе ещё и видел, что в бутылке скоро ничего не останется.

– Остановись! – кричал ему из потаённых пещер О.О., но голос его был так далёк, так затерян в кромешных лабиринтах Аристархова отчаяния, что почти и не достигал слуха. И, потом, Аристарх

сказал ему "заткнись", а О.О. был крайне ранимой особью, и, конечно же, заткнулся и спрятался, чтоб не докучать.

– Сам же просил, – только и пронюнил он перед тем.

– А не надо мне никакой помощи! – злобствовал Аристарх. – Куда ты меня тянешь? Ну куда ты можешь меня вытянуть? Из трясины да в говно?

Но О.О. больше не отвечал, он вообще старался не вступать в перебранку с пьяными. Неблагодарное это дело.

Аристарх допил пузырь и почувствовал, что каша в желудке всплывает. Этого ещё не хватало! Заел хлебом, чтобы сгустить. Вроде помогло маленько…

Вернулся к телевизору, но теперь уже всё была одна дрянь. Он пошатался по комнате, хотя и шататься-то там вроде негде было. Мысли в голове играли в чехарду.

Эх, блин, хреново пить одному! Пьёшь-то для чего? Для базару душевного, для выворачивания нутра, для слёз горьких и очистительных. А одному-то что? С О.О. не поговоришь, у него одна песня: "извращенец!". Да и разговаривать с собой – можно ведь и до жёлтого дома договориться. Партнёр нужен, стенка, чтобы мысль как шарик отскакивала.

Вскинул к глазам запястье. Уже десятый час. Ох-хо-хо! Лёха уж точно не придёт. Если только не заявится домой поддатый, да не захочет догнаться. Но если он придёт пьяный, Катька ему точно ничего не передаст. Всё, Лёха на сегодня отпадает. Как ни крути – а вечер пропал. И поезд ушёл, и рельсы разобрали. А и пусть! Нам и так весело! Я в весеннем лесу-у, – затянул Аристарх Матвеевич, – пил берёзовый со-ок! С ненаглядной певу-унье-ей в стогу-у ночева-ал!.. Веселье чего-то не получалось… Экран мертвенно светился, и кто-то там даже двигался, но разобрать – кто и что – было невозможно… Он ещё, помнится, курил на кухне, карачился там, зачем-то выволок из морозилки мясо, которое купил месяца два назад, и резал его, каменное, на столе, но потом бросил. От курева в голове случился тайфун, Аристарха штормило, он рубил канаты – совал пальцы в рот и делал "Аааа!", как в детстве на приёме у доктора. Потом он увидел себя в ванной сидящим на полу около унитаза, с одной мыслью в голове: он силился и никак не мог

вспомнить анекдот про негра, который жутко хотел быть белым… и это почему-то было связано с унитазом. Аристарху никак не удавалось ухватить – почему? Плюнув на негра, на унитаз и на анекдот, он переполз в комнату, стащил с себя одёжу и нырнул в ватные сугробы.

Забытьё, близкое к обморочному, сразу схватило его своими цепкими когтями и унесло под облака.

Там, на головокружительной высоте, было очень ветрено и сильно качало. Головка у него не выдержала, и он стал вырываться. Вырвался – и обнаружил себя сидящим на кровати. Попробовал лечь – качает. Снова пошёл на кухню есть колбасу. Однако при одном взгляде на это чудо советской гастрономии чуть не вывернуло. Вытащил сайру, долго боролся с консервной банкой, наконец, победил, съел половину с хлебом и почувствовал себя лучше.

Вернулся в кровать. По ящику пело Эм-Ти-Ви. Черномазый боров в немыслимой хламиде делал пальцы козликом и что-то тараторил под стук барабана. То есть делал вид, что поёт. Ха! Вдруг вылез анекдот про унитаз и негра. Оказывается, там всё просто было. Негр в пустыне. Ползёт, помирает без воды. И тут видит – ящерица. Он её – хвать. А она ему, значит, – три желанья. Ну, вот он и загадал: хочу, говорит, быть белым и чтоб много воды, и много женщин. Вот и сделала она его унитазом в женском туалете. Шик!

Вырубил телик, вырубил свет и лёг уже окончательно. Шторм утихал, убегали последние валы, Аристарх нашёл положение, в котором почти не болтало, и сказал себе: всё, сплю.

И действительно уснул, потому что если человек не спит, то и разбудить его невозможно. Чего его будить, коли он и так не спит! А его кто-то будил. Или показалось? Или это было во сне? Разберись, попробуй…

– Аристархушка, никак ты пьяненький? – спросила Мелитина.

– Угу, – промычал Аристарх, не разлепляя губ. Разлеплять их было не нужно. Да и невозможно было разлепить-то их.

– Праздничек для души устроил, ненаглядный мой?

– Угу.

– Дай-ка, я тебе помогу, родненький, дай-ка я тебя умою.

И засветился таз, и тёплая вода потекла по его онемелым щекам.

– Вот так, вот так, – приговаривала она, промакивая его глазницы вафельным полотенечком. – Сейчас мы Арика вы-ытрем. Чтобы глазоньки блестели, чтобы щёчки розовели, чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. Вот и славненько, вот и аюшки.

Арик надувал губы и не хотел аюшек. Он хотел спать без снов, без баб, без всего этого секеса-кекеса.

– Ну чего ты. Ну зачем это. Ну не надо так, – просил он и чувствовал её руки на своём лице.

Он открывал глаза и видел её язык. Язык был зелёным.

– Я хочу тебя, – шептала она.

– Я не могу, – плакал он.

– Можешь, – ласково говорила она и входила в него.

Кто кого ебёт, думал Аристарх. И тут поверх её плеча он увидел О.О.

О.О. стоял посреди комнаты, его глаза бешено сверкали. В одной руке у него была кочерга (кочерга?), а в другой он сжимал консервный нож, тот самый, которым Аристарх давеча открывал сайру. С ножа всё ещё капало масло.

О.О. приложил палец к губам в беззвучном предупреждении и начал подкрадываться.

У Аристарха перехватило дух. Он хотел закричать, предупредить, но рот его был занят языком Мелитины. Тогда он замычал, но она, похоже, приняла это за выражение каких-то особенных чувств и впилась в него ещё сильнее.

О.О. приближался. Страшные орудия подрагивали в его руках.

Аристарх Матвеевич забился в объятиях женщины как пескарь в сачке. Безуспешно. И тогда он сделал вот что. Он упал на спину, на кровать, и перекатился на Мелитину, закрыв её собой. И как раз вовремя, потому что кочерга О.О. со свистом рассекла воздух и опустилась рядом с ним, вспоров пододеяльник как лягушачье брюхо.

Мелитина вскрикнула и отняла язык.

О.О. не растерялся и бросился на неё с консервным ножом.

Такой ужас Аристарх Матвеевич испытал впервые в жизни. Масляный клинок прошёл в каком-то сантиметре от его уха и вонзился в шею женщины. Вонзился по самую ручку. И тут Мелитина закричала. Закричала уже по-настоящему – так, как только она одна умела кричать. Он лежал на ней и видел отверстый её рот, и страшный язык, и буковую рукоятку консервного ножа у неё под подбородком. А вопль всё креп и креп, и Аристарх решил, что у него сейчас лопнут перепонки и выпадут глаза. Это был какой-то жуткий рёв и хохот одновременно. И тут – о боже! – он неожиданно узнал этот вой. Так кричала та самая женщина, под окном, в ту ночь, когда убили Витеньку! Тогда тоже не было в этом голосе ни страха, ни боли. Это не был плач по утерянном, это был вой ненависти и греха.

Из раны хлынула зелёная жижа. У Аристарха хватило брезгливости откатиться на кровати, он хотел встать, вскочить, но запутался в одеяле и, разметав кучи трухлявой ваты, упал на подушку.

– Ты видишь! Ты видишь! – торжествующе вопил О.О., вздымая кочергу, как Георгий Победоносец своё копьё. – Она – не человек! У неё не кровь, а болото!

Взгляд его блуждал, волосы стояли дыбом, на руках и на шее вздулись синие жилы.

Аристарх заметался и попробовал сползти с кровати. Он был как русалка – ноги ему окончательно спеленал разодранный пододеяльник.

– Изыди, Сатана! – выкрикнул О.О. и стал методично опускать кочергу на голые плечи Мелитины.

Та вскрикнула последний раз и лишилась чувств. В горле у неё булькало.

О.О. опустил смертоносное оружие.

Аристарх Матвеевич, окуклившийся, валялся у него в ногах.

Наступила жуткая тишина.

О.О. опустил кочергу, руки его тряслись.

– Вот так! – сказал он. – Чтоб ты больше не наезжал на меня.

– Что ты наделал, – почему-то заплакал Аристарх Матвеевич. – Что ты наделал…

– Это ты наделал. В штаны. Алкоголик.

Аристарх плакал и не мог остановиться. О.О. присел и помог ему вызволить ноги. Поднялись. Взгляд так и тянуло к бездыханному телу на кровати.

– Что ты наделал, – повторил Аристарх. – Что теперь будет?

– Да ничего не будет! – устало проговорил О.О. – Скажи спасибо, что избавил тебя от этой шлюхи…

– …извращенец, – закончил за него Аристарх.

– Да, извращенец! А кто же ты ещё? Ангел во плоти, что ли?

– Уйдём отсюда, – попросил Аристарх.

– Сдаётся мне, она не умерла…

– Что ты предлагаешь?! – у него, похоже, начиналась истерика. – Разрезать её на части и скормить собакам? Или, может, засунем её в холодильник? А? Что ты ещё хочешь с ней сделать?!

– Не ори. – Он медлил. – Хорошо, пойдём.

Они ушли из чёртовой комнаты, ушли на кухню. Аристарх сразу полез в холодильник за бутылкой.

– Ещё чего! – запротестовал О.О.

– Отвали! Хочу и буду!

Аристарх Матвеевич взял стакан. Сел.

Выпил без закуски и даже не почувствовал вкуса.

Сел и О.О. Поставил второй стакан. Вздохнул.

– Плесни и мне.

Аристарх удивлённо вскинул глаза.

– Ладно, чего уж там… – смутился О.О. – Давай, лей.

Выпили и посидели молча. Аристарх налил ещё.

– Тебе не хватит ли?

– В самый раз.

Опрокинул. Руки едва заметно дрожали. За окном – антрацитовая гора. Ни огонька.

О.О. встал.

– Пойду, взгляну.

Ушёл и тут же вернулся.

– Она исчезла! Я же говорил тебе, что она ещё жива. Надо было…

– Заткнись! – закричал Аристарх. – Заткнись! Заткнись! Не говори ничего!

– Иди-ка ты спать.

– Туда я больше не вернусь. Не могу.

– Как знаешь… Но её там нет, и сегодня она вряд ли вернётся.

Аристарх Матвеевич заткнул уши.

О.О. постоял ещё немного рядом, убрал со стола стаканы, ополоснул их и поставил на полку.

Аристарх положил голову на стол и закрыл глаза. Подумал:

– Если это сон, то завтра я проснусь. А если не сон…

Додумать он не успел, потому что отрубился.

ГЛАВА 6
ПЛОДЫ
(окончание)

Если бы не взбунтовавшийся мочевой пузырь, Аристарх Матвеевич ни за что бы не встал.

Чудом добрался до туалета, отлил и приполз обратно в кровать. Бок, на котором он проспал всю ночь, жутко затёк. Решил сменить позу. Не тут-то было. В черепушку как будто воткнули гироскоп – как ни ложись, маховик требовал привычного положения. Во рту – конюшня, веки не разлепить. Чё вчера было-то? Но сил вспоминать не нашлось. Он весь был как хрустальный бокал – звонкий и ломкий. Сердчишко работало через раз. Два удара – пауза, два удара – две паузы. Полежал минут десять, притаившись сам в себе, без мыслей и чувств, и снова провалился в забытьё.

Очнулся ещё раз вне времени и пространства. Губы, язык, дёсны – всё срослось в один гнилостный ком, который разнять уже можно было только при помощи хирургического вмешательства. В носу – коросты. Дышалось с посвистом. Ну что, соловей-разбойник, жить будем али помирать будем? Пойти бы водицы испить, да сил нетути. И ружья есть, да бойцы побиты. И день вроде бы – а звёздочки в глазах мерцают. Доковылял до умывальни, смочил холодненькой то, что осталось от лица. Набрал воды и в рот, да прополоскать путём не смог – щёки как в судороге. Попробовал иначе: мотнул головой – и ахнул. Нет уж, лучше убогим – но живым. Сделал три глотка. Хорошо. Пока возвращался в кровать – всё слиплось заново. Эх, жизнь-жестянка! Гироскоп ещё этот в башке…

Лёг опять на тот же бок и стал думать о воде.

Вот речка с водою цвета крепкого чая. Берега в траве, а у самой воды – песчаные пляжики. Тут и там, тут и там. И ребятня голосистая ныряет, плещется. А вот и сам он – худой, нескладный, коленки узлами.

– Эй, Арзамас! Слабó донырнуть до второго камня!

– Это тебе слабó!

– Спорим?

– Спорим!

Вода в носу, вода в ушах, глаза открыты, мордочка – как у лягушонка, – вот первый камень, он поменьше, любой малявка донырнёт, не то что до второго… Всё глубже дно, вода всё гуще, ну где ты, камень-исполин, рядом с тобою – с ручками, а как взберёшься – так всего по пояс. И пузыри уже из носа, и в груди всё рвётся, просит воздуха, и сил уже нет, – но вот и камень показался, огромный и желанный, победа в споре, мальчишеская гордость. Дёрни ногой, дёрни, махни ручонкой ещё разок – и цель близка, и лучше утонуть, чем проиграть. Ну наконец! Вот камень. Вот победа.

– Видал, салага! – Из ушей вода.

– Видал!

Ах где та речка, речечка, река? Сейчас бы лечь в неё лицом, распахнуть руки – и уплыть. За первый камень, за второй, за все, какие есть, уплыть и остаться там. И никогда уже не вернуться назад. Возвращаться в ничто? Для чего?.. И ведь никто ещё не вернулся. Никто, слышите, никто ни разу не сумел вернуться в своё детство! Как, впрочем, и в юность, и в старость… Жизнь – дорога с односторонним движением. Река, в которую входишь только один раз.

Встал, налил воды в банку, вернулся, лёг. Прополоскал рот и уткнулся в подушку.

И в землю лбом ложись и тлей… Кто это? Кажется, Хармс. Хороший был писатель. Весёлый. Стал вспоминать и ничего не вспомнил. Приблудилась всего одна строчка:

А кошка отчасти идёт по дороге,
Отчасти – по воздуху плавно летит…

Вот и я, как эта кошка, – отчасти на этом свете, отчасти – на том. Ещё это называется: переходный возраст.

Стёр все мысли с доски и попробовал уснуть.

Уснул и оказался на какой-то солнечной веранде, где в кресле-качалке, поигрывая тростью, сидел цветущий О.О. На нём был белый костюм, на шее – бабочка, босые ноги – в сандалиях.

– Позволено ли нам будет осведомиться о ваших ближайших планах? – проронил этот самодовольный нахал.

– Что это за маскарад? – поинтересовался Аристарх.

– А я в бегах, – почему-то с лёгким одесским акцентом сообщил О.О. – Меня разыскивают за убийство. Я, так сказать, сменил личину.

– И кого же ты убил?

– Э-э… если ты не хочешь, мы можем об этом не говорить.

– Почему?

– Я просто подумал… может, тебе это неприятно? Всё-таки женщина.

– Женщина? О ком это ты?

О.О. вздохнул.

– Н-да. Как ты выжил, будем знать только мы с тобой… Ты что же, ничего не помнишь?

– А что я должен помнить?

– Понятно. То есть снова – белый лист, и пиши что хочешь? Счастливчик!

– Послушай, чего ты явился? Сейчас меня вроде бы не от кого спасать.

– А я тебя никогда ни от кого и не спасал. У тебя один враг – ты сам.

– Ну, понёс!

– Могу и помолчать. Я посижу тут, не возражаешь?

– Сиди. Не лезь только.

Раз, два, три, четыре, пять…

– Нет, ты не даёшь мне уснуть!

– Ты и без того уже спишь.

– Я хочу спать так, чтобы никого не видеть. Особенно – тебя.

– Такой сон, знаешь, как называется?

– Как?

– Заметь: не я к тебе пристаю, разговор начал ты!

– Прекрати придуряться!

– Я просто подумал, тебе скучно и грустно, и некому руку подать…

– Мне и скучно, и грустно, но руки мне твоей не надо.

– Слушай, ты такой неблагодарный! Вот поэтому у тебя друзей-то и нет.

– А не пошёл бы ты!..

– Нет. Никуда я не пойду. Работа у меня такая. Ответственная. Тебя, дурака безмозглого и беспамятного, из недоли выручать. Подгузнички тебе менять, попку да слюнки вытирать. А когда – и шлёпнуть. Всё во благо.

– Я сейчас в тебя чем-нибудь кину!

– Попробуй, на тебе же синяк и останется.

Попикировавшись таким образом ещё некоторое время, они умолкли. Минуты ткали холст столетий, кипела чёрная вода…

– Да, кстати, о воде, – сказал Аристарх. – Я пить хочу.

– Возьми и пей.

– Подай, пожалуйста.

– Похоже, мои слова о няньке ты воспринял слишком буквально. Я не собираюсь быть при тебе ещё и официантом.

– Уж лучше мне самому проснуться и попить!

– Уж лучше не пить, чем просыпаться!

Аристарх Матвеевич не стал его слушать, проснулся. Банка стояла у изголовья. Дрожащей рукой поднёс её к губам… и чуть не выронил. К нему вдруг вернулась память!

– Я ж тебе говорил… – прошелестел и растаял голос О.О.

– Эй! Эй! Постой! – закричал Аристарх, но было поздно. Его хранитель и защитник ушёл, поигрывая тросточкой. Элегантный как рояль.

Теперь ко всем его болячкам добавились ещё и воспоминания! Весь ужас прошедшей ночи вновь стучался в его дверь, сочился в щели, сыпался с потолка. И не было спасения от этого кошмара. Аристарх зарылся в подушку с головой, но ужас был внутри. Он встал и, шарахаясь от порхающих кругом чудовищ, двинулся на кухню. Он помнил – там, на столе, должно было остаться лекарство. Полбутылки водки. Но одного взгляда на это зелье хватило, чтобы его перетряхнуло от пяток до макушки.

– Нет, не могу, – простонал он и попытался проглотить слюну. Слюны не было.

Бутылка стояла на столе. Чистая и прозрачная. И жидкость в ней была – кристалл. Поставил перед собой стакан и занялся медитацией. Представил и снег, и ветер, и звёзд ночной полёт…

– Не пьянства ради, а лечения для! – наконец определился он и схватил бутылку.

В руке работал трансформатор. Она гудела и вибрировала. И ток в ней тоже был – покалывало пальцы. Хотел налить четверть, а вышло полстакана. Зажмурился и выпил. Ну чистая вода…

Но всё ж таки это была водка. Минут через пять он это почувствовал. Душа, как Феникс, восстала из пепла, срослась по кускам, – словно киноленту с записью землетрясения прокрутили задом наперёд, – выросли из праха дома, вознеслись телебашни, повылазили кругом столбы и меж ними сами собой натянулись провода. Срослись в его нутре порушенные водопроводы, языки пожаров исчезли в пасти их породившей. И даже канализация заработала.

Сидя на очке, Аристарх Матвеевич пробежал в голове конспект минувшей ночи и пришёл к малоприятному выводу.

– От тяжких дум да от вина ты съехал крышей, старина!

Вернулся в кухню. Съел пару ложек каши прямо из кастрюли. Вкусно. Положил в тарелку и подкрепился как следует. Выловил из банки сайру. Под неё ещё опрокинул водочки. В бутылке осталось – с ноготь. Подумал чуть – и оприходовал. В животе всё стало круглым и тёплым. Ну вот и славненько.

Закурил. Пока ел и опохмелялся, присутствовало чувство, что кто-то за ним наблюдает. Но он отнёс это к перекосу в голове, к расстроенным чувствам. Сейчас понял, что был не прав.

Красавец-"доктор" в шафранном сюртучке смотрел на него парой глаз. У Аристарха в этот момент были полные лёгкие дыма, он поперхнулся и жутко закашлялся. Тьфу ты, срань господня! Это что же, галютики начались? Уже? А-кха-кха! Он утирал слёзы и рассматривал это чудо природы.

А если туп, как дерево, –
Родишься баобабом

И будешь баобабом
Тыщу лет, пока помрёшь…

Что это тут понаросло, а? Что за гадость такая? Глаза – два кругляша на собственных стволах – были до того натуральны, что Аристарх не на шутку испугался. А красовались они на месте недавно сорванного цветка. Без век и без ресниц, но с роговицей и всеми остальными делами. И они глядели! Ущипните меня! – хотелось крикнуть Аристарху. – Этого не может быть! Он протянул руку, желая убедиться в их реальности, но представил вдруг, что кто-то так же обошёлся бы с его глазами, – и остановился. Им будет больно, подумал он. Брось! Не сходи с ума! Это же цветок! Растение! Трава! Он словно попал в фильм ужасов. Там тоже частенько летали и плавали, сея жуть, схожие глазенапы отдельно от голов и ото всего прочего. Говорила тебе Роза? Говорила? Чего она мне говорила! Предупреждала она тебя или нет? И до тебя доберутся!.. Вот и добрались! Да что ты мелешь! Кто добрался! Я ножницы вот сейчас возьму… Возьми-возьми, один такой уже пробовал, только предпочёл почему-то консервный нож…

Аристарх Матвеевич выскочил из кухни. Водка подталкивала его, придавала смелости. В комнате перевернул шкатулку, выдвинул ящик стола, обшарил шкаф, заглянул сверху – нет нигде ножниц. А я ножом!

Побежал обратно. На кой ляд мне эти сюрпризы природы, шептал он, разваливая плечами сгущающийся вокруг воздух.

Схватил нож, подступил. Растопырил пальцы. Вот я сейчас…

– Ну! Ну! Давай! Давай!

– Нет, не могу! Это же мой "доктор"!

– Ага, а это – ты. Всё правильно. Эта херовина потому здесь и уродилась, что в тебе уверена.

– Не заводи! Всё равно, не могу!

– Я разве спорю?

– Отвяжись!

– Уже.

В висках стучало. Да что я, изувер какой, что ли, – по живому-то резать? И, вообще, чего это я так распсиховался? Эка делов-то!

Ну высунулись два бутона, и что? Нервишки разгулялись, ночь была бурная…

Снова взглянул в проросшие очи. Они взирали на него спокойно и даже как будто с нежностью.

Бросил нож. Пустое…

Помыл тарелку, выкинул в ведро консервную банку. Уходя, остановился на пороге и вдруг подмигнул – не ответят ли? Нет, не ответили. Ишь, гляделочки…

В прихожей нашёл бумажку. Хотел скомкать, оказалось – повестка. О! А сколько времени-то? Уже два? Опоздал малёха… Коли этому Иртеньеву очень надо будет – сам придёт, или ещё одну повестку пришлёт. Болею я – придумал он – болею и всё!

Пришла пора собирать урожай ваты. Её бурыми клоками был густо усеян пол в комнате. Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой… Славное было сраженьице, мерзее и придумать нельзя! Вспоротый живот одеяла белел остатними кишками. Кровать взрыта как поле Куликово. Больно смотреть на вандализм этот.

Однако маховик в черепушке всё ещё вращался, и на первом же комке ваты Аристарх Матвеевич дал крен. Решил отказаться от уборки и полежать.

Попил водички из баночки и прикорнул.

– Аристархушка! – Мелитина тянула к нему свои жаркие руки.

Опа! Он открыл глаза. Да что же это такое, в конце концов! Могу я просто поспать без этих ваших извращений или нет! В груди шевельнулась злость. Эй, Общественник, где ты там, почему службу не тащишь? А ну выходи с дозором!

– Отстань, я отдыхаю. И, потом, – это твои извращения, а не наши.

– Вы что же там, уже спелись, что ли?

– Я же сказал: я отдыхаю.

– Нет, это я отдыхаю, а ты должен стоять на страже. Объясни ей, что я с похмелья и не расположен к чувственным беседам.

– Вот-вот, привык чужими руками жар загребать. Белоручка! Объясняйся с ней сам.

– Я тебя уволю, бездельник!

– Что, есть желание посмотреть вторую серию? Не надейся – такого удовольствия я тебе больше не доставлю. Выкручивайся сам, как знаешь. Всё. Меня нет.

О.О. так больше и не отозвался. Аристарх Матвеевич полежал немного с открытыми глазами, потаращился в потолок. Белить пора, отметил он. Продолговато вздохнул и закрыл глаза. Будь что будет…

– Твой дружок мне надоел, – сказала Мелитина. – Он портит нам всю эстетику.

Хм, уже – "нам", подумал Аристарх, но возражать не стал. В присутствии этой женщины он чувствовал себя эмбрионом, зародышем, и даже не человеческим, а скорее – рыбьим (икринкой, вот!), безгласным и погружённым на дно. Если у него и было к ней какое-то чувство, то это было желание спариться, уйти в неё, окуклиться и ни о чём не думать. Существовать в блаженстве. Мешал этому её буйный темперамент, она слишком хотела его, она слишком была женщиной, – и это ему мешало. Он замыкался и не мог получить истинного наслаждения.

Вот и теперь она обнимала его, а он лежал как мумия.

– Бедненький, этот хам напугал тебя. Сейчас я успокою моего мальчика, сейчас, – она тёрлась ляжкой о его член, а её ноготки прогуливались по его ягодицам.

Он отвернулся. Она заметила это.

– Я тебя, наверное, напугала сегодня ночью? Я знаю, я ужасно выглядела. Но твой дружок сам виноват. Он просто дико невоспитан. Так обращаться с женщинами… в этом есть что-то ненормальное, садистское, ты не находишь?

Он молчал.

– Ты устал, я вижу. Тебе нужно отдохнуть. Пожалуйста, я не буду тебе мешать.

– Постой. Я хочу спросить…

– Да, конечно, – охотно согласилась она.

– Кто убил Витеньку?

Она мгновение помедлила, а потом сказала:

– Смотря что ты подразумеваешь под словом "убил"… Я могу ответить так. Его убил его отец, который стал алкоголиком задол-

го до его рождения, его убила его мать, лишённая прав материнства, когда Витеньке было восемь лет, его убили все вы, проходящие мимо него каждый день…

– Нет-нет, я не это хотел спросить. Кто в него стрелял?

Она усмехнулась.

– Стрелял в него его собутыльник. Но убийца не он.

Аристарх слушал и не понимал.

Мелитина наклонилась к его лицу. Близко-близко.

– Ты уверен, что хочешь это знать?

Аристарх вдруг почувствовал, что он должен сказать "нет", но его будто кто-то подталкивал.

– Да, – сказал он.

Она опустила голову рядом на подушку и взяла его руку в свою.

– Слушай.

Они лежали на продавленной кровати, глаза – в потолок, погружённые, словно на дно колодца, в вязкую нереальность полусна-полуяви, а над ними сияли звёзды, и промелькивали кометы, вакуум творил новые чудеса, а они только лежали, в вате, и посреди ваты – зажатые пластами времени, забытые на самом его дне.

– Была я тогда детдомовской девчонкой, – начала Мелитина. – Ты, наверное, не поверишь, но это так. Четырнадцать лет мне было. Витенькина мать умерла уже к тому времени. Когда её прав на сыночка лишили, она стала как оглашенная, а через год и умерла. От водки чёрная стала вся. Виктор жил с отцом. Тут же, во второй квартире. Но ты не помнишь, тебя ещё здесь не было. Когда я с ним познакомилась, ему уже исполнилось шестнадцать. Мы стали встречаться, он меня очень любил. Я даже ночью потихоньку убегала из детдома и ночевала здесь. Предок его частенько где-то пропадал. А мы уже были совсем как муж и жена. Виктор тогда почти не пил. И вот папаня его, подлая душонка, стал на меня поглядывать, а однажды – тогда мы уже не таились и жили вместе – попытался овладеть мной. В тот вечер он пришёл жутко пьяный, и потребовал, чтобы я убиралась. Стал орать, что им, мол, и так тесно, а тут ещё я, детдомовский выкормыш, на их голову… В общем, завёлся ни с того ни с сего. Витенька попытался его успоко-

ить – кстати, отца он уважал и всегда с ним считался, – а тот ему врезал. Спьяну, видать, не рассчитал и ударил так сильно, что Витенька потерял сознание. А папаня схватил меня и стал раздевать. Я не кричала – боялась, что услышат соседи, – а он залез на меня и стал насиловать. Витенька очнулся и бросился на него, и они стали драться… – Она вздохнула. – Несчастные люди. Вот так всю жизнь прокопошатся в своих норках, изведут себя, выболят душой, и – уходят. Уходят, так и не поняв, зачем приходили на этот свет… Аристархушка, милый, у нас с тобой всё будет по-другому.

– А потом? – спросил Аристарх.

– Потом? Потом они убили меня. Не специально, конечно. Я попробовала их разнять, отец толкнул меня, а я головой – прямо о батарею. Вот этим местом, посмотри, до сих пор ещё видно…

Аристарх Матвеевич посмотрел, но ничего там не увидел.

– Секунды не прошло, а я уже была мёртвая. Батя – так тот уже вообще ничего не соображал, так и уснул на полу. А Витенька всю ночь рядом со мной проплакал. Утром отец увидел меня – со страху чуть снова не отрубился. Нашёл какого-то мужика, и ночью они меня отвезли на свалку. Он там был свой человек, частенько подхалтуривал. Меня завернули в скатерть и отвезли на грузовике. Облили вонючим бензином и сожгли… С тех пор я стала им являться.

Аристарху сделалось холодно. Развороченное алкоголем нутро его никак не могло подобрать в себе подходящего состояния, чтобы отразить то чувство, с каким он должен был отнестись к услышанному. Он пытался найти и не находил сил пожалеть эту женщину, и ужас-то в нём был каким-то маленьким, вялым – да и не ужас это был, скорее простая констатация ещё одного факта, ещё один грошик в бездонную копилку жизни. Ему хотелось обнять Мелитину (чего уж там, всегда хотелось!), но он всё ещё боялся сорваться в никуда, отлепиться от своего тела, забыть о мирских обычаях, откинуть все мерки.

– Не бойся меня, – сказала женщина, – я пришла помочь тебе.

Что-то не сраталось в его голове. Что-то было не так.

– И ты убила его? – спросил он, не открывая рта.

Её рука дрогнула и высвободилась. Она приподнялась на локте и заглянула ему в глаза.

– Я никогда и никого не убивала. Понимаешь? Я не могу убить. Виктор купил пистолет на деньги из тех, что получил от Эдички Ковача. За квартиру. Он не хотел жить и много раз говорил мне об этом. Но он никак не мог решиться. Потому и квартиру продал, чтоб выхода не оставалось. Вот только он страшно боялся смерти… В пятницу они пили – он, Толян и Верка. Толян – это дружок его, он недавно освободился и был жадный до водки и баб. Виктор попросил Толяна, чтобы тот пристрелил его. Сначала – смехом, но чем больше они набирались – тем настойчивее. И всё совал Толяну пистолет. А тут ещё Верка подлила масла в огонь. Сказала: да грохни ты его, Толечка, мы с тобой хоть потрахаемся спокойно. Витенька-то уже давно не мог, вот она и бесилась. Толян крикнул: а что, я могу! Но это так, для куража больше, убивать он вовсе не собирался. А пистолет-то был у него… И тут Витенька стал раздеваться. Толян удивился и говорит: ты чего? А тот в ответ: не хочу, говорит, эти тряпки брать с собой, и стянул с себя абсолютно всё. Верка начала орать на него, а Витенька подошёл к Толяну, взял его руку, ну, ту, в которой пистолет был, приставил к своему животу и нажал два раза, – она вздохнула. – Вот так. Сначала они думали, что он умер, но он поднялся и смог ещё выйти из квартиры. Не хочу, говорит, здесь умирать, это уже всё не моё. Он упал там, ты видел, под окнами. Толян посуетился чуть, но вовремя сообразил и смотался. А Верка забрала деньги – Витенька их в кладовке в сумке держал – и на поезд. Не нашли её пока… Завтра его похоронят, и он больше не сможет являться…

Она умолкла и посмотрела на Аристарха Матвеевича.

– Ты должен был это узнать, потому что теперь я принадлежу тебе.

– Но ведь это только сон? – прошептал Аристарх. – На самом-то деле ничего этого нет?

Мелитина улыбнулась и чмокнула его в кончик носа.

– Да, это очень похоже на сон. Но давай больше не будем об этом. Отдохни – и всё будет хорошо. Всё уйдёт. Уже недолго осталось…

Последние её слова прозвучали размыто и гулко – она начала таять.

– Что уйдёт? – заторопился Аристарх. – Постой. До чего недолго осталось?

Он вытянул руку, но его пальцы вошли в её грудь, как в туман. Она делалась всё эфемернее, через неё уже были видны сальные проплешины на обоях.

– Тебе нужно отдохнуть, Аристархушка, – услышал он её голос, исходящий сразу отовсюду. – Отдохну-уть…

И всё исчезло.

Он ещё немного побыл один, полежал на каменном ложе в каком-то жутком замке, где кругом сновали привидения, потом угодил на свалку, где в огромном костре горел его любимый трёхстворчатый шкаф, затем вляпался в какую-то гадость и прилип, и кричал, и скользил куда-то вниз и вниз, и очнулся, наконец, на алтаре греха и немощи – на своей расхристанной кровати.

Вечерело.

ГЛАВА 7
РАСТЕНИЕ

Что? Я проспал весь день? Нет! Этого не может быть!

Он собрал в кулак всю свою волю и встал. В голове шумело. Господи! Столько проспать! Такого со мной ещё не бывало. Это всё она! Мелитина…

Он задел ногой банку на полу, и она покатилась. Остатки воды выплеснулись на пол. А, чёрт!

Осмотрелся. Кавардак был такой, что всё вопияло о капитальной уборке.

А может, мне тоже продать свою квартиру, да и… Мысль была настолько неожиданной, что он вздрогнул. Ужасно! Ужасно! Однако не так уж и глупо…

Он представил себя голым на холодной земле под окном. Среди окурков и жестяных банок из-под колы, со стеклянными глазами и улыбкой идиота на синих губах. Ужасно! И маленькая заметка в вечёрке: "Этой весной вошло в моду кончать счёты с жизнью в костюме Адама. Последний из безвременно ушедших завещал гордость своего гардероба – свои любимые кальсоны – управляющему Искра-банком…" Ну и что ты теперь собираешься делать, Аристархушка? Ты в полном курсе всех дел, отчего же темно чело твоё? Отчего не весел взгляд и не звучат в твоей душе фанфары? А? Похмелье твоё почти что миновало, тебя любит прелестная дьяволица, а на твоей кухне произрастает неведомый науке цветок, который вполне может удостоиться какой-нибудь биологической премии! К тому же ты скоро унаследуешь состояние и станешь местным Рокфеллером. Не волнуйся, Витечкина Верка далеко не уйдёт. Её сцапают в первом же парфюмерном магазине при попытке взять коробку тройнухи или ящик лосьона для бритья. Ты теперь уже не просто какой-нибудь там Арик, Аристархушка, Аристарх Матвеевич – ты теперь хозяин жизни, властелин двух миров. Ты свободный человек и кузнец своего счастья! Фортуна благоволит к тебе, так что же ты рыло-то воротишь…

Так размышлял Аристарх свет Матвеевич, стоя (словно в центре мироздания) посередине своей однокомнатной хрущёвской малометражки и почёсывая свою волосатую грудь.

Н-да, как видно, не благоденствие земное, не суета вокруг Золотого Тельца, не мельтешение это муравьиное прельщают сердце твоё. Летишь, знать, мыслью ты в иные миры, в иные дали, открыта, знать, тебе великая тайна предназначения твоего. И чист ты пред Господом, аки агнец, и готов предстать пред очи Его, к престолу Его.

– А не пошёл бы ты на хуй, Аристарх Матвеевич! – сказал он сам себе и возвеселился душою.

Пустая бутылка в кухне на столе торчала как надгробие его прошлой целомудренной жизни. Хлебные крошки были рассеяны по всей кухне прямо-таки с художественным изяществом. "Доктор" в кадке цвета измены спал сном праведника. Лягушачьи зенки его были прищурены и как бы подёрнулись лёгкой поволокой. Что тебе снится, крейсер "Аврора"… – пропел ему Аристарх и занялся уборкой.

Когда всё было убрано, сметено и уничтожено, он умял остатнюю колбасу (голод не тётка!) и занялся приготовлением ужина. Извлёк из морозилки мясо и вспомнил, что один раз уже предпринимал эту попытку. Когда это было? А, сто лет назад! Взял нож и, по-волчьи рыча и кусая губы, принялся возделывать эту, ставшую уже вечной, мерзлоту. Когда-нибудь я заточу сей клинок и сделаю себе харакири, решил он. Поставил сковороду, бросил шмат маргарина и положил мясо. Нужно посолить. Посолил. И поперчить. Поперчил. И вспомнил анекдот о привередливости жён. Анекдот был такой.

Будит жена мужа в три часа ночи и говорит: хочу говна. Да что ты, ангел мой, отвечает этот идиот, где я тебе в три часа ночи говна достану. А она своё: хочу говна. Ну, встал он, горемыка, посрал, положил на тарелку и принёс ей. На, говорит, душенька, кушай. А она понюхала и спрашивает: а ты его посолил? Нет, говорит. Так что же ты – сходи, посоли. Сходил, посолил, принёс. Изволь, родная. А ты его поперчил? Нет. Ну так сходи. Поперчил,

принёс, на! Жена: это говно? Да, мать твою! Говно! Не видишь? И с солью и с перцем! На, жри!.. Не хочу говна…

А не грозит ли и мне то же самое? Не в разносчики ли говна я записался? Эта мысль повергла Аристарха в жесточайшую тоску, однако аппетит не отбила. Он с удовольствием ворочал на сковороде три смачные ломтя мяса, которые шипели как три головы Горыныча, и предвкушал сытый покой в объятиях Морфея.

– Ты что, снова спать собираешься? – спросил он сам себя.

– А почему бы и нет? – ответил себе он сам. – К тому же, это наверняка будет не сон – а безостановочное трахало, труд тяжкий и утомительный.

– Ну, в таком разе, желаю, чтоб у тебя всё торчало бобриком, Казанова ты наш.

Поблагодарив себя за такую заботу и внимание, он сделал огонь поменьше, оставил мясо дозревать, а сам отправился в комнату смотреть вечерние шоу.

По двум программам рекламировали "Сникерс", "Блендамед" и "Тампакс", причём в такой последовательности, что создавалось впечатление, будто человек рождается лишь затем, чтобы съесть первый, почистить зубы вторым и потом долго мучиться от кровяных выделений.

По местному каналу шли российские новости. Они сплошь состояли из роста курса, расширения спада и обнищания корзины.

Вата на полу притягивала взгляд. Милое моё одеяло! Сколько суровых зим я провёл под тобой! С какой любовью ты всегда согревало мои усталые члены! А теперь… теперь ты пало жертвой сластолюбия твоего хозяина. Прости меня. Ты было моим верным спутником на дороге жизни – и неважно, что эта дорога никуда не ведёт. Твоя ли эта вина? Ты с честью исполнило свой долг и почило, не пощадив живота своего за беспутного хозяина. Память о тебе навсегда сохранится в наших сердцах… Покойся, моё славное и навек любимое, а мы уходим дальше, хотя и в новом составе. Да, вот так, теперь нас двое, хотя не всякому это и видно. И новый предмет моих мыслей, воздушная Мелитина Васильевна, уже недвусмысленно намекнула, что тебе, мой друг, будет изыскана достойная замена. Да что я! Мелитина Васильевна совершенно опре-

делённо сказала, что купит новое. С первой получки. Так что не пройдёт и года, как я стану счастливым обладателем нового укрывного материала…

Нехотя и с ленцой собирал Аристарх Матвеевич с пола видимый глазу сор. Полные пригоршни набил, сложил горкой. Из кухни заструились первобытные запахи. Природа взяла своё: он бросил всё и вернулся к мясу.

Мясо было готово. Или почти готово. По крайней мере, настолько, чтобы он смог его разжевать. Положил на тарелку и, истекая слюной, опустился на табурет. Преломил хлеб, потрогал вилкой румяную корочку…

Звонок в дверь прозвучал так, словно ему в позвоночник воткнули спицу.

Аристарх Матвеевич застонал. Немыслимо! Для чего ещё он понадобился этому докучливому и бестолковому миру! Зачем так бесцеремонно вторгается он в его тихое счастье! Как смеет он, в конце концов, беспокоить его в такую священную минуту – минуту трапезы! Казалось, даже кусок поросятины на тарелке и тот пыхал жаром негодования.

– Убирайтесь к чёртовой матери! – прокричал Аристарх Матвеевич и вонзил вилку в сочную мякоть эскалопа. Да, надо бы действительно так прокричать…

Наглец под дверью не унимался. С тупым усердием он нажимал и нажимал кнопку звонка.

Проваливай, я не собираюсь тебе открывать! Мне никто не нужен!

Дз-з-и-инь! О господи! Уйдёшь ты, наконец! Дз-з-и-инь! Ещё раз и ещё.

Какой настырный визитёр! А вдруг это Лёха, гад такой? Но поздно, братец, опоздал, всё выпито и сожрато…

Со вздохом встал. Ну, если это Лёха, я ему…

Отпер.

За дверью стоял Ковач. И был он бледен. И пот струился по челу. Да нет, фантазии… Он был как всегда, учтив, подтянут, чуть с поклоном. Лишь лёгкая растерянность в глазах.

– А я звоню, звоню… Я глянул – свет горит. Думал, может, задремал Аристарх Матвеевич… Вы разрешите?..

Шаг в квартиру. Ну что ж, входи, когда пришёл. Это уже становится доброй традицией. В прошлый раз имел я от разговора с тобой яичницу по-гренландски, а нынче что?.. Порося а-ля Амундсен? Сказал:

– Я ем. Вы, может, в комнате подождёте?

Подумал: а чёрт! Ведь там кровать…

– Конечно-конечно, – закивал Ковач. – Нет проблем.

На кухне Аристарх Матвеевич постоял, с тоскою глядя на ожидающий его деликатес. Настроение, как стрелка, – до нуля… Неужто я тут буду есть, когда он там сидит? Кусок же в горло не полезет! Вернулся в комнату. Присел. Взглянул с вопросом.

Гость откашлялся.

– Прошу прощения, Аристарх Матвеевич, может быть, вы что-нибудь на себя накинете, а то, знаете, как-то рассеивает внимание…

– Что? – спросил Аристарх и с удивлением обнаружил, что сидит в одних трусах. – О! – сказал он и покраснел. – Простите, я сейчас.

Да что это со мной?

Натянул брюки и всё не мог найти рукав рубахи.

– Я поздно встал сегодня… – промямлил он и понял, что говорит ерунду. За окном был вечер.

– Я знаю, – кивнул Ковач. – Я видел Мелитину Васильевну.

Аристарх обмер. Так это был не сон!

– Вы не пугайтесь. Всё в порядке. Дело в том… да вы сядьте… дело в том, что Мелитина Васильевна попросила меня поговорить с вами. Сегодня милиция задержала Верку, сожительницу Виктора Рытика, Витеньки, но денег при ней не оказалось.

Он знает всё! Он в курсе! Боже мой! Он что, такой же монстр, как она? Мысли гейзером забили в его голове.

– Я вижу, вы растеряны. Тогда давайте поступим так. Я вам всё расскажу, а потом мы с вами вместе решим, что нам делать. О'кей?

Аристарх молчал. Ковач, видимо, ждал приглашения. Не дождался, взял стул и сел.

– Поверьте, Мелитина Васильевна прекрасный человек. То есть… ну, вы меня понимаете. Она хотела помочь этому парню. У них когда-то давным-давно случился роман – да вы должны знать… И всё было бы хорошо, если бы он не покончил с собой. В последнее время он сильно деградировал и был уже ни на что не способен. В общем, он настойчиво искал смерти. И она ничего не могла с этим поделать. Вы слушаете меня?

– Да, – сказал Аристарх.

– Замечательно. Я понимаю, вам трудно поверить в это. Я и сам ещё не вполне… – Он сделал неопределённый жест. – Но сейчас вот что важно. Эта Верка наверняка выложит следователю всё, что знает, и ещё больше напридумывает. Она не очень-то и в курсе, но Витенька по причине своего, скажем так, неустойчивого характера кое-что ей всё же рассказывал. Думаю, верить она не верила, но на всякий случай мы с вами должны выработать какую-то единую версию…

– Эй-эй, погодите! – закричал Аристарх. – Но причём здесь я? Какая-то Верка, какой-то Витенька, какая-то Мелитина – кто это? Я их не знаю! Что вы хотите от меня? И, вообще, кто вы такой?..

Когда Аристарху Матвеевичу случалось волноваться, он сразу же начинал себя ненавидеть. Ему всегда хотелось быть человеком спокойным, обстоятельным и взвешенным. Этаким монументом. Жаль только, удавалось это редко. И всякий раз он психовал. Но тут… он слушал себя и ему нравилось, что и как он говорит. Давай! Давай! – подбадривал себя Аристарх. – Наподдай-ка им! Что это ещё за наглость такая! Врываются, понимаешь ли, в чужой дом, наводят свои порядки, заставляют надевать штаны, да ещё и указывают, что делать, а чего не делать! Просто неслыханная наглость!

– …какое вы имеете право!

Ковач мирно сидел и спокойно слушал. Когда же Аристархов фонтан иссяк, он сказал:

– Я полностью с вами согласен. Но разрешите задать вам один вопрос. Когда позавчера вы проникли в квартиру Виктора Рытика,

вы там искали что-то конкретное, или это был просто безобидный вечерний моцион? Что вы там делали, Аристарх Матвеевич?

– Я? – Аристарх Матвеевич был опрокинут. – Я? Я никогда там не был! С чего вы взяли? Да и квартира-то опечатана.

– Может быть, вы искали деньги? – продолжал Ковач, не обращая внимания на его слова.

– Какие деньги?

– Тридцать миллионов.

– Эти деньги в сейфе, у вас в банке!

– А вот следователь Иртеньев на этот счёт другого мнения. Как вы думаете, почему? Да потому, что он уже заглянул в этот сейф и ничего там не нашёл! Он разве ещё не говорил вам об этом?

Взгляд Аристарха метнулся к столу, туда, где лежала повестка. Да кто он такой, этот Ковач, чтобы припирать его к стенке! Кто он такой, чёрт бы его побрал со всеми его потрохами! Что им всем от меня надо, в конце концов!

Ковач наклонился вперёд и доверительно проговорил:

– Я знаю, вы вчера звонили мне на работу. Хотели со мной поговорить. Так? Теперь я сам пришёл к вам, и что я вижу? Вы отказываетесь со мной разговаривать. Я вас абсолютно не понимаю, Аристарх Матвеевич, абсолютно… Представьте, что те вопросы, что я вам только что задал, задал бы не я, а следователь… Что бы вы ответили?

– Кто вы? – вдруг вырвалось у Аристарха.

Ковач поднял недоумённый взгляд.

– То есть как это – кто?

Какое-то время они в упор смотрели друг на друга. И было, видимо, что-то прочитано банкиром в Аристарховых глазах, потому что он неожиданно рассмеялся.

– Ах вон вы о чём!.. Я человек, Аристарх Матвеевич, обычный человек! Можете потрогать, пожалуйста, я не возражаю. Я ваш сосед, попавший в нехорошую историю. Да-да! И теперь мне приходится спасать свою репутацию. А ведь я ничего предосудительного не делал! Мало того – ни о чём таком и не помышлял! Хотел купить сыну квартиру. Ну и что? Всего-то-навсего! Чтобы он был

поближе к нам, старикам. Вы знаете, это очень удобно – родители и дети в одном подъезде… Мелитина Васильевна сообщила мне, что Витенька продаёт квартиру, мы с сыном посоветовались, ну и… остальное вы знаете. Да очнитесь же! Нам действительно есть о чём поговорить.

– Не собираюсь я ни о чём говорить. У меня болит голова. И вообще, я сегодня ещё не ел.

– Вы хотите опохмелиться? Так я сейчас домой сбегаю…

– Да не надо мне ничего…

Вот дьявол! Откуда он знает, что я пил-то? Или у меня всё на роже написано?

– У вас на кухне растёт цветок, – сказал Ковач.

Такой неожиданный поворот заставил Аристарха Матвеевича насторожиться.

– Собственно, в этом заключается ещё одна просьба Мелитины Васильевны… – Лицо Ковача было непроницаемо. – Вы, наверное, успели заметить, что это не совсем обычный цветок?

– А вам-то откуда… – испугался Аристарх, но Ковач перебил его.

– Если вы хотите получить ваши деньги, не выбрасывайте его, пожалуйста.

Аристарх опешил. Ничего себе заявочки!

– А с чего вы взяли, что я хочу его выбросить? – удивился он.

Ковач картинно вздохнул и пожал плечами.

– Я всего лишь хотел предупредить, чтобы вы невзначай не причинили ему какого-либо вреда.

Эй, монумент, – позвал Аристарх, – ты где? Ну-ка, – свысока да с достоинством…

– А вам-то что! – изрёк он. – Мой цветок, хочу – выброшу, а захочу – съем на завтрак.

Для начала неплохо.

– Ну что вы, Аристарх Матвеевич, это всего лишь просьба, и просьба, заметьте, чертовски красивой женщины. Или вы не согласны?

– С чем не согласен?

– Что Мелитина Васильевна шикарная женщина.

– А разве вы в этом разбираетесь?

Получи фашист гранату!

Но, вопреки ожиданиям, ни одна мышца на лице Ковача не дрогнула. Чёртова маска!

– Я не обижаюсь, – сказал он после некоторого молчания. – Потому что мои симпатии так же естественны, как и ваши. Можно только сожалеть, что вы не способны этого понять.

Вот ведь стервец! Ну да ладно… один-один.

– Смею предложить вам выбор, – как ни в чём не бывало продолжал гость, – альтернативу, так сказать. Авось и сдвинемся с мёртвой точки…

– Вы меня жутко заинтриговали, Владимир Иванович.

Чтоб у тебя член отсох, гомосечина!

Стойкость и выдержка!

Ковач загнул палец:

– Первое. Я сейчас приношу вам тридцать миллионов, и всё остаётся как есть.

– Хм, интересно. А второе?

– И второе. Вы не соглашаетесь на этот брак и тогда…

– Что тогда?

Глаза Ковача как-то вдруг сразу посерьёзнели, и он сказал:

– Если честно, Аристарх Матвеевич, то я не знаю… Но думаю, что и в этом случае всё останется как есть.

– Ха! И это вы называете выбором?

– По правде говоря, меня крайне удивляет, что вы ещё раздумываете. В наше время это даже как-то странно… Вам предлагают деньги… Можно сказать, делают подарок… А вы… В конце концов, это просто невежливо – отказываться от подарка. Аристарх Матвеевич, поймите, от вас ведь ничего особенного не требуется. Вы соглашаетесь на брак – и деньги ваши.

– И всего-то?

– Вот именно!

Как я устал, подумал Аристарх Матвеевич, ох как я устал. Просто слов нет…

– Я должен подумать, – сказал он, чтобы, наконец, избавится от назойливого соседа.

Ковач кивнул и хлопнул себя по ляжкам. Встал.

– Ну что ж, только не думайте слишком долго.

Аристарх машинально проводил его до двери. Уже на самом пороге тот обернулся.

– Вы знаете, у Витеньки дома тоже был цветок.

– И что?

– Верка сломала его… дура. Всего доброго, Аристарх Матвеевич.

Ушёл. Сгинул. Аристарх поймал себя на том, что рука сама по себе тянется совершить крестное знамение. Вот ещё!

Постоял в прихожей, без дум, без мыслей, с пустой башкой, глядел в пол и ничего не видел.

– Надеюсь, ты не поверил ни единому слову? – прозвучал вдруг голос О.О.

– А-а, подпольщик. Слушай, хоть ты ещё не лезь ко мне сегодня, а. Хоть ты не лезь!

– Дорогой мой, ты ни с какой стороны не похож на Фауста, чего ты выпендриваешься!

– Отвали, а. Заткнись и отвали. Я мясо пошёл есть.

– Смотри, мозги не проглоти.

– Постараюсь.

Ел мясо, будто жевал автопокрышку. Мысленно расчленил Ковача на кусочки и принципиально не стал собирать. Хотел обмозговать ситуацию, но крутилось только одно: И В ЗЕМЛЮ ЛБОМ ЛОЖИСЬ И ТЛЕЙ. А ведь это и в самом деле Хармс! И даже предыдущие строки припомнились:

Теперь тебе весь мир несносен,
Противен ход годов и дней.
Беги, старуха, в рощу сосен
И в землю лбом ложись и тлей.

Пора, пора и тебе, Аристархушка, как той старухе… Встряхнулся, отгоняя навязчивые эти мысли, достал спички и принялся ковырять в зубах… Ковач всё ещё был здесь. Да чтоб тебе всю

жизнь жрать сырое мясо! – пожелал он своему цветному другу. Подумал и добавил: а ты, чай, так и делаешь!

В комнате обнаружил: та башенка из ваты, которую он так любовно сооружал на полу, разрушена и растащена их с Ковачем бестолковыми перемещениями. Один сюжет, старинный пейзаж… Из темноты, с горы неведомой, из страшного угла его души, двинулся и стал набирать обороты чудовищный, неостановимый, исполинский каток, имя которому – Безысходность. Страшный и железный, он был неуправляем. Он громыхал и высекал искры. Ещё минута – и раздавит. Аристарх представил, как он лежит, плоский, на холодном полу среди ошмётков ваты – мультяшный Том, пострадавший от проказ изувера Джерри.

Он закрыл глаза и упал на кровать.

Уснуть-ка? А? И будь что будет.

Вот только телик надо выключить… Глянул. Странно, его уже кто-то выключил. Кто? Что не я – точно. Чудеса! Дотянулся до валяющейся банки, поставил её себе на грудь и стал в неё стряхивать пепел.

Лягушка, попавшая в крынку с молоком, сучит лапками и сбивает масло. И выбирается из крынки. А что делать, когда везде, кругом, и внутри, и снаружи – сплошное масло? Сучить, иль не сучить – вот в чём вопрос!

– Сучить! – сказал О.О.

– Сучить, – повторил Аристарх Матвеевич, держа на груди банку и пуская волны сизого дыма прямо в масло вокруг себя. – Или не сучить.

– Дождёшься! – сказал О.О.

– Дождусь, – повторил лежащий.

Поставил банку, поднял с пола тапок. Попаду, нет? Прицелился и запустил им в выключатель. Не попал. Пришлось вставать и выключать.

Лежал и думал. Мечтал, как было б здорово проспать всю ночь без этих чёртовых кошмаров и проснуться 1-го Мая шестьдесят пятого… или шестьдесят девятого. Чтоб всё кругом – как в первый раз, и мама чтобы была нарядная и весёлая, и шарики были огромными, и флажок красным. На улице – солнце, толпа народа, и все

поют… мы рождены, чтоб сказку сделать былью… и музыка внутри тебя, и жить хочется, ужасно хочется жить… Неужто так было когда-то?

Но вместо этого снова была Мелитина, и был секс. Как только он забылся, всё вернулось. Пришло с той суровой неотвратимостью, с какой за осенью приходит зима, за днём – ночь, за рождением – смерть. И было неоспоримо доказано, что секс – он и в Африке секс. И за чертой и до черты, и у чертей и у людей всё это, как оказалось, происходит совершенно аналогично: а) поступательно-возвратные движения, б) короткая судорога в области таза (древние были поэтичнее, они говорили – чресл), засим – в) мерзейшие выделения и, наконец, – г) продолжительный период сытой пресыщенности на влажных простынях.

Потом начались увещевания, и лились слёзы, и снова был секс, и выяснение вопроса, почему он лёг спать одетым. А он уже был как бы и не Аристарх Матвеевич, а снова Арик, только почему-то Арик с бородкой, Арик-сгорбленный старичок. Личико его сморщилось, будто его жевало время, жевало, а потом выплюнуло. И он по-стариковски плакал, и слёзы бежали хрустальные, как воздух Альп. И он уже желал конца и искал руку с пистолетом, благословенную руку, дающую освобождение…

– Ты мой! Ты будешь мой! – шептала Мелитина и погружалась в него, и погружала его в себя.

– Всё, от чего я бежал, догнало меня, – говорил он уже без слёз и обид, лишь констатируя.

– Дурачок, – успокаивала она. – Нужно было бежать навстречу…

– Я больше не могу, – просил он.

– Ну отдохни… – великодушно позволяла она, – отдохни чуток.

И он делал вид, что отдыхает, но не было покоя в его душе. А она лежала рядом, и он чувствовал её горячее тело, которое на самом деле было пеплом, чёрной гарью на городской свалке, и он не мог этого понять, не мог охватить, обливался холодным потом и сознавал, что сходит с ума.

Мелитина говорила. Она рассказывала о своей матери, и выходило, что та до сих пор жива.

– Это мама придумала мне такое имя – Мелитина, а ты знаешь, что оно означает? По-гречески это – медовая, сладкая как мёд. – Она смеялась. – Ты вот попробуй-ка, так оно и есть.

Её мать была сумасшедшей. По её словам, уже почти двадцать лет она живёт в психушке, на Сланцах.

– Ты знаешь, где это – Сланцы? – спрашивала она. – Ой, это страшное место. Там такие жуткие порядки! А ведь все эти психи – они совсем безобидные. И даже славные. Но денег не хватает, и там у них постоянно какие-нибудь эпидемии. Все ходят вшивые, а мама уже старая, и позаботиться о ней некому. Поэтому я и должна ей помочь, только вот боюсь, не успею. Мама теперь очень больная и слабая. Я долго не решалась ей являться, потому что у неё и так плохо с головой, хотя иногда бывают настоящие просветления, довольно долгие. В такие периоды она всё видит и понимает, и ей тогда очень плохо. Но однажды я всё же решилась. Если бы ты видел, как она обрадовалась! И вот ни столечко не испугалась. Оказывается, она и не знала, что я умерла. Наверное, ей не говорили. А может, и сказали, но она уже забыла. И теперь она считает, что дочь приезжает её навестить. Но ведь это так и есть, правда? Когда я к ней прихожу, мы всегда долго-долго болтаем – иногда всю ночь напролёт, и она никак не хочет, чтобы я уходила. А ты знаешь, я ей могу являться, даже когда она не спит! Но получается это только с ней. С другими я пробовала – никак… Это она посоветовала мне растение. Мы как-то говорили о смерти, и она рассказала мне о своём брате, которого убили, когда меня ещё и в помине не было. Он украл деньги у каких-то мужиков, а те в отместку подожгли его дом. Он в деревне жил. Там он и сгорел, даже с кровати не встал. Видимо, пьяный был. С ним ещё собака сгорела, она жила на крытом дворе, а двери все были заперты. Так этот её брат, его Петром звали, вселился в растение и жил потом у материной тётки дома. Тётка была верующая и когда увидела, что на её цветке глаза выросли, чуть с ума не сошла. А Пётр ей ночью явился и всё рассказал, но она всё равно от растения избавилась. Мама сказала, что таким образом он мог и совсем в мир вернуться и да-

же новое тело получить. Ты хоть слушаешь меня? Тогда я и решила попробовать. У Витеньки. К нему я давно приходила, и мы с ним жили как прежде. Но это давно было, потому что перед смертью он уже целый год был импотент. Я поселилась в его цветке, на кухне, и стала пытаться. Сначала ничего не получалось, а потом я увидела, что цветок меня слушается и изменяется как я хочу. Это было такое счастье! Я всё рассказала Виктору, а он наорал на меня и сказал, что с него хватит, что больше он не хочет меня видеть, что я ему надоела и всё такое прочее… Это было ночью, Верка проснулась и спросила, на кого он орёт. А он сказал, что это не её собачье дело и пусть она лучше заткнётся. Тогда она сказала, что у него уже началась белая горячка и пора его отправлять в психушку. Они ещё чуток полаялись, а утром он ей всё рассказал. Верка смеялась и говорила, что он точно съехал с катушек и что она больше не собирается жить с мужиком, у которого в голове и между ног пусто. Вот так-то… А когда он застрелился, она сломала цветок, потому что и сама уже видела, что с цветком что-то неладно. Сломала со злости и ещё от страха сойти с ума…

Мелитина провела рукой по Аристархову животу, опустилась ниже и овладела его яйцами.

– И тогда я подумала о тебе… Ты мне сразу приглянулся. И у тебя такой шикарный "доктор"! Аристархушка, милый, ты ведь поможешь мне?

И она стала сжимать пальцы.

– Не надо, – попросил Аристарх.

– Ты мне поможешь? – повторила она.

– Я не могу, – попытался он, но почувствовал, что долго не вытерпит. – Хорошо, хорошо, – закричал он, когда боль уже сделалась невыносимой.

– Я люблю тебя, – прошептала она, отпуская его побрякушки.

А не пора ли и мне на Сланцы? – подумал Аристарх.

Утром пришёл Иртеньев.

Почему бы им всем не оставить меня в покое!

Аристарх открывал дверь и смотрел на свои руки. Руки тряслись. Да и всего его била крупная дрожь.

– Аристарх Матвеевич, мне сказали, что вы болеете. Что с вами?

Аристарх пустил его в комнату и демонстративно улёгся в кровать.

– Вы себя плохо чувствуете?

– Да. Похоже, у меня грипп.

– Врача вызывали?

– Нет.

– А вот это зря. Надо обязательно вызвать. Лекарства-то у вас хоть есть?

– Есть.

– Выглядите вы неважно. Температура?

Аристарх кивнул.

– Так и быть, не буду вас беспокоить, – он помолчал. – Я только пришёл сказать вам, что мы вскрыли сейф Виктора Рытика в Искра-банке.

Аристарх молчал.

– В сейфе ничего нет.

Он ждал реакции. Не дождался и продолжил:

– И ещё мы задержали сожительницу Рытика. Она ничего не знает ни о деньгах, ни о том, что квартира была продана. Мне кажется, она лжёт. И ещё мне показалось, что она чего-то боится. Вы не знаете, чего?

– Нет, – сказал Аристарх. – И её я тоже не знаю.

– Понятно.

Иртеньев посидел ещё минуту и поднялся.

– Аристарх Матвеевич, вы разговаривали с Ковачем?

– Да.

– Он о чём-нибудь просил вас?

– Нет.

– Ладненько. Я вызову для вас врача. Не возражаете?

– Не надо мне никакого врача!

– Надо-надо, не спорьте. С этими гриппами шутки плохи. Да, кстати, хочу вас проинформировать, отыскалась ведь одна Мелитина. И отчество такое же – Васильевна. Вот только умерла она давненько.

– Я знаю, – пробормотал Аристарх.

– Что вы сказали?

Аристарх обречённо посмотрел на следователя.

– Ничего.

– Она умерла в трёхлетнем возрасте от двустороннего воспаления лёгких, – закончил тот.

– То есть как? – опешил Аристарх.

– А вот так.

Иртеньев постоял ещё немного, поблёскивая глазами из-под чёрных бровей, попрощался и ушёл. Аристарх даже не смог встать, чтобы закрыть за ним дверь. Не было сил.

Минут через сорок он всё-таки поднялся и прошёл на кухню. В пачке осталось всего две сигареты. Закурил. Взглянул на растение. С подоконника прямо ему в лицо бесстрастно и жутко смотрела Мелитина Васильевна. Или кто-то другой, так себя именующий. А впрочем… какая разница… Отвёл взгляд, снял горшок и поставил его на пол. Пододвинул табурет и, кряхтя, взобрался на подоконник. Внизу, у подъезда, сидела Роза. Одна. Подумал: если она сейчас поднимет голову, то увидит, как я стою здесь в одних трусах. Ну и что? Так или иначе, она меня скоро увидит. Не буду же я ждать, когда она уйдёт, она может просидеть и до вечера… Попробовал шпингалет. Тот был скован засохшей краской и не поддавался. Спускаться за молотком не хотелось. И вдруг он услышал шаги. Сзади.

Обернулся. Посреди кухни стоял Ковач.

– Я принёс деньги. Как обещал, – сказал он, показывая свёрток. – Но, я вижу, вы заняты.

– Как вы вошли? – по-птичьи пропищал Аристарх – ему внезапно изменил голос.

– А у вас дверь открыта, – объяснил Ковач, нагло пялясь на его голые ноги. – Вы уже что-то решили?

– Я решил спрыгнуть, – сказал Аристарх.

– А я думал, вы хотите помыть окно.

– Вы ошиблись.

– Теперь я это понял.

Они оба умолкли, но продолжали смотреть друг на друга. Бляха муха, ничего комичней и придумать нельзя! Посмотрел бы кто со стороны…

– Хватит разглядывать мои ноги! – сказал наконец Аристарх. – Это неприлично.

– А я и не разглядываю, – неожиданно смутился Ковач.

– Как это не разглядываете! Я же вижу, что разглядываете! Если они вам нравятся, так и скажите! А то стоите тут, молчите и разглядываете!

– Да нет! Вам показалось!

– Как же – показалось… Помогите-ка мне лучше слезть.

Ковач подошёл, подал влажную руку. Аристарх оказался внизу. Указал на пакет.

– Это деньги? Отлично. Положите на стол.

Ковач всё выполнил в точности.

– Что-то ещё? – спросил Аристарх.

– Нет, – банкир отрицательно мотнул головой.

– Ну, тогда – прощайте.

Ковач повернулся уходить.

– Эй, постойте-ка! – окликнул его Аристарх. – Если бы я вздумал продать свою квартиру, как вы думаете, сколько я смог бы за неё выручить?

– Вы не должны меня об этом спрашивать.

– Почему?

– И делать этого тоже не должны, – голос педика дрогнул.

– И всё же?..

Молчание.

– Отписать её вам, Владимир Иванович?

Ковач вскинул затравленный взгляд, развернулся и был таков. Ни слова, ни полслова…

Аристарх Матвеевич немного постоял, глядя на лежащий перед ним пакет. Однако разворачивать не стал.

Он улыбнулся и полез в ящик за молотком.

Февраль-март 1995 г.

КАИР. 1830

Рассказ

1

Над Аравийской пустыней вставало солнце.

Вот оно лизнуло вершины гор аль-Мукаттам, выхватило из сырого полумрака острые грани далёких пирамид, расцветило их, растеклось оливковой струёй средь пальмовых рощ, покрывающих развалины Мемфиса, на секунду задержалось на усеянных чахлыми фиговыми деревьями берегах Нила и вдруг бросилось в его величественные красноватые воды. Встретились вновь два великих бога – Птах и Хорус.

Несмотря на столь ранний час, Каир не спал. Улицы мусульманских кварталов быстро заполнял многоголосый люд. К Воротам Победы – иначе Баб-эль-Футух – подтягивались войска. Гвардейцы из эскадронов вице-короля, посверкивая начищенными доспехами, сдерживали прибывающую толпу.

Вдалеке, там, где привольно раскинулось множество безлюдных построек Города Мёртвых, и правее, среди холмов аль-Мукаттама, пылила десятками тысяч ног грандиознейшая из когда-либо случавшихся процессий.

То было шествие паломников из Мекки.

Жители Каира, высыпав на улицы, восторженными криками приветствовали головной отряд каравана.

Бородатые, взлохмаченные, свирепого вида паломники в белых одеждах церемонно выступали среди неистовствующих горожан. Юродивые и дервиши, не щадя голосовых связок, изливали свою любовь к богу, непрестанно возглашая имя Аллаха. Звучали одновременно сотни труб, цимбал, барабанов.

Где-то там, в глубине тридцатитысячного воинства божьего, двигался махмаль – священный ковчег со списками Корана.

А здесь, впереди, за седобородым патриархом, на верблюдах, крытых золототканными попонами, следовали пышно разодетые эмиры и шейхи.

– Аллах хайй! Аллах жив! – то и дело взлетало в бесцветное небо.

Среди всего этого многоголосья, экстаза, славословия, среди этого фейерверка восторгов религиозного стада, никому даже в голову не пришло обратить внимание на исхудавшего человека с закопчённым, осунувшимся лицом, облачённого в рваное жёлто-синее полотнище. Он сидел у входа в мечеть аль-Азхар, низко опустив голову, вперив остановившийся мутный взгляд в бурую пыль у своих ног. На голове его каким-то чудом держалась когда-то белая, а теперь грязно-рыжая с подпалинами такийя.

Человек не разделял буйной радости толпы; с выражением полной безучастности на иссохшем, обветренном лице он перекладывал с места на место три гладко отполированные камешка.

За этим занятием его можно было найти здесь и вчера, и третьего дня, и неделю назад. Уже почти месяц он просиживал у ворот мечети аль-Азхар, в тени минарета, и, казалось, был далёк от всех мирских забот. Подобно отшельнику, питающему свой дух, а заодно и тело, словом хвалы единственному и всемогущему Аллаху, он давно забыл вкус овощей и мяса, не говоря уж о такой роскоши, как шербет и кофе.

Кто он? Откуда он пришёл? Какому богу воссылает свои молитвы?

Должно быть, немало удивился бы тот, кто надумал спросить его об этом. Но спрашивающих не было. И, вообще, не было никого, кого бы заинтересовал вид этого несчастного. Мало ли больных, нищих, юродивых шатается по Каиру!

И всё же тот, кто составил бы себе труд взглянуть повнимательнее на этого бродягу, с удивлением заметил бы, как под густым налётом пыли, под слоем отстающего струпьями загара, на вполне европейском лице каким-то приглушённым, затравленным огнём мерцают отнюдь не восточные серо-голубые глаза.

Европеец? Франк? Нищий франк?! О, такого Каир ещё не видел! Да и признайся вдруг в этом бедняга – ему бы никто не поверил. В крайнем случае – турок, опустившийся, свихнувшийся турок.

Шествие меж тем продвигалось к цитадели. Пальба из пушек и звуки труб возвестили о том, что вдали показался махмаль.

Восемь роскошно украшенных верблюдов с султанами на головах, в ослепительных сбруях выступали попарно под истошные крики толпы. Впереди ехали юные литаврщики с обнажёнными руками, они поднимали и опускали золотые палочки в гуще развевающихся знамён. За ними шествовал верблюд, который вёз махмаль – небольшой, богато изукрашенный шатёр пирамидальной формы, обтянутый тканью с вышитыми на ней изречениями; углы и верх махмаля венчали огромные серебряные шары.

Народ бесновался. Он падал ниц, касаясь лбами рук, тонущих в пыли. Гвардейцы отгоняли негров, бросавшихся в фанатичном исступлении прямо под ноги верблюдам.

Святые в неистовстве длинными иглами прокалывали себе щёки и шагали дальше, истекая кровью, другие глотали живых змей, третьи набивали себе рот раскалёнными углями.

Альмеи, обнажая лица с красной и синей татуировкой, тянули протяжные гортанные песни.

Часть паломников, поравнявшись с мечетью аль-Азхар, отделилась от основного кортежа и устремилась в створы ворот, украшенных арабесками. У порога осталась гора бабушей – в храм полагалось входить босиком.

Нищий франк поднялся со своего места и, вовсе уронив голову на грудь, побрёл в общем потоке зевак.

Тем временем члены правительства, к общей радости собравшихся, самолично вышли поприветствовать прибытие махмаля. Паша и его домочадцы поочерёдно принимали платье Пророка, привезённое из Мекки, святую воду из колодца Земзем и другие реликвии паломничества.

Франк стоял среди ликующих феллахов, коптов, бедуинов. Худые руки безвольно висели вдоль иссохшего тела, глаза не выражали ничего, кроме безразличия к происходящему вокруг, они были пусты и холодны – кристаллы льда в бушующем море огня.

Внезапно отчаянный женский крик, как острый нож в мякоть хлеба, врезался в плоть общего гомона. От качающейся толпы отделилась фигура в чёрном покрывале и, стремительно преодолев короткое расстояние, упала в пыль почти у самых ног паши.

Случилось это столь неожиданно, что никто даже не успел сообразить, в чём же дело. Те, кто стоял ближе всех, повернули головы и с удивлением воззрились на нечестивицу, посмевшую осквернить священный ритуал. Стоящие во вторых рядах тянули головы, пытаясь уразуметь, что же произошло. Дальние продолжали шумно напирать, ни о чём не подозревая.

Сразу несколько гвардейцев бросились к безумице, дабы восстановить порядок.

Однако паша поднял руку.

– Оставьте её!

Гвардейцы замерли, отступили на два шага назад.

Тёмные глаза паши внимательно изучали согбенное существо.

– Кто эта женщина?

Сонмище окаменело, оно зачарованно ловило каждое слово своего повелителя. Фраза, сказанная пашой, тут же была повторена сотнями уст.

Правитель ждал ответа.

Тогда из людской толчеи выступил богато одетый шейх и, низко клоня голову в белом тюрбане, отчётливо произнёс:

– О владыка! Эту женщину я подобрал сегодня у развалин Старого Каира, по дороге сюда. Она была очень слаба, я сжалился над ней и велел накормить. Красота её так поразила меня, что я поклялся сделать всё, чтобы эта женщина забыла о своих несчастьях.

– Назови своё имя, – повелел паша.

– Меня зовут аль-Джелляби, я родом из Верхнего Египта, – ответил мусульманин.

– Ты видел лицо этой женщины?

– Да, мой повелитель. Она, похоже, и не пытается его скрывать.

– И за всё это время ты так и не смог с ней объясниться? – Взор паши проникал, казалось, в самую душу.

– Она не знает нашего языка, – отозвался шейх.

Плотный полукруг паломников, затаив дыхание, прислушивался к беседе. Задние уже не напирали. Лишь кое-где ещё слышались выстрелы петард, глухой неясный гомон рядов.

Паша с интересом взглянул на павшую ниц женщину.

– Чёрная или абиссинка?

– Увы, мой господин, – шейх блеснул зубами. – Её кожа бледна, подобно цветку лотоса, а разрез глаз таков, какой бывает у франкских женщин.

Толпа изумлённо выдохнула.

– Но ты узнал хотя бы её имя?

– Она назвалась Алкестой.

– Алкестой? – Седая, аккуратно остриженная борода паши дрогнула. – Да у неё божественное имя! Чего же хочет эта женщина?

– Не ведаю того, мой повелитель, – шейх склонился ещё ниже, его голос потёк будто мёд. – Молю, о светоч Египта, не осуждай излишне строго это несчастное, заблудшее существо за его нелепый порыв. Причиной тому вовсе не испорченный нрав бедняжки, но лишь её беспомощность и полное незнание наших обычаев.

– Помоги ей подняться, – изрёк паша.

Шейх сделал шаг к безмолвной фигуре женщины, тронул её за плечо. Публика заворожённо следила за его действиями.

Внезапно женщина разогнула стан и в негодовании оттолкнула протянутую руку шейха.

Возмущённый выдох из тысяч грудей. И заходило, задвигалось пёстрое море паломников.

Паша взметнул тёмные очи. Сверкнул из-под излома бровей. Гул осёкся.

– Я вижу, ты осмелился солгать мне, шейх аль-Джелляби!

Слова владыки, скрежеща будто листы железа, понеслись над тысячеголовой площадью.

Аль-Джелляби рухнул в пыль.

– Всё истинная правда, клянусь платьем Пророка!

Его белый тюрбан, словно огромная тыква, опустился в прах у ног паши.

– Уйди. Не желаю осквернять великий праздник, – бросил повелитель и – громко, всем, указывая на жалкую фигуру в чёрном. – Эта женщина ищет защиты. Отныне она будет жить в моём доме.

Вопль восторга пронёсся над площадью. Забушевало неистовое многолюдье.

Посрамлённый шейх неуклюже – крестец выше шеи – ретировался в расступившиеся ряды паломников.

Правящее семейство исчезло за колоннадой дворца. Эскорт гвардейцев проводил поднявшуюся с колен женщину.

А город уже расцветился тысячами огней. На куполах мечетей вспыхнули светящиеся чётки, на минаретах зажглись невиданные сверкающие кольца; изречения Корана, выложенные мозаикой из разноцветного стекла, засияли на фронтонах зданий.

Начиналась самая красочная, самая весёлая часть праздника.

Паломников, одетых во всё белое, с более смуглыми, чем у жителей Каира, лицами, встречали повсюду как родных. Посередине площади Эзбекия происходили главные торжества.

Около высоких шестов, украшенных флагами и фонарями, свершали свои действа кружащиеся дервиши. Их хриплые крики "Аллах хайй!" метались в воздухе подобно трескучей саранче.

Кругом теснились зрители, глазеющие на жонглёров и канатоходцев, внимающие шаирам, что певучими голосами читали отрывки из прекрасного романа об Абу-Зейде.

И уж теперь-то вовсе никому не было дела до одинокого, затравленно озирающегося нищего франка, что бродил возле ярко освещённых кофеен, худого, с усталыми длинными руками, закутанного в грязную жёлто-синюю тряпицу.

Торговец жареным мясом прогнал его от своей лавки, два здоровенных чернобородых копта оттолкнули его с дороги, и он, падая, в кровь разбил себе колено.

Безмерно одинокий, он бродил по берегу канала Халиг, медленно, уже за полночь, обогнул кладбище Карафы и наконец очутился под арками огромного акведука в Старом Каире.

Там, подальше от гомона веселящейся толпы, он лёг прямо в пыль, натянул на голову ветхое тряпьё и, прежде чем закрыть свои печальные серо-голубые глаза, промолвил всего лишь одно, диковинное слово:

– Алкеста.

2

Над безбрежной водной гладью поднимался гигантский белый шар.

Что это? Солнце? Но разве бывает Солнце таким огромным?..

Виктор поднялся с колен, вода стекала с обнажённого тела, густые глицериновые струи. Он поднёс к губам ладонь – язык ощутил вкус соли. Крутой, горьковатый вкус.

Теперь, когда он встал во весь рост, влага едва доходила ему до щиколоток.

Виктор огляделся.

Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась высвеченная неестественно белыми лучами водная гладь. Она блестела, она слепила, она плыла будто расплавленный металл – море, океан расплавленного металла.

Виктор невольно зажмурился. И тотчас перед глазами, словно искры из потревоженного пепелища, взметнулись картинки судебного разбирательства. Холодное, иссиня бледное лицо судьи, невозмутимый конвой, ярко-жёлтый бесконечный коридор и… и что-то ещё, что-то неуловимо знакомое, – оно поманило и вдруг навалилось, сбило дыхание, вырвало его сердце, рассекло его мозг, навсегда отняло у него то, что он привык называть жизнью.

Виктор сделал шаг. Белый круг светила шевельнулся в перламутровом зеркале рассола, превратился в исполинскую амёбу, пополз вперёд.

Дно было песчаным и твёрдым. Шагалось легко, и только воздух, нёсший в себе какую-то загадку, неопределимый привкус, тревожил лёгкие, мешал дышать спокойно и свободно.

Двигаться Виктор решил всё время в одну сторону, навстречу солнцу, быть может, там, впереди, он отыщет хотя бы маленький клочок суши.

Сотня, две, три сотни шагов. Кожа, покрытая искристым налётом соли, отказывалась дышать. Устремляясь к зениту, солнце всё сильнее жгло незащищённое тело. И ни бугорка, ни травинки, ни намёка на освобождение от кошмара. Пот обильно струился по лицу, плечам, спине.

Виктор попытался проглотить пригоршню горько-солёной воды, это ему удалось, но вовсе не умерило жажды. И всё сильнее и сильнее становилось головокружение…

Он опустился на колени. Сердце билось в ушах, оглушало. Память вновь вернула его в ослепительно жёлтый коридор. Виктор почти физически ощутил рядом чеканящих шаг охранников, их железные руки на своих запястьях. Промелькнуло лицо жены… прямой, тонкий нос, влажные глубокие глаза. В росчерке губ – всегдашний упрёк, упрёк и насмешка.

Да, он виноват. Виноват в том, что хотел жить правдиво. И ещё: он никогда бы не сделал ЭТОГО, если бы ни она. Именно она, Алкеста, понудила его совершить преступление. Он понимает, это слабое оправдание, но тогда он ничего не смог с собой поделать. Да и сейчас… нет, он ни о чём не жалеет. Ему показалось даже, что и судья почувствовал это…

Дышать становилось всё труднее. Солнце растеклось по зениту, каждый вдох причинял резкую боль, новый глоток воздуха опрокидывал в лёгкие новую порцию расплавленного металла. И ещё эти жуткие испарения…

Даль горизонта раскачивалась, оранжевое марево густо выстлало зеркало воды, перед глазами плыли странные образования, похожие на чудищ из его детских страхов.

Итак, он обречён. Приговор вынесен. ЭТО свершилось. Его больше нет. Его больше нет ни для кого, и лишь для себя самого он, как ни странно, всё ещё существует.

Вот он стоит в центре гигантской тарелки с доисторическим бульоном, отвергнутый всеми, кроме собственной совести, стоит, и густая солёная капля скользит по его щеке. Но-но, только не расслабляться!

По его подсчётам, он движется уже около шести часов. И если бы не глупое светило, сдирающее кожу со спины и плеч, он смог бы, пожалуй, пройти ещё столько же. Тело саднило, нестерпимая жажда выстилала болью гортань.

Как всё глупо! Глупо и мерзко! Казалось бы, всё уже кончено, и вот снова – дорога, снова – мучения, дикие, фантастические картины, снова – жизнь… Зачем? Неужели ещё не приспел час рас-

платы? Неужели ему предстоит ещё что-то понять, что-то переосмыслить в этой жизни? Как она жестока, эта карающая справедливость!

А может быть, он уже настал, может быть, это он и есть – час расплаты…

Шаг, ещё шаг, ещё и ещё… Напрасно. Куда бы он ни шёл, ему не уйти от жгучего страха, не вырваться из западни жёлтого коридора…

Звенят кованые каблуки конвоя. Ценн… ценн… ценн-н… Наплывает чьё-то лицо, губы, полуоткрытые, зовущие… И вдруг – тонкий высокий звук, точно писк невидимого комара. Растёт. Жёлтый свет сменяется алым, пульсирует, заливает глаза, он весь – как густеющие потёки крови… Хо-о-оп! Звук схлопывается.

И – оглушающая тишина.

3

Как долго опускается эта пылинка!

Он уже успел разглядеть утолщение в центре и лёгкую опушку – белоснежный венчик! – по краям. Откуда ты, странница, в этом далёком, всеми забытом мире?

Глаза постепенно привыкают к темноте.

Что это! Прямо над его головой, едва различим во мраке, выгнулся каменный свод. Сквозь узкое, щелеподобное оконце откуда-то сверху и сбоку струится слабый голубоватый свет. Свет этот стекает по влажным откосам стен, и Виктору кажется, что он лежит в воде. Его лопатки неожиданно начинают ощущать пронизывающий холод камня.

Вот он подался вперёд, сел.

Мрачная, сырая келья, тёмный подвал, склеп, глухое узилище – вот какие ужасы пришли ему на ум, едва он повнимательнее огляделся в своём новом обиталище.

Три каменные ступени у стены, венцом им – массивная, окованная железом дверь, гнилая солома в углу, кувшин с отколотым горлом – вот, пожалуй, и вся обстановка.

Итак, прежний кошмар кончился.

Начинается новый?

Неожиданно совсем рядом звякнули ключи. Застонала, открываясь, дверь, и в луче тусклого света к ногам Виктора упало что-то чёрное. Он в страхе отпрянул.

Дверь затворилась, со скрежетом повернулся ключ и снова – тишина.

Виктор мучительно вглядывался в чёрный предмет на полу. Что бы это могло быть? И вдруг – слабый стон… Человек?! Виктор бросился к тому, кого он только что принял за ворох грязного тряпья. Перевернул на спину.

В синеватых отблесках далёкого оконца слепился перед ним восковой овал измождённого лица. Виктор увидел тёмные провалы глазниц, коросту крови, запёкшейся на губах, и волосы, негустые, но длинные волосы, влажными прядями спадающие на узкий лоб, струящиеся по плечам, груди… От неожиданности Виктор замер – перед ним лежала девушка!

Непокорно белели средь мрака, крови и нечистот её маленькие груди, тёмные зрачки сосков упрямо глядели сквозь порванную накидку.

Виктор принёс соломы. Положил несчастной под голову. На его прикосновения она отозвалась невнятным бормотанием и вновь утихла, как только он отнял руку.

Он сел поодаль и стал ждать.

.....

Виктор не успел заметить, когда к ней вернулось сознание. Он всё ещё брёл по своему жёлтому коридору, в ушах звенело, тёмные пятна-тени двигались впереди, по бокам, сердце щемило, он чувствовал терпкую боль где-то у лопаток, однако теперь он был рад этой муке. Она возвращала его в ЕГО МИР, в ЕГО ВРЕМЯ, в ЕГО ЖИЗНЬ. А эта… эта жизнь была чужая.

Как странно! Он вовсе не воспринимает сейчас всё происходящее с ним как часть реальности, ему жутко не хочется даже мысли допустить, что вот эти мшаные стены, этот смрадный глухой подвал, что всё это – продолжение его жёлтого коридора.

Это может быть чем угодно, но только не его жизнью. ЕГО ЖИЗНЬ оборвалась ТАМ, она кончилась комариным писком, лопнувшей струной его совести.

Сглотнул комок.

Сказал:

– Я – Виктор.

– Вам что-нибудь нужно? – сказал.

Подумал:

– А что я могу?

Глаза блеснули и отдалились. Виктор услышал странную, незнакомую речь. Казалось, говорящая катает во рту маленький мягкий шарик, звуки рождались округлые и такие же мягкие.

– Хорошо, – Виктор понемногу приходил в себя. – Объяснимся так, – и он поднял руку. – Я, – палец в грудь, – Виктор! Ты… – палец замер, ожидая.

– Бесс… – Мягкий шарик вкатился в его ухо.

– Я рад… Бесс… впрочем, к чему всё это. Я умер. А ты вот живёшь. Какая пропасть. И нет различий. Можно гадать. А можно смириться. Ты смирилась, Бесс? Не понимаешь? Я попытаюсь… Один, два, три, дитя, смотри, уа-уа, пять, шесть, семь, вот, писать, читать, десять, пятнадцать… Мне тридцать шесть. Напишу. Нет, не видно. Вот, на пальцах, видишь, столько, столько и ещё… Много, правда? Так было. Теперь не имеет значения. Просто я запомнил. Что? Ты хочешь объяснить? Да. Понял. Шестнадцать. Тебе шестнадцать? Боже, совсем ребёнок!.. Я вижу твою улыбку. Принести ещё сена? Подожди, я сейчас.

Вернувшись, Виктор попытался её приподнять. Она оказалась удивительно лёгкой. У него не было детей, но ему вдруг представилось, что он держит на руках свою дочурку.

Сморгнул.

– Удобнее? Комфорт не велик, но хоть так…

Она что-то пролепетала и умолкла. Умолкла надолго. Теперь он внимательно, насколько позволял мерцающий отблеск окна, всматривался в её заострённые черты, глядел на её худые руки, бледными прутиками торчащие из вороха тряпья – её одежды, видел тонкую шею с едва заметно пульсирующей артерией.

И вдруг он понял – она не спит. Это обморок. Наверное, она голодна. Тут холодно. Сыро. Он снял свою куртку. Куртку? Откуда у него куртка? Только сейчас он обратил внимание, во что он одет. Жёсткие, какой-то необъятной формы штаны, плетёные сандалии, глухая колючая рубаха и куртка… из чего-то холодного, плотного, гладкого.

Он укрыл её этой курткой.

Ему вдруг захотелось согреть её, отдать ей хотя бы частицу своего тепла, поговорить с ней, выспросить, вызнать её беду, её трагедию. В том, что у этой девочки есть своя трагедия, он почему-то ни на минуту не сомневался.

Он встал, решив обследовать свою новую квартиру.

Шесть шагов – так, почти десять – так. Если встать у дальней стены, то в щель далёкого окна видна белая точка звезды.

Сейчас ночь. Невесть какая, но всё же информация. Три крутых ступени, дверь. Дверь небольшая, но, судя по металлической обшивке и мощным, вмурованным в стену крюкам, вполне надёжная.

Наверное, это глупость – подумалось ему – но за этой дверью – жизнь. Мир. Страсти и сожаления, ненависть, любовь, рождение и смерть. И люди. Они могут прийти сюда. По спине Виктора пробежал холодок. Простая эта мысль неожиданно взволновала его. Кто они, эти люди? Что они знают о нём? Зачем заперли его здесь, в этом каменном мешке? Последнее, что он запомнил, – это раскалённый добела солнечный шар, он сам – среди безбрежного, как океан, солончака.

Что с ним происходит? Какое странное состояние! Он вовсе не был против своей смерти. Он не боялся её, хотя и не торопил.

Возмездие неотвратимо, он знал это с самого начала. Знал ли? Конечно же, знал. Но где-то там, глубоко, теплилась надежда на безнаказанность. Так было проще. Так было тяжелее.

И вот она настигла его – кара. К тому времени он уже был согласен с любым решением. Пусть смерть. Так проще. И легче.

Но это… теперешнее его состояние, оно вовсе не похоже на смерть. Но ведь и на жизнь оно тоже не похоже!

Какой здесь холод!.. Кажется, светает. Вот уже его взгляд различает контуры лежащей на полу девочки. Там, в дальнем углу.

Ему не хочется думать! Не хочется двигаться! Он мёртв! Зачем всё это?

– Виктор…

Что это? Она зовёт его? Она запомнила его имя? Скорей!

– Я здесь, да-да, я здесь! Что? Ты показываешь… Кувшин? Ты хочешь пить? Я сейчас.

Влага тёмной струйкой срывается с подбородка…

– Вот. Пей ещё. Здесь ничего нет. Только вода. Уже утро. День. Скоро мы что-нибудь узнаем. Умница. Приляг. Я посижу… Ты слышишь, кажется, шаги, вот, ближе… Кто-то идёт! Но что с тобой? Ты вся дрожишь! Что с тобой? Что? Я не понимаю, слишком быстро… Я не понимаю! Нет, это не к нам. Рядом. Ушли… Почему ты плачешь? Что? Один, два… да, я говорил… ага, понимаю, шестнадцать. Семнадцать – нет? Почему крест? Ведь можно продолжать: двадцать, двадцать один… Нельзя? Но почему? Жарко? Пожар? Огонь? Почему огонь? Ты бредишь? Ну хорошо, пусть всё будет, как ты хочешь. Успокойся. Хоть бы одно слово…

Виктор чувствовал, что с каждой минутой всё более вовлекается в какое-то странное действо, всё активнее участвует в каком-то диком спектакле, ни смысл которого, ни его роль в нём ему не ясны. Это раздражало. Это заставляло всё время возвращаться назад, в события, закончившиеся жёлтым коридором.

И вот снова – глаза жены. Холодные, отсутствующие глаза. Тогда она ЕЩЁ не знала его. Или УЖЕ не знала? Транспортировка прошла рядово, никто ничего не заподозрил. И только он никак не мог забыть этот её вопрошающий взор.

Ах, как боялся он этого момента, как желал его! Убежал в лабораторию и там слонялся по гулким коридорам. Таймер отстукивал минуты – месть, месть, месть! Петля обиды всё туже стягивала горло.

Конечно, были моменты, когда он хотел отказаться от своей затеи, мечтал исчезнуть, раствориться, забыть всё и вся. Но жгучее чувство стыда не пускало, желание наказать было сильнее слабости сострадания.

И вот Алкеста приехала в лабораторию. Скоростной лифт доставил её в зимний сад. Он следил на мониторе, как она движется среди зелени субтропиков, гигантские лианы выгибаются над ней причудливыми дугами, на ней лёгкое светлое платье, контрастирующее с загорелыми ногами…

На мгновение он растерялся. Но лишь на мгновение. Через минуту она уже была в камере.

Строгая, уверенная в себе, она не могла даже предположить, какой чудовищный план вызрел в его голове.

Знала ли она, на что он идёт? Конечно, знала. Потому и была спокойна. Его страх должен был стать своеобразной компенсацией за её страдания. Страдания! Он чувствовал, как с новой силой в нём закипает раздражение. И тогда он сделал ЭТО…

Снова – шаги. Кто-то никак не может попасть ключом в скважину замка. До слуха долетает глухое бормотание, вдруг что-то с грохотом падает, разбивается. За дверью слышна ругань, грубые, сиплые голоса.

Он видит на своём запястье руку девочки. Грязные ногти впились в его кожу. Больно. Он гладит эту руку. Он смотрит в лицо ребёнка и неожиданно проникается её тревогой. Он вдруг начинает понимать, что сейчас должно произойти что-то страшное, скорее всего, непоправимое.

Он включается в этот спектакль. Ещё секунду он сидит неподвижно, и вот принимает решение.

Отойдя от девочки, он ложится на пол, лицом вверх. Глаза смежены.

Дверь, поддавшись натиску, со скрипом поворачивается на ржавых петлях. В ореоле жёлтого колеблющегося света – три огромные мужские фигуры с длинными палками в руках. Палки увенчаны металлическими наконечниками (орудия убийства?!), на плечах и груди вошедших блестят замысловатые накладки. Латники, громко переговариваясь, держа над головой факелы, медленно спускаются по осклизлым ступеням.

Один из них останавливается в ногах у Виктора. Те двое… Ну же! Ещё несколько шагов! Смелее!

Верзила, близоруко щурясь, приближает к Виктору своё одутловатое лицо – он всматривается в лежащего на полу человека.

Ну что ж! Сделав резкий выдох, Виктор выбрасывает вверх ногу и наносит прицельный удар. На мгновение латник замирает, из его груди вырывается тяжкий сип – и вот эта груда мяса начинает медленно оседать на пол. Факел вываливается из его рук.

Скорей! Пока не опомнились те двое!

Виктор упруго прогибается в пояснице – вот он уже на ногах. Он видит перед собой заросшую рыжей щетиной удивлённую физиономию латника. И уже почти автоматически кидает вперёд руку…

– А-а-а-а!!! – Крик вырывается из чёрного провала рта.

Металл! – проносится в мозгу у Виктора. – На нём металлическая броня!

Рыжий уклоняется вбок, пытаясь развернуть своё допотопное оружие. Виктор бьёт в голову.

О боже! Что он делает! Он сходит с ума! Ведь это же люди!

Он склоняется над рухнувшим здоровяком. Белая шея над грязным воротом. Из полуоткрытого рта выползает тоненькая змейка крови…

Третий! Где третий! Виктор оборачивается. И в этот момент что-то мощно врезается в его предплечье. Виктор отчётливо слышит хруст разрываемых сухожилий – и только после, как пламя, боль, жуткая, захлёстывающая мозг.

Виктор пытается подняться и видит, как с гулким звериным рыком на него надвигается третий латник. Он уже метнул своё копьё и теперь с глухой решимостью наступает, чтобы довершить своё дело. Пламя слепит, в его белых разрывах вспыхивают обезумевшие глаза. Виктор видит звериный оскал, чёрные редкие зубы…

Зачем он сделал это? Что ему до всего ЭТОГО? Он давно мёртв! Но боль… Как нестерпима, как сладка эта боль! Неужели… неужели всё ещё длится глупый, никчёмный фарс – его жизнь?!

.....

Виктора и девочку по крутым ступеням вывели из подземелья. Снаружи было утро. Тихое летнее утро. Белое небо почти лежало на земле, перетаптывались кони, остро пахло свежеструганной древесиной.

Рану ему замотали грязной тряпицей. Идти было трудно, кружилась голова. Он вдруг увидел высокие каменные стены, просторный полукруг двора, ряды мрачных закованных в броню воинов и горстку людей, бедно одетых, столпившихся тут же, поодаль.

Девочка шла рядом, устало уронив голову, волосы закрывали её лицо, и от этого Виктору становилось тревожно. Он обнял её за плечи здоровой рукой, но она испуганно отшатнулась.

Прозвучала резкая команда. Воины синхронно шевельнулись, и что-то изменилось в их строю. Виктор с любопытством рассматривал высокое сооружение в центре двора – это был сколоченный из горбыля помост с торчащими из него толстенными шестами. Рядом лежала гора нарубленных веток, чёрная, бесформенная груда.

Вот их провели между рядами воинов, подтолкнули к кривым, наспех сбитым ступеням. И тут девочка подняла голову. Угольки её раскосых глаз, словно буравчики, ввинчивались в его зрачки. Сердце упало. Он понял всё. Сейчас она и он поднимутся на помост, им вывернут руки, пригвоздят к скользким столбам, а потом… Он где-то уже видел всё это. Он помнит, он знает! Так вот почему она говорила про огонь! Но он не хочет ЭТОГО! Он не хочет ТАК! Это страшно! Ему уже сделали больно – разве им мало этого! А она? Она! В чём повинна она! Ещё совсем ребёнок…

И тут он закричал.

Дальше всё происходило как в кошмарном сне. Его схватили чьи-то крепкие руки, втащили на самую верхотуру, прижали пылающей спиной к свежеотёсанному столбу и, как младенца, спеленали волосатой верёвкой. Он стонал, бился, рычал, пытался укусить проворную руку – тщетно.

До его слуха уже долетала тягучая размеренная речь, гулкие огромные шары катились по маленькой площади, давили всё и вся, добирались до его помоста и лопались у его ног как мыльные пузыри.

Помост кругом обложили хворостом, и несколько человек выступили вперёд с факелами в руках.

Он вдруг отчётливо осознал бессмысленность своего буйства, затих. Отрешённо повис на верёвках, горячая слеза начала свой путь по его грязной щеке.

Тягучий голос внезапно смолк.

Он рванулся:

– Бесс!

Она была рядом. Белели неестественно вывернутые её локти, смоляные волосы оплели бледное маленькое лицо.

– Что это, Бесс! – крикнул он. – Зачем это!

Латники зажгли хворост.

Последнее, что он увидел, – были усталые глаза девочки. Последнее, что он почувствовал, – небывалый, почти звериный голод.

4

– Да подавись ты! Подавись! Подавись!..

Виктор вздрогнул. Кричала какая-то неряшливо одетая женщина на противоположной стороне улицы. Он увидел, как люди, выстроившись в цепочку, что-то втолковывают ей.

Толстенная тётя в бело-грязном халате стоит тут же, за небольшим лотком на колёсиках и, картинно подбоченясь, изображает на лице равнодушную улыбку.

– Дак ить аж на гривенник, стерва, обсчитала! Ну да, вам бы всё тихомолком. Ладно, я-то уйду, а вы в её морду загляните! Эвона! – кричащая тыкала пальцем в румяное лицо толстухи. – Харюто накушала за наш счёт! Тьфу на тебя, прости господи! Подавись ты… – и, подобрав авоськи, поплелась прочь.

По дороге катились авто. Этакие жуки, неуклюжие, старинные. Но бодрые. Был день. Денёк. Весёлый и светлый.

Виктор поднялся. Оказывается, он сидел на крашеной скамье где-то у входа в парк. С другой стороны, на самом краешке примостилась интеллигентного вида старушка в мышиной шляпке.

Старушка читала пухлую книгу.

Именно книга почему-то сразу привлекла внимание Виктора. Ещё не отдавая себе отчёта, зачем ему это нужно, Виктор сделал шаг и, учтиво поклонившись, – забавно! – проговорил:

– Желаю вам здоровья!

Старушка подняла глаза.

На её увядшем носу возвышалось довольно странное сооружение – нечто вроде древнего велосипеда с линзами вместо спиц.

– Добрый день, молодой человек, – промолвила старушка, приветливо улыбаясь.

– Я… книга… хотел бы… – начал Виктор, – посмотреть, спасибо.

Старушка вздёрнула бровь, секунду помедлила, вопросительно поблёскивая линзами, но книгу всё же протянула.

Пухлый томик в тиснёной обложке приятно отяжелил пальцы. Не без труда разбирая иероглифы полузнакомых букв, Виктор прочёл: "Жизнь Тарханова". Перевернул страницу. "Московское книгоиздательство. 1917". Цифры поплыли перед глазами; стараясь не выказать своей растерянности, он вернул вещь.

Внимательные глазки любительницы уличного чтения цепко ощупывали его лицо.

Двадцатый век! Двадцатый век! Двадцатый век… Что же он знает о двадцатом веке? В голову лезла всякая чепуха. Почему-то вспомнились дамы в кринолинах, веера, гитары, дирижабли. Или он что-то путает? Набрав в лёгкие побольше воздуху, Виктор бодро выпалил:

– Сударыня! Весьма рад нашему знакомству!

По округлившимся глазам собеседницы Виктор понял, что его новая знакомая вовсе не разделяет его восторга.

– Весьма?.. протянула она. – Как вы сказали?

– Я… э-э… то есть… будьте любезны… который теперь час?

Виктор аж вспотел от неловкости.

Дряблые щёки старушки сурово натянулись.

– А ваши часики, молодой человек, что же, стоят? – и она ткнула пальцем в его запястье. Там и вправду посверкивала этакая странная штуковина.

– Какая прелесть, – не нашёлся он что сказать, глупо улыбнулся, попятился и вдруг увидел, как старушечье личико удлинилось, рот её приоткрылся, и она тоненько-тоненько закричала.

Засвистели тормоза, тут же чей-то крик перекрыл старушечий, Виктор вздрогнул и, обернувшись, увидел, что он стоит на дороге и прямо на него катит один из этих допотопных жуков – заплывший бельмом неба единственный глаз лобового стекла, стальной оскал решётки радиатора. Мгновение. Виктор прыгнул. Ударило вскользь. По боку. По ноге.

Трах-тарарах! Машину развернуло поперёк дороги, она жалобно простонала и замерла.

Куда-то вдруг убежали все звуки… Заструилась над головой необъятная синь, лёгкое облачко волшебным фрегатом летело к неведомым странам, всё вокруг сверкало, лучилось, пело.

– Эх, – подумалось ему, – до чего же славно!

И снова – шум. Гудки, говор, топот бегущих ног. Он вывернул голову. Из-за клацнувшей дверцы авто показались чёрно-белые поножи, процокали к нему, спросили:

– Ты что же, гад, под колёса-то лезешь! Живой хоть?

Кто-то уже наклонялся, кто-то заглядывал в глаза.

А Виктор встал. Встал, поклонился всем низко, ослепил белозубой улыбкой, бросил:

– Желаю вам здоровья!

И перешёл улицу.

Что за город! Кривенькие переулки, серые, жёлтые, тяжёлые, грязные дома, пыль под солнцем, какие-то нескончаемые стены, заборы, крошечные окна, табуны пугливых собак, открытые всем ветрам пустыри, и люди – одетые в какие-то невообразимые одежды, все – с одинаковым выражением на озабоченных лицах.

Виктор плутал среди этой дикости, дышал глубоко, подолгу задерживался у витрин, разглядывал выставленные на всеобщее обозрение цветастые робы, поножи (на нём оказались такие же), безделушки, назначение которых он не знал.

На себе в этот раз он обнаружил толстый шерстяной пиджак, брюки, для какой-то загадочной цели уширенные в бёдрах и раздувающиеся книзу наподобие парусов.

Мечтал о еде. Приглядывался, где бы раздобыть съестного. Но, как назло, пока не попалось ни одного места, хотя бы приблизительно напоминающего лактарий.

Меж тем солнце, словно стыдясь царящей кругом неопрятности, густое и красное, закатывалось за железные крыши.

Стрелка антикварного хронометра незаметно подобралась к цифре "9".

В одной из огромных мерцающих витрин он увидел множество сидящих мужчин и женщин. Одеты они были гораздо приятнее тех, что он встречал на улице. Время от времени они подносили к губам разноцветные сосуды, искрящиеся приманчивой влагой, ловко орудовали металлическими палочками, отправляя в рот один за другим маленькие аппетитные кусочки.

Улыбались. Вставали. Съединялись в пары, покачивались в тягучей паутине приглушённых звуков.

Дальше по стене Виктор нашёл широкую дверь. Отворил, робея. Жестокое чувство голода заставило забыть всякую предосторожность.

Из шумного зала на него пахнуло приторно-едкой смесью человеческого пота, благовоний, пережаренной пищи. Пёстрое многолюдье густело, раскачивалось, так, как будто это был один фантастический организм, одна гигантская бессмысленная тварь. Она шевелилась, взбрыкивала, всхрапывала, плевалась визгливым смехом, обжиралась, возилась в объедках, одним словом, шикарно проводила время.

– Какой мужчинчик! – Кто-то жарко дохнул ему в ухо. – Иди к нам, брильянтовый!

Виктор видел пунцовые губы, близко, они кривлялись, они всасывали его глаза, давили.

Он вздрогнул.

Внутренне подсобравшись, двинулся меж столиков, лихорадочно соображая, как же поступить дальше. Неведомые порядки, загадочные обычаи, чужие законы! Ему вдруг показалось, что все взоры устремлены к нему, карусель будто замерла, в мгновение преобразились лица, застыли, окаменели – он нарушил какую-то

неизвестную налаженность, он был не такой, как все, он ВЫПАДАЛ.

Миг. Проехали. Забыли. Смяли. Карусель снова набирает обороты. Дальше, дальше, дальше! Ты один, чужак, ты снова один. Никому нет до тебя дела. Ешь, пей – и убирайся. Мы все здесь – один организм. Больной, здоровый – не тебе решать! Ты – сорина в глазу. Уйди. Мы простим. Забудем. Всё. Поехали-и-и!!!

Он увидел свободный столик в углу. Протиснулся. Кося глазом, сел. Пока, вроде бы, всё в порядке.

Огляделся. Зал был полным. На небольшом возвышении на стульях сложены инструменты: гитара, что-то из медных, в обрамлении разновеликих дисков – барабан.

Похоже, он никому здесь не интересен.

Виктор поудобнее устроился в мягком кресле.

– Будете заказывать? – Словно из-под земли элегантный молодой человек, белое с чёрным, полуулыбка, полупоклон…

– Здравствуйте! – попробовал Виктор.

– Очень рад. Прошу, – юноша протянул сложенный вдвое глянцевый прямоугольник. Отошёл.

Виктор проводил его благодарным взглядом, открыл принесённый конверт.

Длинный перечень. Несколько колонок. Строки. Цифры. Он улыбнулся. Ну, это просто. Даже проще, чем он предполагал.

– Это, это и это, – продиктовал он вновь подошедшему молодому человеку.

Тот записал.

– Пить?

– Пить?

Так! Он не попал в "пить"! Ответил первое, что пришло на память:

– Вода.

– Вода? – юноша поднял бровь. – Ну и сколько же нам этой самой воды? Сто, двести грамм?

– Двести грамм.

– Чудесно!..

И вот уже перед ним на столе – завлекательного вида конструкция, увенчанная листом экзотического растения.

Взял инструмент, подцепил. Для уверенности ещё раз взглянул, как это делают другие, и – отправил в рот. Жёстко. Разжевал. Миллион запахов ударил в нос, опрокинул, закружил; он почувствовал, как каждая его клеточка, каждый атом, изголодавшись, впитывают в себя это чудо, этот терпкий вкус полей, лесов, солнца, чего-то странного, дикого, первобытного, ужасного, блаженного. Н-н-н-н! – протянул он, отправляя в рот новую порцию.

Нега тёплыми волнами прокатывалась по всем его членам, его орудие – орудие гурмана! – уже царапало показавшееся дно, а желудок требовал: ещё!

Крохотная ёмкость с осиной талией. А ну-ка, из графинчика плеснём! И он опрокинул в рот то, что принёс ему юноша. Полыхнуло. Боже! Вот оно! Какой ужасный конец! Погасло чьё-то удивлённое лицо, дыхание остановилось. – Бесс! Бесс! Неужели! Я не хочу! Ты же видишь, я бессилен! Я сам… я сам – ничто! Нет, не смотри так! Я прошу! Не смотри ТАК! Ведь ты же знаешь – я… я УБИЙЦА! А-А!..

– Ты чё орёшь, паря? – меднолицый толстяк, откинувшись, тупо глядел на Виктора. Его белые глаза не выражали ничего, кроме животной сытости.

– А? – Виктор закрыл рот. Тяжело дыша, огляделся, смахнул слезу. – Желаю вам здоровья!

Челюсть у гиганта отвисла, он глухо булькнул и пошёл – неудержимо, низко, как стихия:

– Ах-ха! Ха! Ха! Ха!..

Подоспел проворный юноша.

– Могу помочь?

Виктор рылся по карманам в поисках платка. Однако в каждом обнаруживал какие-то диковинные вещицы, торопился, ругал себя за неосмотрительность, наконец, начал выкладывать на стол всё подряд, руки у него дрожали.

Металлическая плоская коробочка, плотный раскладной пакет, изящный цилиндрик с колёсиком, коробочка поменьше, несколько плотных, туго перевязанных пачек – бумага? – ну наконец-то!

Виктор развернул носовой платок, вытер лицо, спрятал, вскинул голову:

– Здравствуйте!

Однако чёрно-белый уже не смотрел на Виктора. Физиономия его как-то странно преобразилась, сделалась вдруг рассеянной, мёртвой.

Виктор проследил его взгляд. Понял, юношу поразило что-то из того, что он извлёк из карманов. Стараясь выглядеть как можно более независимым, бросил:

– Спасибо!

Служака спрятал глаза, скомкал улыбку, боком-боком попятился и исчез.

И вдруг – шквал. Оползень. Цунами. Дикая, умопомрачительная какофония. Оказывается – вернулись музыканты…

Виктор сгрёб со стола весь свой скарб, рассовал по карманам, поднялся.

Животное меж тем, тысячезубо осклабясь, покинуло насиженный участок, потянулось на маленький свободный от столов пятачок. Вскинулось там, заходило, задёргалось, меся, толкая телом острые звуки, натыкаясь на них, стеная от удовольствия, боли, восторга.

Путь Виктору преградили, он кинулся вбок – достали, вовлекли, закружили, притянули к себе, прижали мягко, заглянули в глаза, отпустили на миг с тем лишь, чтобы снова ласкать, падать к нему в объятья, подставлять влажные губы, оплетать тенётами роскошных волос.

– Пойдём со мной, миленький!

Оплавленные похотью огромные серые глаза.

– Ну идём же, ну!

Он отдал свою руку, побрёл, будто сомнамбула, следом. Тёмный, душный коридор, лесенка, поворот, дверь, арка, ночная, слепая улица, каблучки рядом, во всём теле истома, слабость, желание.

Взвизгнула дверь.

– Сюда. Вот – по лестнице. Не упади.

Прижалась. Ощутил, как мягко коснулись руки её губы. Обнял.

– Нет-нет, не здесь! Потерпи. Уже рядом, миленький.

Открыла дверь. Подтолкнула в спину.

В глаза – свет. Успел заметить лишь жёлтый круг под низким потолком… И вдруг – удар. В ухо. Комната треснула, развалилась, Виктор, сгребая стол, стулья, въехал в угол.

– Киса, отойди… – высокий с хрипотцой голос. – Славненького ты фраерка притаранила! Погляди, какой смирный.

Из жёлтого тумана выплыл перекошенный рот, обгорелая бумажка в углу губ.

– Очухался? Сядь!

Помогли, подставили стул.

В голове – гуд. Перед глазами вспыхивают и гаснут огненные точки.

– На стол выкладывай, золотенький ты наш!

– Что? – прошептал Виктор, поморщился, боль резанула, свела скулу.

– Деньги, чего ж ещё! И без фокусов! Штырь, стяни-ка с него лапсердак!

Кто-то подступил сзади, взял за плечи, тряхнул. Сняли.

Виктор закрыл глаза. Какая глупость, глупость, глупость! Что им надо? И тут его пронзило: там, в заведении, чёрно-белый шептался с девицей, серые глаза, она ещё подмигнула ему. Она! Боже! Это она привела его сюда! Как же он… Где? Ушла? Нет, она ещё здесь. Какой взгляд! Как же он мог…

– Туточки милые!

На стол упали туго перевязанные пачки.

– Не слабо, – хриплый сплюнул. – Браво, киса! Ты нынче неплохо поработала. Так?

– Часики на нём козы́рные, – подала голос киса. – Жаль будет, если уйдут.

– И верно. Сымай-ка, дядя.

Виктор не торопясь расстегнул ремешок, положил часы на стол. Оценил расстояние до говорящего. За спиной – ещё один. Все? Нет, кто-то шевельнулся в углу. О! Милый юноша! Вы даже

не успели переодеться! Однако номер у вас, видимо, отработан. Ну что ж, трое, она – четвёртая. Виктор опустил голову, собрался.

Какая дикость! Он снова должен кого-то бить!..

Ушёл вправо, падая, ударил ногой наотмашь. Стоящий за стулом взбрыкнул, заваливаясь зацепил стол, поехал, двигая его на чёрно-белого. Тот отпрянул назад, в руке у него тускло блеснул металл.

– Не здесь! Только не здесь! – закричала сероглазая. Её лицо с широко открытым ртом словно повисло в воздухе.

Виктор откатился, вскочил, костяшками пальцев достал того, с перекошенными губами.

Кривогубый заорал:

– Обслужи его! Обслужи!!

Грянул выстрел. Что-то ожгло руку, полыхнуло, сбило азарт.

Он обернулся. Короткий ствол тупо глядел ему в живот. Виктор присел, однако ничего не успел предпринять. Бледный юноша, сглотнув, спустил курок.

Пуля, зацепив надбровную дугу, вошла Виктору прямо в глаз.

5

Роковая мысль транспортировать жену в межвременное пространство оформилась в его голове не вдруг.

Почти полгода они с Алкестой жили на разных концах планеты. Она работала в Каире, у Стренджелиса. Виктор заканчивал монтаж и наладку нового сверхмощного блока "Историка" на Аляске.

Работы было по горло – причина действительно веская для того, чтобы пожить порознь.

Общались по каналу "Эйч", изредка, примерно раз в две недели.

Обида всё ещё жила в его сердце; частенько, особенно под вечер, когда он оставался один, накатывали воспоминания, он гнал их, по большей части безуспешно. Благо, как всегда, не всё ладилось с монтажом, и время от времени приходилось задерживаться допоздна.

Что за диво был этот новый блок! Виктор, в числе представительного коллектива брадатых светил, являлся автором проекта. С вводом в действие нового агрегата проблема серии экспериментов "Время" неизбежно переходила в новую, многообещающую фазу. Чуть ли не в пять раз возрастала точность адресовки, градация временной оси становилась управляемой, да и вообще, теперь не надо будет тратить столько ума и сил на балансировку межвременных энергозатрат.

Новый блок был опробован в мае, четырнадцатого.

А пятнадцатого его вызвала Алкеста.

– Я приеду? – её голос был приглушённо ласковым, просящим.

Из-за её плеча выплыла приплюснутая физиономия Стренджелиса.

– Я отпускаю, – сказал он; помял свой детский подбородок, добавил: – Конечно, не на неделю. Три-четыре дня, я думаю, мы потерпим… Как там ваш "Историк"?

– В порядке, – ответил Виктор.

Тёмные глубокие глаза жены напряжённо всматривались в его лицо. Нежданно в нём шевельнулась жалость. В конце концов, он тоже не ангел!

– Так я приеду? – повторила она.

– Да-да, конечно, – кивнул Виктор и посмотрел на Стренджелиса. – Благодарю вас.

– Ну что вы! – воскликнул тот. – Я всего лишь преследую своеличный, меркантильный интерес. Меня интересует прапра… в девятой степени… бабка, миллионерша.

– К сожалению… – начал было Виктор.

– Шучу! Шучу! – Стренджелис замахал руками. – Я же понимаю, всё это пока чистая наука.

– Спасибо, – машинально повторил Виктор и, помедлив, обратился к Алкесте: – Когда тебя ждать?

– Флаер в моём распоряжении, – улыбнулась она.

– Хорошо. Я встречу тебя.

.....

На торжества по случаю пуска нового блока прилетел сам Гузенко. Официальная часть в зимнем саду на Центральной террасе собрала человек восемьдесят. За кратким словом приветствия и благодарности в адрес разработчиков и монтажных групп последовали вдохновенные речи о новых возможностях и блестящих перспективах.

Наконец все спустились в жилой отсек, где специально по такому случаю в зале отдыха был накрыт праздничный стол.

Виктор, вкупе с иными, принимал поздравления; с женой они успели обмолвиться лишь несколькими малозначительными фразами, однако она всё время была рядом, как всегда спокойная и уверенная в себе, одетая в строгий костюм, подчёркивающий достоинства её фигуры. Хотя – как раньше любил думать Виктор – фигура Алкесты состояла из одних лишь достоинств. Он, право, не был далёк от истины.

Как обычно, шумное сборище его быстро утомило, устал он отвечать и на вопрос, где ему так долго удавалось прятать красавицу супругу, он извинился, и они с Алкестой уехали в городок.

Щемящее чувство весь день не покидало Виктора. Он понимал, что ему не уйти от серьёзного разговора. Ведь ничего ещё между ними не решено. Он видел, что и Алкесте в тягость эта затянувшаяся неопределённость.

– Я думал, – начал Виктор, как только они переступили порог его комнаты, – всё время думал, как же случилось такое с нами… И, знаешь, понял, моя вина, пожалуй, не меньше… И я решил. Нет больше во мне зла. Ты прости меня…

В глазах жены блеснули слёзы.

Она тихо, бережно как-то, обняла его, и Виктор с удовольствием вдохнул давно, казалось, забытый запах её волос.

В эту ночь они легли спать вместе…

А назавтра… назавтра он узнал (шепнули), что его жена, его Алкеста, делила постель со Стренджелисом.

.....

Всё рушилось. Всё вновь летело в тартарары. Он прикончит эту гниду Стренджелиса! Он расчленит его рыхлую похотливую плоть на части и развеет их по разным эпохам. Ведь у него под рукой "Историк"! Ох, с каким наслаждением Виктор съездил бы сейчас по розовому детскому подбородку этого донжуана. Хотя нет, Стренджелис тут ни при чём. Он, конечно, негодяй, но дело вовсе не в нём.

Что ж, дорогая супруга, на сей раз он будет умнее. У него было полгода для того, чтобы поумнеть! Если она надеется и на этот раз отделаться очередным скандалом – напрасно, он не доставит ей этого удовольствия. Он будет молчать, он даже намёка не подаст. Он по-прежнему будет мил и предупредителен. Ох, как легко быть предупредительным, когда ты РЕШИЛСЯ!

Кровавым светом в мятущемся мозгу Виктора высвечивался страшный план.

Да, да, именно сейчас, пока идёт отладка метода, пока новый блок "Историка" не загружен программными испытаниями, пока не регламентирован каждый жест испытателя, пока нет строгого контроля – именно сейчас есть возможность провести неплановую транспортировку.

Сколько же лет они знакомы? Так, четыре года – в супружестве и около двух – до. Когда же? Вспомнил! Четвёртое июля. День рождения мамы. Все в сборе, а он спешит к своей новой знакомой. Это второй день их знакомства…

В каком-то диком азарте произвёл он все необходимые расчёты. Позвал жену. Объявил:

– Есть одно заманчивое предложение.

– Какое же?

Она была обворожительна. Розовая туника ниспадала с округлых плеч, лицо дышало свежестью, на тёмных, строго очерченных губах блуждала спокойная полуулыбка.

Как она юна, подумалось Виктору. А! Гори всё синим пламенем! Достаточно вкусил он боли, унижения, войны и мира. Хватит!

И он сказал:

– Есть возможность взглянуть на Каир тысяча восемьсот тридцатого года, – сказал, ясно понимая, что это значит для неё. – Ты, кажется, неравнодушна к Мухаммеду Али…

– Ты шутишь! – просияла она. Куда девалось её всегдашнее самообладание! – Виктор, милый, ты говоришь о путешествии во времени!

– Да, – произнёс он сухо. – Твоя работа, насколько я знаю, связана именно с этим периодом.

– Ой, ну конечно! – она ударила в ладоши. – Вот позавидует Эс Джей, когда узнает!

– Эс Джей?

– Ну да, Эс Джей, мы так зовём меж собой Стренджелиса – Стренджелис Джон, Эс Джей, понимаешь?

– Да, – Виктора передёрнуло. – Но запомни: пока никому ни слова! Сегодня в полночь…

Глаза Алкесты светились от восторга. Сейчас она была похожа на маленькую девочку, перед которой вот-вот должна открыться страшная, волшебная, захватывающая тайна.

– Что я должна делать? А это не больно? И почему в полночь?

– Потому, что всё это только ради тебя, – сказал он и тут же подумал: и ведь ни словом не солгал!

– Спасибо тебе!

Она хотела его поцеловать, но он поспешно поднялся и уже с порога бросил:

– Я жду тебя в лаборатории без четверти двенадцать.

Ровно без четверти двенадцать скоростной лифт доставил Алкесту в отсек, где помещался зимний сад лаборатории. Виктор следил по видео, как она движется среди зелени субтропиков, гигантские стрельчатые листья пальм выгибаются над ней причудливыми дугами, на ней тонкое светлое платье, оттеняющее загорелые ноги.

На мгновение он растерялся. Через несколько минут эта женщина навсегда уйдёт из его жизни… Нет-нет, всё уже решено, отступать поздно.

Строгая, уверенная в себе, она не могла даже предположить, какой план вызрел в его голове.

– Всё готово, дорогая. Пройди сюда, пожалуйста.

Алкеста безропотно ступила в камеру. Похоже, она хотела расспросить его – как ей вести себя, сейчас, при транспортировке, и потом, в чужой стране, и что необходимо будет сделать, чтобы вернуться. Ведь они ничего не обговорили…

Но он не дал ей даже рта открыть. Испугался: вдруг он не выдержит, сорвётся, накричит – и всё пойдёт прахом.

Стиснул зубы, попытался улыбнуться. Его неотступно преследовал её вопрошающий взгляд. Нет, это невыносимо!

Она, в конце концов, решила не задавать лишних вопросов. Виктор всё знает, он пошёл на это только ради неё, он сделает всё как надо…

Транспортировка прошла рядово.

Впрочем, он не мог бы наверняка поручиться, что Алкеста попала именно в Каир тысяча восемьсот тридцатого года.

6

Ночь, слепая, густо замешанная на раскалённой пыли, обрушилась на город. В её глубинах потонули дворцы, лачуги, мечети и кофейни, дома православных и мусульман.

Умерил свой пыл огнедышащий Тифон, однако даже в такие мирные часы его дыхание по-прежнему ощущали на себе тысячи смертных. Разъедая глаза, иссушая лёгкие, насылая на поля и сады тучи насекомых, он один царил над спящим миром.

Люди искали спасения, они забивались в глухие норы, отгораживались от мира мощными стенами, живительные фонтаны возводили в своих опочивальнях – но даже там пребывали в постоянном страхе, смиренно преклоняясь перед всесильным чудовищем.

Неподалёку от резных ворот загородной резиденции правителя Египта лежал человек.

Подобно бездомной собаке, находящей ночлег там, где её сморила усталость, он пришёл сюда ночью и лёг под высокой оградой.

Он долго не смыкал глаз, то и дело поднимая голову и вслушиваясь в ночные шорохи.

Каир давно спал. Отошёл, отшумел праздник Маулид ан-Наби, улеглось веселье по случаю дня рождения Мухаммеда. Отполыхал фейерверк, погасли миллионы благочестивых свечей, разбрелись по шатрам, по окелям паломники.

Не спал лишь один человек. Он лежал у резных ворот дворца Али-паши, весь во власти своих тревожных дум…

– Подсудимый! Вы действительно отказываетесь назвать пункт транспортировки? Это ваше окончательное решение?

Иссиня бледное лицо судьи напряжено; звенящая тишина в зале.

– Да, я отказываюсь.

– Вы отдаёте себе отчёт, что ваши действия могут привести к необратимым последствиям…

– Да.

– …и, следовательно, причинить ущерб не только вашей супруге, по и определённому временному социуму?

– Да.

Неодобрительный гул, суровые лица помощников. И снова голос судьи:

– Подсудимый, на что вы рассчитывали, когда проводили обратную транспортировку – на сей раз вы забросили в наше время ничего не подозревающую девушку, ещё не вашу жену, взяв её из времени до вашего первого знакомства. Неужели вы надеялись, что подмена останется незамеченной?

Будто луч прожектора, взгляд отыскал в зале суда до боли знакомое лицо. Молодое и удивлённое. Прекрасное даже в эти минуты растерянности и страха. Помнится, пронзила мысль: ОНА НЕ ЗНАЕТ ЕГО. ОНА ЕЩЁ НЕ ЗНАЕТ НИЧЕГО.

Его план был поистине дьявольским. Он вырвал из прошлого это несчастное юное создание – как вырывают цветок из благодатной земли клумбы. Он рассчитывал… Хотя нет, на что он мог рассчитывать! Что факт внезапного омоложения его супруги (шест-

надцать лет разницы, чёрт возьми!) не привлечёт ничьего внимания? Или ненавистный Стренджелис не поймёт с первого взгляда, что это не его сотрудница, которую он… с которой… всего лишь несколько дней назад. Или все их общие знакомые смогут уразуметь, как же так вышло, что жена не знакома с собственным мужем? Или её мать, которая имеет привычку названивать ей чуть ли не каждый день… Ерунда! Чушь и бред!

Он был слеп. Он видел только пламя, зарево своей ненависти. Оно полыхало и днём и ночью, не унимаясь ни на минуту, опустошая, выжигая его душу и разум. Так горят в засуху тропические леса – жутко, неостановимо.

"Неужели вы надеялись, что подмена останется незамеченной?"

– Нет, на это я не надеялся.

– Иными словами, вы совершили очередное злодеяние, теперь уже без видимой на то причины. – В голосе судьи звенел металл. – Так? Так, я вас спрашиваю?

– Так.

Взрыв возмущения в зале. Судья встал.

– Суд удаляется на совещание!

…Человек поднял голову. От его мыслей его отвлёк внезапный приглушённый звук. Шаги? Так и есть – кто-то двигался вдоль ограды дворца, там, около самых ворот.

Три мрачные фигуры, будто три духа тьмы, крадучись приближались к калитке.

До его слуха долетели вкрадчивые мерные удары, после паузы стук повторился.

Условный сигнал!

Калитка отворилась без скрипа. Тёмные силуэты один за другим исчезли в её проёме.

Нищий франк – а это был он – поднялся со своего пыльного ложа, поспешно подоткнул полы ветхого халата и, робко переступая босыми ногами, подошёл к воротам. Тронул кольцо.

Калитка оказалась не запертой. Помедлив в явной нерешительности, он всё же толкнул створку и сделал несмелый шаг на запретную территорию.

В неверном свете ночных созвездий его взору предстала мрачная громада королевского сада. Где-то там, в самой её сердцевине, спал великолепный, роскошный, таинственный дворец Мухаммеда Али.

Впереди угадывалось громоздкое сооружение с куполообразной крышей, должно быть, фонтан. Дальше плотной стеной возвышались апельсиновые деревья и смоковницы.

Франк быстрыми шагами преодолел расстояние до фонтана, перевёл дыхание, огляделся.

Сад жил своей непостижимой ночной жизнью, трещали цикады, где-то высоко над головой отчаянно кричала невидимая птица.

Загадочные фигуры, тайно проникшие в сад, словно растворились, растаяли в этой густой, напряжённой, разноголосой темноте. Не слышно было ни шороха шагов, ни обрывков речи, ни иного звука, свидетельствующего о близком присутствии человека.

Стараясь производить как можно меньше шума, он двинулся по выложенной мелким хрустящим камнем аллее – туда, где, по его предположениям, должен был находиться дворец.

Он миновал рощу банановых деревьев и понял, что выбрал правильное направление. Средь огромной ухоженной поляны ему открылось грандиозное сооружение из белого камня: две прямоугольные башни уходили в чёрное небо, темнели закрытые машрабиями окна, фасад украшали резные колонны галерей.

Франк в смятении замер. Вот она, царственная обитель величайшего из смертных!

Зачем он здесь! Что ищет у этих благословенных стен! Какая сила заставила его презреть ужас и ступить в святая святых наместника Аллаха на грешной земле!

Должно быть, и сам он осознал уже всю безрассудность своего поступка, но тут неожиданно приметил, как за узорчатой решёткой в одном из окон второго этажа блеснул слабый огонёк свечи. Затаив дыхание, франк стал следить за движением этого крохотно-

го пятнышка света. Пламя качнулось, погасло, и тут же неясный звук, напоминающий слабый стон, достиг его слуха.

Не упуская из виду загадочного окна, он отступил за мощный ствол смоковницы, замер.

И вдруг увидел – кто-то быстро спускается по широкой дворцовой лестнице. Тёмный силуэт на лунном фоне ступеней. Просторное одеяние, ниспадающее с головы и доходящее до самых пят, давало повод предположить, что под покровом ночи чертоги вице-короля покидает женщина.

Уж не становится ли он свидетелем какой-нибудь тайны – мелькнуло в голове у нечаянного соглядатая. Не лучше ли поскорее убраться отсюда – ведь секреты короля отнюдь не для глаз нищих.

Однако не успел он так подумать, как откуда-то из глубины нижних палат донёсся отчаянный крик, и почти тотчас на верхних ступенях лестницы показались два дюжих субъекта.

Вот один из них указал другому на убегающую женщину, и оба огромными прыжками, будто львы за пугливой газелью, пустились следом.

То тут, то там, в окнах задвигались полотнища света – похоже, в залах дворца были зажжены сразу десятки свечей. Повсюду раздавались тревожные голоса, мелькали призрачные тени – дворец внезапно ожил.

Беглянка тем временем пересекала поляну. Она торопилась, мелькали маленькие ножки, одетые в жёлтые бабуши, складки одежд трепетали.

Тревожно забилось сердце франка – женщина двигалась в его сторону! Прильнув к влажному стволу огромной смоковницы, он заворожённо наблюдал, как сокращается расстояние между гонимой и её преследователями.

Вот уже отчётливо слышны удары мощных ног о галечник дорожки, низкое, прерывистое дыхание злоумышленников.

А бедняжка совсем близко…

Движимый чувством сострадания, он выступил из своего укрытия и, неожиданно для себя самого, крикнул:

– Сюда! Скорее сюда!

Что он делает, мелькнула мысль, она же наверняка не знает его языка! А эти двое… они уже заметили его!

Женщина в испуге остановилась. Растерянность, страх, отчаяние – всё было в её маленькой мятущейся фигуре. Секунда – и она бросилась в сторону, к темнеющей вблизи аллее.

Похоже, она приняла его за сообщника этих мерзавцев!

Погоня длилась, но теперь пышные кроны пальм, каскады аллей и цветников, лабиринт кустарника – все эти роскошества парковой архитектуры – могли даровать несчастной шанс или, по крайней мере, надежду на спасение.

Франк бросился следом, однако не успел сделать и десяти шагов, как его окликнули.

– Стойте! Кто вы?

Голос прозвучал совсем близко.

Сердце остановилось. О чудо! Безумная догадка осветила лицо – он слышал родной язык! А голос – этот голос он узнал бы в тысяче голосов… Где-то рядом, на расстоянии дыхания…

– Алкеста! – стоном вырвалось из его груди. – Но где же ты! Я не вижу тебя! Алкеста!

Ему ещё не верилось… нет-нет, это невозможно!

Но вот меж смоляных стволов неясным бликом означился бледный овал лица.

– Виктор…

В тихом голосе холодок сомнения.

– Да! Да! Посмотри же, это я! Алкеста…

– Ты здесь? – она была рядом, можно было протянуть руку и ощутить тепло её тела. – Но зачем? Зачем? – родной голос звучал отстранённо. – Неужели – пора? Ты пришёл за мной?

Нет, не может быть, она гонит его! Ах да, ей всё известно, она разгадала его план. Сколько должно быть теперь в её сердце ненависти, презрения, сколько злобы…

И вдруг… лёгкое прикосновение. Ласковые руки скользнули по его плечам, лицо окутал давно забытый, тёплый, дурманящий запах…

– Милый!.. – она чмокнула его в коросту губ. – Прости. Я так увлеклась, я совсем забыла… Идём, нам нельзя здесь быть.

Держась за руки, они поднялись в ажурную беседку из тиса. Её купол терялся в плотных облаках ветвей, со всех сторон подступал густой, благоухающий в ночи кустарник.

– Вот – это самое укромное место во всём саду.

Они опустились на скамью с резной спинкой. Алкеста напряжённо всматривалась в черты мужа.

– Боже мой, как ты одет! Что это за лохмотья! И лицо… ты похудел. Что-то случилось? Прошёл только месяц…

– Алкеста! – прервал её Виктор. – Скажи, что ты делаешь здесь, в саду, ночью, одна…

– Спасибо тебе, – она сделала ударение на последнем слове, – я стала свидетелем настоящего заговора!

– Заговора? Какого заговора?

– Против вице-короля! Ты даже представить себе не можешь… – её руки выпорхнули из его ладоней, – впрочем, это долго рассказывать. Виктор, ты не приметил поблизости каких-нибудь подозрительных типов? Я слышала крики…

– Я видел, как двое неизвестных преследовали женщину.

Его слова вызвали в ней бурю восторга.

– Им ни за что не догнать её! – возбуждённо говорила она. – А если догонят… что ж, поплатятся жизнью.

– Алкеста, что ты говоришь!

Она горячо задышала ему в лицо:

– Ага, ты тоже поверил, что под чёрной хабарой скрывается хрупкая девушка? Поверил? Как бы не так!

Виктор был совершенно сбит с толку.

– За кем же они охотятся?

– Охотятся? – Алкеста рассмеялась. – Охотятся-то они за мной. А вот преследуют хитрого Ибрахима, моего доблестного слугу!

– Ничего не понимаю! Ты завела себе слуг?

– А как же! – воскликнула она. – Достаточно я натерпелась, прислуживая мерзавцу аль-Джелляби! Он полагал, глупец, что если заплатил за меня на невольничьем рынке всего два кошелька,

то может обращаться со мной как ему вздумается! Но он жестоко ошибся! – Она кипела возмущением. – Немного зная язык, я могла подслушивать некоторые беседы шейха и скоро поняла, что его дом – это притон заговорщиков. Представляешь! На днях я упала к ногам владыки и была милосердно принята в его семью. Шейх аль-Джелляби понял мои намерения и сегодня ночью подослал убийц. Это его люди гоняются теперь по саду за бедным Ибрахимом. Надеюсь, он сможет с честью встретить наглецов! Виктор, милый, – Алкеста прильнула к мужу, – как я благодарна тебе за это приключение!

– Приключение?! – невольно вскричал он.

– Ну конечно! Я так увлеклась! Мне открылся целый мир! О многом я даже не подозревала… Здесь жизнь, понимаешь, настоящая жизнь. А какие страсти! А мы-то, олухи учёные, препарируем древние пласты в надежде уразуметь, как, чем жили эти люди. Ты дал мне возможность заглянуть им в лицо, понять их веру, заболеть их тревогами, полюбить их, наконец… Спасибо тебе! О! Эс Джей лопнет от зависти! Кстати, как он там? Наверняка, рвёт и мечет… Ведь он отпустил меня всего на четыре дня…

Виктор понял всё. Какой ужас! Она ни о чём, ни о чём не догадывается. Она думает, что всё идёт своим чередом, и в любой момент она может вернуться к своему Эс Джею!

О женщина! Ты опаснее любого заговора, пропасть твоих грехопадений глубже провала вечности! Твой порок губителен для всех, кроме тебя самой! И лишь твоя непосредственность искупает порой все твои недостатки!

– Алкеста, – сказал он, – ты спала со Стренджелисом.

Она осеклась. Он видел, как она сидит с открытым ртом.

– Что? Что ты сказал?

– Ты спала со Стренджелисом, – повторил он.

– Ты… сошёл с ума? Виктор!..

– Я транспортировал тебя во времени, и теперь сам изгнан по приговору суда.

– Нет!!!

Никогда, никогда, никогда не поверит он ужасу, заморозившему её глаза, он не поверит ни единому жесту, ни единой фразе…

– Виктор! – она трясла его за плечи. – Виктор! Скажи, что ты пошутил! Ведь этого не может быть!

Пауза. Долгая. Он не верит и этой паузе.

– Это из-за меня? Скажи, это из-за меня?

И уж, тем более, он не поверит её слезам.

– Значит… что же… возврата нет? Да скажи хоть что-нибудь!

– Не надо истерик, – сказал он. – Жалею лишь, что не отправил вместе с тобой и твоего Эс Джея!

– Эс Джея? Но при чём тут Эс Джей? Эс Джей-то тут при чём!

– Прекрати! Тебе лучше знать.

Виктор ощутил, как судорожно сомкнулись на его запястьях её пламенеющие пальцы.

– Ты… ты подумал… ты мог предположить, что я… Бред какой-то! Виктор, ты решил, что Стренджелис и я… что мы…

Она закрыла лицо руками.

И тут его прорвало.

– Да! Да! Да! Я мог! Я думал! Я решил! Он – твой любовник, а я – твой убийца. Он… он чистоплюй, а я – объект перманентной смертной казни! Казни жёлтого коридора! Ты знаешь, что это такое? Это когда ты скитаешься по эпохам и в каждой обречён на насильственную смерть! Я уже трижды умирал! Трижды! Но только сейчас понял, как это страшно! Я приговорён к бесконечной смерти – из-за тебя!

Он остановился, потому что вдруг понял, что Алкеста кричит. Нет, он не слышал крика, он увидел лишь дико перекошенный её рот и разметавшиеся в ужасе глаза. Она кричала беззвучно.

Виктор обернулся. В дверях беседки стояли двое. Один из них как-то невыносимо медленно, будто во сне, поднял огромную руку и так же медленно опустил её на Виктора. Холодная сталь клинка подрубила тонкую шею, рассекла туловище наискось чуть ли не до самого сердца и там, в кровавом тепле, замерла удовлетворённо.

Верзила отнял влажный клинок, блеснул страшным глазом.

– Виктор… – жалобно позвала Алкеста.

Но Виктора в беседке уже не было.

7

По оплавленному солнцем мелководью брёл человек. Зыбкая слепящая жижа едва доходила ему до щиколоток.

Человек шёл навстречу своей смерти и верил, что всё, о чём он теперь думает, о чём вожделенно мечтает, – осуществится.

Осуществится, ибо он принял РЕШЕНИЕ.

– Встать! Суд идёт!

Просторный зал высвечен ранним солнцем.

Судья со строгим, бледным лицом держит перед глазами листок, читает ровно и как будто умиротворённо:

– Принимая во внимание полное раскаяние осуждённого и его согласие назвать пункт транспортировки, суд постановляет: первое – прервать действие установленной ранее меры наказания и освободить осуждённого из-под стражи в зале суда; второе – запретить освобождаемому работу с устройствами типа "Историк"; третье…

Видение расплывалось, меркло. Сознание судорожно цеплялось за последние ускользающие картины. Он видел тёмные, родные, жуткие глаза, он тянулся к ним, молил о пощаде.

– Алкеста!..

Над безбрежной водной гладью всё выше и выше поднимался гигантский белый шар – будто неумолимая в своей справедливости всевременная карающая длань…

– Прости.

Май 1988 г.

ТУДА, ГДЕ РАССЕИВАЕТСЯ ТУМАН

Рассказ

Эх, чёрт! Ты пьян, дружище! А когда ты пьян, тебе хорошо. Чаще всего. Вот только её глаза, такие хорошие её глаза, становятся серьёзными. Она хочет что-то сказать. Она всегда хочет тебе что-то сказать. Но когда тебе это необходимо, она говорит всякую чушь. А сейчас… сейчас тебе хорошо и без её слов.

"Слушай, друг, налей-ка мне ещё вина". Это вино, что с солнцем и вечерней росою, с запахом дождя над виноградником, это вино, что с весёлым блеском крошечных рубиновых светляков, столь похожих на её глаза, да-да, на её глаза, когда она не сердится, это вино – оно выворачивает душу и делает добрым сердце, оно дарит тепло и рождает в твоём заскорузшем нутре тихую радость.

Ты благополучен. Твоё благополучие вредит только ей. Ах, как она гремит горшками у плиты! И эти глаза… Да, эти глаза!.. А может быть, ты для того и пьёшь это вино, чтобы увидеть её глаза такими? Сейчас они терпки, как настоянный хмель, и колючи, как репей, прилипший к порткам. Да они пьянят сильнее, чем это вино! Ах, эти её глаза!..

"Слушай, друг, плесни ещё в стакан. Что-то не идёт у нас веселье". На лугу в траве играет кобылица. Трётся лощёной спиной о примятую зелень… Её муж пришёл с поля усталый и сейчас не бьёт копытом в тесном стойле. Он горд своей усталостью и не ропщет на судьбу. К чему роптать на достаток?

Пусть перевернётся мир, лишь бы не перевернулся кувшин с вином! Стакан холоден, как ноябрьский дождь. А ты пьян, пьян, пьян. Ты пьян, дружище…

Почему твой друг грустит? Ты знаешь его жену, она хорошая баба. Почему твой друг грустит? Пусть пьёт, и вы трое – он, ты и вино – споёте чудесную песню. Э-ээ-эээх!..

А её глаза уплывают от тебя, и ты должен догнать их. Нет-нет, так же нельзя, ты должен их догнать! А то они уплывут туда, где собирается туман, а там, сколь ни иди, всё одно – туман да туман… Ха! Да нет. Мы же не хуже лошадей. Мы не пойдём от своих стойл. Мы не уйдём от своего достатка. Мы будем жрать пре-

сную похлёбку и запивать её кислым вином. И мышцы наши не ослабеют от этого, и бабы наши нас не разлюбят.

Эх, до чего же криво устроен мир! Он изогнулся сам и изогнул тебя, дружище. А ты, изогнутый, глотаешь эту кúсель и не смеешь роптать. К чему роптать на достаток?

"Не спи, приятель, лучше разлей остатки. Да и… к чертям такое веселье!"

Пусть хоть кто-нибудь скажет мне, знает ли он, сколько нужно выпить, чтобы постичь тайны мироздания? Никто не знает. Все удивлены. Вот и ты, брат, не знаешь. И пьёшь, пьёшь… А если бы встать вот так, во весь рост, расправить плечи и гаркнуть что есть мочи: эге-гей! вы там! вашей гадостью прёт, что невозможно дышать! невозможно дышать… Нет. Трудно так встать. Да и вообще уже трудно стоять. Ты пьян, дружище, пьян. И приятель твой не трезвее тебя… И не ответят ли нам оттуда, что нам и к своей вони принюхаться нелишне? Свою гадость ощутить. Да так, чтоб скоробило, чтоб наизнанку вывернуло… Скажут так. Скажут наверняка. И будут правы. Сто раз правы. И поэтому ты смотришь на красное как кровь вино, красное как твоя кровь, как кровь твоего друга вино, смотришь и чувствуешь, что набухшие твои глаза наполняются тёплым, чем-то неожиданно тёплым… и тут ты видишь то, чего не видел уже столько лет. Слеза падает в кровь, а ты уже физически ощущаешь тепло следующей.

Нет, так не пойдёт! Ты глотаешь своё вино, свою кровь, свои слёзы. Но твоя горечь от этого не становится меньше. И тогда ты не выдерживаешь…

Глотнув рыбьим ртом парной воздух, ты выбрасываешь своё тело из постылой хаты и идёшь, идёшь, пока ноги не перестанут чувствовать землю, пока звёзды над головой не превратятся в холодных, мокрых медуз, от липких щупалец которых уже никуда не деться, не оторвать их ядовитые присоски от воспалённого тела. И когда ты падаешь, обессиленный, приходит тишина. А эту тишину ты уже не тревожишь, ибо это твоя тишина, это – тишина твоего избавления.

И лишь по истечении вечности, которая досадно сжалась в одно короткое мгновение, приходит голос. Ты узнаёшь этот голос. Этот голос – весь словно порождение вечности, он был всегда и всегда будет. Ты разлепляешь непослушные веки и смотришь в её глаза. Ах, эти её глаза! Они сердиты, они прекрасны, как и вчера. А может, вчера ещё не кончилось? Впрочем… вся твоя жизнь – сплошное вчера.

Ты встаёшь и идёшь за этими глазами. Они ведут тебя туда, где уже рассеивается туман.

ВСЕЛЕНСКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Почти фантастический рассказ

В школу он шёл со своим приятелем. Приятель у него весёлый. Весёлый настолько, что учителя постоянно грозятся рассадить их по разным партам. Как будто это может что-то изменить. Как будто кто-то из них специально издевается над учителями и "не понимает, какой это адский труд – воспитывать таких охламонов". Как будто… Эх, да что там говорить! Одно расстройство с этими взрослыми. И, потом, разве можно не смеяться над теми рожами, которые строит его сосед? Разве можно оставаться спокойным, когда он так уморительно копирует учителя, отвернувшегося к доске, учителя, старательно выводящего смешные закорючки? Разве можно тут же, на первом уроке, не обсудить интереснейший вчерашний матч между местной и приезжей командами? Нет, конечно же, нельзя! Никак нельзя! Но вот учителя этого не понимают. Словно они сразу же родились учителями и никогда не били никого книжкой по голове в ответ на предательский щипок с задней парты. Словно они сразу носили очки и говорили нудными голосами свои нудные наставления.

Вот и вчера опять учительница попросила его пригласить в школу маму. Зачем? Мама и так всё знает. Мама знает, какой он "непоседа", "невыдержанный", "лентяй", "непонятноочёмдумающийвовремяуроков" и "витающийвоблаках". Мама также знает, что "с ним одно расстройство", что "от него никакой помощи по дому", что он "просто маленький эгоист, из которого в будущем непременно выйдет большой". Мама всё это знает.

Мама только не знает, что её опять вызывают в школу. Мама не знает, что ей опять предстоят неприятности. И мама пока ещё не знает, что она ничего об этом не знает. Ведь вчера он ничего не сказал ей. Вчера мама была весёлой, и ему не хотелось её расстраивать из-за таких пустяков.

Но сказать, видимо, всё-таки придётся. Учительница всё помнит. Она помнит каждую мелочь. Она запоминает каждую его провинность. Она хранит в памяти любую его шалость и всякое непослушание. И уж сегодня она обязательно спросит: "Ты при-

гласил ко мне свою маму?" И сегодня опять она будет его ругать. Сегодня, как и всегда, у него будет несчастливый день…

…Из школы он шёл со своим приятелем. Приятель у него весёлый. Весёлый настолько, что учительница сказала: "С завтрашнего дня вы будете сидеть порознь. А ты пригласил ко мне свою маму?"

Ему нечего было ответить и он промолчал. Ему нечего было ответить и он только опустил голову. Ему ничего не оставалось делать, как пригласить в школу маму…

Вечером за ужином он всё рассказал маме. Он всё рассказал маме и почувствовал себя виноватым. Он всё рассказал и ушёл спать.

Мама ругалась за дверью. Она не входила в его комнату, где уже был погашен свет. Мама ругалась в другой комнате и потом тихонько плакала. Ему тоже очень хотелось плакать, но он не плакал. Он заставлял себя не плакать и смотрел в тёмное окно.

За окном густела ночь и вспыхивали звёзды. Звёзды были маленькими и добрыми, словно глазки неведомых космических зверушек. Они подмигивали ему, и от этого на сердце становилось чуточку теплее.

За окном была ночь.

Мама уже не плакала. Она что-то делала на кухне, и до него доносилось только негромкое побрякивание посуды.

И вдруг он увидел планету. Планета плыла за окном в чёрном однообразии Вселенной. Зверушки-звёзды подмигивали ей, и планета улыбалась. Была она голубая и совсем близкая. Такая близкая, что, казалось, до неё можно дотронуться рукой. Он подумал: "Когда стану взрослым, обязательно полечу на эту планету. На ней наверняка нет сварливых учителей и скучных учебников. А когда вернусь, мама будет плакать, но плакать не от горя, как теперь, а совсем наоборот. И я скажу маме: это наша планета, я открыл её, и теперь мы будем жить там. Я назову её твоим именем".

Так он думал, смотрел на голубую планету и не заметил, как уснул. В комнату вошла мама. Она хотела было поправить сбившееся на сторону одеяло, но остановилась, залюбовавшись своим

сыном. Он сладко посапывал, свободно раскинув все свои четырнадцать ног и уткнув в подушку скрюченный хоботок. Шесть глаз его были закрыты, ровное дыхание чуть слышно блуждало у полуоткрытых губ. Её мальчик спал.

Мама тихонько улыбнулась, дотронулась до мохнатенькой головки сына и, подтянув одеяло, покинула комнату.

За окном, в чёрном однообразии Вселенной, плыла голубая планета. Она звала к себе, протягивала тонкие лучики-руки и, так же как и мама, ласково улыбалась.

Спящий мальчик ещё не знал, что эта планета уже имеет своё имя. Может быть, странное для его слуха, но не менее прекрасное, чем имя его мамы.

Планета называлась Земля.

ХЕЙ, КРОШКА!

Рассказ

"Как хорошо, – думал Микки Мелл, – что эту штуку изобрели при моей жизни. Тысячи людей до меня пребывали в полётах в грусти, а частенько и в одиночестве, без друзей и близких, без милых сердцу уголков природы, просто без любимых вещей. Но уж теперь… Слава богу, что всё это сотворено при мне. А следовательно, и для меня".

Микки Мелл щёлкнул выключателем гравитационного кресла и поплыл в камеру, где находился материализатор.

Эту адскую машину он ещё не вполне освоил, однако она манила его к себе, как манит утомлённого путника пустынный мираж. Разница была лишь в том, что сей аппарат не был иллюзией, созданной теплом и воздухом, но существовал вполне реально, причём совсем рядом – в примыкающем отсеке.

Микки Мелл продрался сквозь дебри проводов к площадке управления и углубился в отбор картин, возникающих в его жаждущем мозгу.

Первым видением была Ченси. Но её он оставит на закуску. Эту милашку он пригласит к себе домой. Хотя нет… Тут нужна обстановка поэкстравагантнее. Может, отгрохать особняк? Где-нибудь за городом. Природа располагает… к чувственным беседам.

Микки Мелл выбрал природу. Лужайка у пруда? Неплохо. Яхта? Нет. Он не умеет ею управлять. Уж лучше они сыграют в теннис. Хо! А ведь это идея! Так. Кресла, столик, прохладительные напитки. Солнце, трава, ракетки. Ах да, и Ченси, конечно.

Микки Мелл вздохнул и коснулся рукой клавиши материализатора…

– Хей, крошка!

– Микки?

– А кого бы хотелось тебе?

– Здравствуй.

– Ха! Да ты не рада!

– Нет, отчего же.

– Почему ты не спрашиваешь, где мы?

– Здесь мило…

– Да, недурно.

– Ты сегодня такой… весёлый.

– Я получил наследство.

Ченси состроила гримаску.

– Расскажи это своей бабушке.

– Мёртвые неважно слышат.

– У тебя умерла бабушка?

– А ты можешь указать другие причины моего веселья?

Микки наклонился над столиком: – Тебе шипучего?

Ченси пожала плечами: – Налей, если хочешь.

– Теперь ты можешь ко мне приходить, милая.

– На эту лужайку?

– Ты всё узнаешь после.

– У тебя умер кто-то ещё?

– Оставь мою родню в покое. Разговор о тебе. Ты согласна?

– Я подумаю.

– О'кей. Можешь переодеться, мы будем играть в теннис.

– Ты умеешь играть в теннис?

– Это не имеет значения. Я жду.

Между сетами они обменивались малозначительными фразами. Потом был душ. Микки слегка устал. Ченси вышла в длинном белом платье. На столике парил чёрный кофе.

– Ты не обманул меня с бабушкой?

– Верить полезно через раз.

– Ясно. Я сразу догадалась.

– О чём?

– Обо всём. Чей это сад?

– Мой.

– Ты смешон.

– Я влюблён.

– В меня?

– В бабушку.

– А ну тебя…

Девушка откинулась в кресле. Её лицо было спокойно. Микки достал со льда бутылку вина.

– Давай-ка лучше выпьем. Ты же любишь.

Ченси кивнула: – Мне красного.

Выпили. Микки пересел в другое кресло. Поближе к Ченси. Ченси любовалась садом. В бокале искрилось вино.

Микки поцеловал её плечо. Ченси вздрогнула.

– Ты что?

– Где твоя родинка?

– Какая родинка?

– У тебя на шее, вот здесь, была родинка. Маленькое тёмное пятнышко. Где оно?

– Я не знаю.

– А я знаю. Ты не Ченси!

Микки резко встал. Чашечки с кофе на столе жалобно звякнули. Ченси улыбнулась.

– Кто же я? Твоя бабушка?

Не говоря ни слова, Микки взял совок для льда, поднял его над головой и с силой ударил девушку в висок. Та вскрикнула и упала в траву. Микки медленно отвёл глаза от бездыханного тела.

Его трясло. Он с трудом нащупал на ручке совка маленькую кнопку. Непослушные пальцы сжали совок.

Микки Мелл стоял на площадке управления. Перед ним высился материализатор. Где-то за бортом проносились чужие миры. Мимолётно ослепляли своим светом и рассыпались в бескрайности Вселенной…

Микки вытер пот, пожевал губами и, не раздумывая дольше, нажал клавишу материализатора.

– Хей, крошка!

– Микки?

– Да, это я.

– Здравствуй…

Перед ним стояла улыбающаяся Ченси.

ФРЭДДИ

Просто шутка

Фрэдди шагал по чёрному базальту. Плато ширилось насколько хватало глаз. А Фрэдди уже не хватало сил. Он с трудом двигал ногами и руками. Голова же не двигалась вовсе. Она набухла и, казалось, застряла в шлеме скафандра. Ядовитая атмосфера, окружавшая путника, навевала печаль.

Фрэдди с отвращением отмечал поразительное однообразие раскинувшегося перед ним ландшафта…

Он шёл; единственным звуком, нарушающим безмолвие этой пустыни, было его дыхание. С каждой минутой оно делалось всё громче, утяжелённей. Вдохи становились короче, выдохи же поднимали лёгкие чуть ли не к самому горлу.

Фрэдди решил сделать привал. Он остановился и тут почувствовал, что у него зачесался нос. Он щёлкнул тумблером на нагрудной панели и только после этого вспомнил, что авточесалка отказала ещё неделю назад. Починить всё никак не доходили руки. Потерплю, решил Фрэдди.

Прошла минута, однако зуд, похоже, вовсе не собирался ослабевать.

Фрэдди знал: любой из известных человечеству способов чесания носа в настоящих условиях неприменим. Он скрипнул зубами и попробовал пошевелить этим доставляющим столько хлопот украшением своего лица. Это ему удалось, но не убавило неприятного ощущения.

Фрэдди готов был заплакать.

Он сел в вековую пыль, зажал шлем руками и попытался дотянуться носом до неподвижного автомата. Нет, все усилия были напрасны. Вдобавок, зачесалось ухо. Фрэдди застонал и упал навзничь. Теперь уже чесался лоб и, кажется, готовился к тому же левый глаз.

"О боже! – возопил несчастный Фрэдди. – Да что же это, о боже!" Он катался по чёрному базальту, стенал и плакал, проклинал конструкторов авточесалки и несправедливо маленькую длину собственного носа…

.....

Где-то у далёкого горизонта высветилась оранжевая полоска. Это восходило одно из восемнадцати здешних солнц.

Через некоторое время раскалённый бок светила показался над чёрной равниной. Белые лучи лизнули корявые магматические наслоения, покатились по базальтовому плато и вскоре достигли фигуры маленького человека Фрэдди.

Фрэдди лежал на спине словно разомлевший от солнца курортник. Шлем был снят, пальцы правой руки крепко сжимали нос. Спокойное лицо озаряла счастливая улыбка.

Фрэдди был мёртв.

МНОГОЛИКАЯ

Рассказ

К Андрейке во снах приходила любовь. Была она розовощёкой, с непослушной чёлкой-козырьком, в маленьких руках держала совочек и расцвеченное алыми маками ведёрко.

Андрейка долго собирался с духом и вот, наконец, открывал рот. "Пш-шёл отсюда, – слышал он любимый голос. – А то как врежу!" И он отступал.

"Ты очень неспокойно спишь, – говорила ему утром мама. – Раскрываешься весь, возишься, словно возуха. Уж не знаю, что с тобой и делать". Мама вздыхала, под эти вздохи они собирались, и Андрейка отправлялся в садик. "Будь сегодня умницей, – говорила мама на прощание, – не дерись со Светой. Чего ты за неё взялся? Хорошая девочка… Ума не приложу, почему ты её так невзлюбил? Надо же, вздумали драться лопатками. Чтобы этого больше не было! Слышишь?"

"Легко говорить, – думал Андрейка. – Как же не драться, если любишь?.."

.....

К Андрею во снах приходила любовь. Любовь эта – две смоляные косы, кнопка носик и вот такие глазищи. С ума сойти можно. Учителя, будто немые, открывали беззвучные рты, но Андрей слышал только странный шум в своей голове. "Это шумит любовь, – говорил он себе. – Да, именно так и шумит любовь".

"О чём ты думаешь на уроках? Что у тебя в голове? – наивно вопрошала мать. – Кто за тебя будет учиться?"

"Столько вопросов, – размышлял Андрей, – и ни на один отвечать неохота. Не рассказывать же, в самом деле, что у меня в голове. А что касается учёбы… так ведь я учусь. Я учусь любить".

.....

К Андрею Александровичу во снах приходила любовь. Сия любовь имела выщипанные брови и химзавивку. На Андрея Александровича она глядела с недосягаемой высоты собственных каблуков.

"Что за ужасы тебе снятся? – удивлялась утром жена. – Ты так взбрыкиваешь, что едва не роняешь меня с кровати. Сходи к доктору, проверься, я вся измучилась".

"Куда идти… – вздыхал про себя Андрей Александрович. – Эта болезнь докторам не подвластна. Есть лишь одно существо на Земле, которому под силу избавить меня от ночных страданий. Это она. Она…"

.....

К папе Андрею во снах приходила любовь. Она носила узкую юбку, тонкий строгий свитер и профессорские очки, которых почему-то очень стеснялась.

"Папа, – сердилась утром дочура. – Шут с ним, к твоему храпу мы уже кое-как привыкли. Но последнее время ты такие спектакли закатываешь – просто театр одного актёра. Монолог за монологом, ей богу. Даже мама от тебя переселилась".

"Посмотрим, – пыхтел, разыскивая под диваном тапочки, папа Андрей, – как ты заговоришь в мои годы".

И – найдя то, что искал, – но уже гораздо тише: "Я с удовольствием принял бы в свой театр ещё одного актера, да жаль – все штатные должности заняты".

.....

К деду Андрею во снах приходила любовь. И была она многолика. Вот – с непослушной седой прядкой у виска, такое милое и родное – лицо жены. А вот, непонятно в кого курносое, с бусинами глазёнок – личико дочурки.

А вот… вот ещё одно личико – сморщенный кулачок. Младенца назвали Андрейкой. В честь деда. Сегодня он смотрит свой первый сон. Что он там видит? Скоро, должно быть, и к нему придёт любовь.

ЧЁРТИК ФИЛ И ЛЮБОВЬ

Рассказ

– Привет, Фил!

– Здравствуй, Эдвард.

– Как поживаешь, старина?

– Ничего. Живу.

– Эх, какой ты, парень, скучный. И гостя вот на пороге держишь. Разве так гостей встречают?

– Проходи, да, проходи, конечно. Вот там разуйся и проходи.

– Зачем разуваться! Я на минутку. Забежал попросить у тебя деньжишек. Я знаю, ты свой парень, не откажешь. Это другие – жмоты. Ужасные жмоты, Фил. А ты не такой. Я знаю. Так дашь деньжишек-то?

– Дам, Эдвард.

– Вот! Я и говорю: Фил обязательно даст. Он их в наволочку не зашивает и паркет под это дело не портит. Фил – парень что надо. Фил мой друг и это все знают! Дай-ка мне твою лапу, я пожму её как следует.

– Тебе сколько?

– Что? А… я думаю, пять зелёненьких хватит… как всегда… я думаю.

– Я сейчас.

Фил уходит в комнату, а Эдвард достаёт сигарету и прикуривает её не с того конца. Яростно плюётся, чертыхается, бросает сигарету и гасит её прямо на полу. Потом замечает зеркало, подходит к нему и смотрит на свою бледную, чуть расплывшуюся от выпитого физиономию. Извлекает расчёску, со знанием дела наводит порядок в красивых, по-юношески вьющихся кудрях, подмигивает своему отражению в зеркале и отступает назад, к двери.

Возвращается Фил. Он принёс деньги. При виде желанных бумажек Эдвард икает, говорит "оп-ля-ля!", потом прячет руки за спину и с нотками самобичевания в голосе восклицает:

– Нет, Фил, нет! Я буду последним негодяем, если возьму эти деньги. Фил, ты меня не знаешь! Я для друга… Да что говорить! Собирайся, пойдём. Там все наши: Чарли, Фрэд, Нойкенс и даже тот Малыш из конторы, что наверху. Пойдём, не пожалеешь. Какой стол! Какая музыка! А девочки, Фил, а? Пальчики оближешь.

Фил опускает некрасивое лицо.

– Ты извини, Эдвард, но я…

– Чего ты извиняешься, чудак! Я же говорю: там все наши – Чарли, Фрэд, Нойкенс…

– Не могу я, Эдвард.

– Ах да, я и забыл, ты же у нас женоненавистник… Странный ты, ей богу. Всё сидишь тут взаперти. Чего выси… – икает, – высиживаешь-то? Тайная жизнь, она, знаешь… люди этого не любят. Ты как этот… тот, который в раковине живёт… ну, не в той раковине, которая… а которая в море. Ай да ну тебя! Как хочешь, плесневей тут заживо, таись, мать твою!.. Давай деньги-то, чего замер? Вот так.

Эдвард поворачивается уходить, но с размаху делает круг больший, чем нужно. Фил снова перед ним.

– Нет, Фил, я за тебя возьмусь!

Фил улыбается.

– Старушенция ты моя… – тянется к нему Эдвард. – Дай-ка я тебя укушу.

Фил отстраняется:

– Не надо, Эдвард. Ты иди. Я не могу. У меня тут… Я не один.

– Карамба, – говорит Эдвард. – Если я закрою этот глаз, то ты один. А если открою, то – верно, не один. Ох и ловчила ты, Фил!

– Я не один, – повторяет Фил, – у меня женщина.

– Если я закрою… Что? Что ты сказал? Ка… какая женщина?.. То есть, ты хочешь сказать… Ой, Фил, уж лучше бы ты меня ударил. То есть как это – женщина? Что значит – женщина? И почему эта женщина – у тебя? И вообще, знаешь, Фил, я тебя очень люблю, но вот когда ты начинаешь врать… Что ты так смотришь? Хочешь сказать… Ну-ка, ну-ка, дай я одним глазком… Дай, дай, я второй закрою. Пропусти же меня, бабник несчастный.

Он уже в комнате, где письменный стол, кресло, стул, большой книжный шкаф.

– А где… – начинает было Эдвард, но тут замечает Её.

Она стоит по ту сторону цветастой занавеси, отделяющей комнату-кабинет от спальни. Свет ночника падает на её стройную фигурку, и на тонкой ткани чёткой границей света и тени означились:

а) точёный девичий стан;

б) тонкие, гибкие руки;

в) плечи, округлые и покатые;

г) божественная головка (на божественной шейке);

д) да мало ли чего ещё!

Женщина раздевается. Вот отпущенные лёгкой рукой падают на плечи чудесные волосы, вот превращается в лужицу на полу у ног её платье, вот грациозным движением освобождена прелестная грудь (грудь и вправду была что надо), пальцы скользят ниже…

Эдвард сегодня пил и ему удалось расслабиться. Собраться ему не удалось.

– Закрой рот, Эдвард, – Фил рядом.

Эдвард почему-то вдруг начинает пятиться, трясти головой и прочая. Удачно не опрокинув ни одного стула, ретируется в прихожую и ещё дальше и притворяет за собой дверь. Так вот ушёл.

Фил бросается в комнату, зажав рот рукой. Его распирает от смеха. Его просто разносит от смеха. Он сейчас взорвётся от смеха. Да он уже мёртв – и это всё от смеха.

На лестничной площадке стоит Эдвард. В руке он сжимает пять долларовых бумажек.

Вот чудак.

– Эдди! Никак пустой? – это Нойкенс.

– Как поживает старушка Фил? – это Чарли.

Эдвард подходит к столу, за которым сидит вся компания, берёт бутылку и делает несколько глотков из горлышка.

– Ясное дело – пустой, – это Нойкенс.

– Эд, да что с тобой? – это Чарли.

Эдвард достаёт из нагрудного кармана деньги и бросает их на стол, к пепельнице. Садится.

За столом заметно оживляются.

– Браво, Эдди!

– Живём!

– Ничего, что сам чёртик – баксы у него красивые, зелёненькие.

За столом, кроме Чарли, Фрэда, Нойкенса и Малыша из конторы сверху, Эдвард замечает двух шлюховатого вида брюнеток. Одна из них прилегла ушком на плечо Чарли, другая, отрешённо глядя в пустой стакан, дымит сигаретой.

Свет, музыка, дым – тягучими тёмными пластами.

Чарли подливает Эдварду, улыбается.

– О чём молчим?

– А чего говорить?

– Да нет, я так.

Брюнетка проводит пальчиком по щеке Чарли.

– Потанцуем?

– Угу.

Они уходят. Нойкенс принёс бутылку, отвинчивает пробку.

– Фрэд! Тебе наливать?

– Эмммммм, – Фрэд разлепляет глаза. – Давай, лей, я ещё недобрал.

– По тебе заметно.

– А вот это не твоё дело! – Фрэд со сна не в духе.

– Конечно, не моё, – Нойкенса всегда тянут за язык. – Это дело Сары.

Ну вот. Как всегда, ляпнул. Фрэд, само собой, вскинулся:

– Сколько раз я тебе говорил, недоносок, стручок, оставь Сару в покое! А не то…

– Ну ладно, ладно, – Нойкенс, по обыкновению, задним умом крепок.

Ох и не любит же он, когда его стручком обзывают. А сам худющий, тщедушный – страх. Фрэда боится. Фрэд парень простой, он и врезать может.

Вот и сейчас Фрэд обязательно бы ему врезал. Если бы встал. Если бы смог. Но он не смог. Не встал, выпил и снова погрузился в сон. Счастливый он, Фрэд. Выпьет – и спит. И хоть бы ему что. И вот ведь даже разозлился – ну как же, Нойкенс Сару приплёл! – а всё равно уснул.

С Сарой, с женой, туго у них идёт. Наискось всё как-то. А ведь любят друг друга до безумия. И дерутся так же.

И ведь не так давно всё у них было хорошо. Даже не верится. И с пустяка началось. У Фредова друга жена заболела. Да и не друзья они вовсе, так – знакомы по работе и только, живут рядом. И попросил этот знакомец Фрэда в аптеку сбегать, за лекарством. Фрэд, само собой, побежал. Чего тут особенного, да и аптека-то в двух шагах. Лекарство купил, вышел, и прямо у крыльца аптеки его машиной и сбило. Юнец какой-то, молокосос, травки накурился и в компании таких же дебилов на папином "Порше" летал-чудил по городу.

Но Фрэду повезло. Нога – да и то несерьёзно, да ребро. И всё. На нём – как на собаке. Чуть больше недели полежал, страховку получил и – на работу. Только вышел – бац, Сара, жена, ждала первенца, на шестом месяце была, поехала к подруге на Вест-Плэйс, зашла в магазинчик сладостей купить – какой-то ублюдок с обрезом… Полиция приехала, два трупа, один раненый, у Сары – выкидыш, ребёнок мёртвый. Сама Сара цела, а ребёнок мёртвый. Тоже, считай, повезло. От этого везения и не заладилось у них… И что самое интересное: у приятеля, ну, у того, что по работе, жена на третий день выздоровела, молокососа на "Порше" папа выкупил под залог, параноик в психушке мультики смотрит – а Фрэд вот он, весь здесь, живой, здоровый, прихрамывает разве что, так у него теперь ноги чаще заплетаются совсем по другой причине.

Музыка умолкла – кто-то тут же воткнул новую пластинку. Бар был полон.

Чарли с брюнеткой в отдалении обследовали друг друга на предмет чувствительности эрогенных зон. Вторая брю за столом вся утонула в дыму. Хиросима, подумал Эдвард. Малыш из конторы сверху потерялся в кресле, его ключицы торчали выше ушей. Как манная каша на остывающей плите взбулькивал во сне Фрэд.

Вернулся Чарли.

– Хотите анекдот? – Сел, устроился поудобнее. – Служил в ВВС один парнишка. И у них там испытывали новый супербомбардировщик. И как он ни взлетит – крылья отваливаются. Конструкторы головы сломали, не могут найти причину. Гадают, гадают, а крылья всё отпадывают. И тогда пришёл парнишка этот к своему генералу и говорит: надо в том месте, где крылья к фюзе-

ляжу крепятся, дырок насверлить, да побольше, и всё будет о'кей. Генерал аж побелел. Ну и влепил парнишке кучу нарядов вне очереди. А самолёты всё падают. Генерала в Вашингтон вызвали и дали нагоняй. Прилетел он назад и говорит: слушай мою команду! всем сверлить дырки! Дырок насверлили, самолёт взлетел – всё нормально. Летает – крылья целы. Испытания закончились, генерал спрашивает: где рядовой такой-то? Ему докладывают: сортир драит. Сюда его, немедленно! Привели солдатика. Генерал: а ну признавайся, мать твою, как ты узнал, что нужно дырки сверлить? А я, сэр, отвечает тот, давно обратил внимание, как ни приду в сортир по большой нужде да начну бумагу от рулона отрывать, так по тому месту, где дырочки – никогда не рвётся.

Нестройно гоготнули. Выпили. Эдвард и говорит:

– Слушай, Чарли. Я вот ходил когда… в общем, у Фила женщина.

– Женщина? – вскинулся Малыш.

– Не понял, – говорит Чарли, – в каком смысле – женщина?

– Ну, в каком смысле… в прямом. С грудью, клитором и всем прочим.

Чарли захохотал.

– Да ну тебя!

– И они там, – Эдвард облизнул губы, – занимаются любовью.

– Иди ты!..

– Нет, я серьёзно. Я ведь был там и всё видел.

– Брось! Чтобы Фил… – Чарли замотал головой. – Нет-нет, ты что-то напутал.

– Она красивая? Ты разговаривал с ней? – это опять Малыш.

– Нет, не разговаривал. Я только видел, как она раздевалась.

– Раздевалась?! – Малыш аж в кресле подпрыгнул.

Вот весь он в этом – Малыш. Тише воды, ниже травы, но уж если речь заходит о женщинах…

– Но ведь у Фила никогда не было женщин!

Эдвард пожал плечами:

– Теперь есть.

За столом – шум. Новость, что и говорить, сногсшибательная. Дело в том, что Фил слыл отпетым женоненавистником. Эдвард

этому, правда, не очень-то верил. Всё-таки он немного знал Фила… Но такова была репутация этого человека. О Филе ходили легенды.

Пуще всех суетился Малыш. Всевышнему было угодно вдунуть в это крохотное тельце недюжинную – и любящую, и страдающую – душу.

Тяга Малыша к женщине была прямо-таки патологической. В любую минуту он был готов отдать всего себя за один взгляд, за один кивок, за одно прикосновение женщины. Но судьба распорядилась иначе: в этой жизни Малыш страдал исключительно от женского безразличия и коварства. Страдал. Терпел. Любил. И не одну, а всех сразу.

Эдварду случилось быть очевидцем одного скандального происшествия, после которого, собственно, Малыш и влился в их компанию. Как говорит Чарли: несмотря на свой карликанизм, сделался заметной фигурой.

Но прежде два слова о Малыше. Рос он без матери, мать бросила их с отцом, когда Малышу не было и трёх лет. Его отец работал в картонажной мастерской лекальщиком и, на удачу, не пил, не гулял – заботился о сыне и носился с ним, как еврей с антисемитизмом. И надо же такому случиться – Малышу шёл тогда тринадцатый годок – окрутила отца одна молодая стервоза. Отец за эти годы, видно, стосковался по женской ласке, совсем потерял голову, загулял, даже ушёл с работы. Короче, жизнь пошла весёлая. Призор за Малышом ослаб, – а чёрту, говорят, и игольного ушка достаточно, – Малыш стал хуже учиться, проявились у него и дурные наклонности, не на сексуальной, правда, почве. (Но и мальчиком Малышу оставалось быть недолго.)

В один чудный летний вечерок, когда папаша его лежал в объятьях Бахуса, Малыш был дома и то ли книжку читал, то ли коз из носа выуживал. И стервоза эта была тут же. Единственный мужчина – в отключке, сидела она, сидела и от скуки решила с ним, с Малышом, на какую-нибудь тему поговорить. А у Малыша как раз на уме была одна тема. Та самая, которая и теперь. Только теперь она выросла в Тему с большой буквы, а тогда была ещё так себе,

просто тема, темочка, интересик такой. Он, Малыш, всегда был любознательным мальчиком.

Стервоза, дамочка умненькая, поговорив с Малышом о природе и о поэзии, перешла на девочек. Что да как, не завёл ли он ещё себе подружку. А Малыш возьми да ляпни: я, говорит, девочек обожаю, но по причине моего маленького роста ни одна уважающая себя девочка дружить со мной не станет. А вот и станет, сказала умная дамочка, я вот и себя уважаю, и с тобой дружить хочу. Ну, это совсем другое… сказал Малыш. А вот и не другое, сказала дамочка. И не только сказала, но прямо тут же, здесь же и показала. Да так убедительно, что Малыш на всю жизнь запомнил. Папаша проснулся, – не в этот раз, позже, – дамочке нос сломал и что-то там ещё, но это не главное. А главное то, что после того памятного вечерка Малыш осознал, для чего он живёт и что есть главная цель и радость его жизни. А также и главная её проблема.

А теперь – о происшествии, наделавшем столько шуму.

Был тогда Малыш уже взрослым мальчиком. Было ему уже что-то около тридцати. А друзей у него ни среди парней, ни среди девочек как-то всё не было. И решил он одним ударом разрубить этот гордиев узел своей жизни. Устроить вечеринку.

Пригласил он без счёта гостей обоего пола – отца он отправил навестить сестру, малышову дальнюю тётку, и по этой причине квартира была в полном его распоряжении. Выпивка, закуска – в ассортименте. Денег потрачено – сколько удалось заработать, скопить, занять. И была у Малыша тайная мысль. Нравилась ему одна девушка, – многие, очень многие нравились, но эта почему-то особенно, – так вот, эта девушка незадолго перед этим дала ему понять, что она не будет против, если он пригласит её потанцевать и даже позволит ему пару раз, если только не взасос, а может быть – вот! вот оно, несбыточное, долгожданное! – может быть разрешит что-то ещё, то самое, если… ну, в общем, если он выполнит её небольшую просьбу. Малыш пытался выяснить, о чём, собственно, речь, но было сказано: придёт день (то есть вечер) – и будет объявлено.

Пришёл вечер, пришли гости, и уже музыка, и уже танцы, одним словом, скелет мечты постепенно обрастает плотью. Со спаз-

мами в желудке Малыш подходит к избраннице и, будучи отведён в сторонку, узнаёт суть… ах, лучше бы он этого не слышал. Девушка, краснея и запинаясь, сознаётся ему в том, что он ей очень нравится и она даже готова… только с ним и до последней черты… но, имея печальный опыт физической недееспособности своего первого жениха, хотела бы сперва удостовериться, что он, её новый кавалер, не посрамит рода мужеского, потому как она – случись такое вторично – этого уже и не переживёт. Короче, он должен купить ночь первой попавшейся падшей женщины и тем самым доказать суженой, как очевидцу, свою деятельную любовь.

Малыш в смущении, Малыш в отчаянии, они садятся в её машину и едут туда, где, по её словам, такие женщины промышляют. Как, сколько времени и куда они ехали, он не помнит, помнит только, что когда она сказала "Вот!", он увидел жутко размалёванную бабцу, а подальше – ещё и ещё. Было душно, он открыл окно, лицо этой гетеры тут же приблизилось, и она спросила, не скучает ли мальчик. Он вышел из машины, чтобы пропустить шлюху в салон, а может быть и для того, чтобы убежать, но в этот момент был задан вопрос: не пробовал ли он вчетвером, а то тут у неё ещё две подружки… Он пытался протестовать, но был уже как бы и не в себе, и вот уже машина, полная порочной плоти, несётся по тёмным городским улицам.

И потом был дом, – какой, чей, он не знал, – и была кровать, и его заставили надеть кожаные ремни и затолкнули в рот большой красный шар, и эти трое привязали его руки и ноги к спинкам кровати, а сами – нет, это ж надо! – сами исполняли вокруг него какой-то древний мазохистский танец. И он помнил только, как он метался, что-то кричал, высовывал язык, и дважды была поллюция, а когда он устал, то почему-то зажёгся яркий свет, и он увидел, что все его гости стоят тут, вокруг этой осквернённой кровати, и неистово аплодируют. И шлюхи были не шлюхи, а подружки его невесты, а его комплексующая возлюбленная была главной зачинщицей и мозгом всей этой вакханалии, и гости-то пришли только чтобы не пропустить такую комедию, и он был один, голый, привязанный к чужой кровати в чужом доме, под палящим

солнцем циклопической люстры, весь – в уличающих его каплях мутной росы своего сладострастия.

Вот такие вот развлечения у современной молодёжи. Занавес опускается, зрители покидают зал.

После этого случая долго расходились круги, кто-то возмущался (нашлись и такие), кто-то посмеивался, Малыш превратился в любимца публики, и это, должно быть, помогло ему пережить весь ужас унижения и бог знает что ещё. Внешне же он был по-прежнему кроток, застенчив и, как всегда, реагировал только на кодовое слово "женщина".

В баре было шумно, и Эдвард не сразу понял, что началась драка. Когда они подоспели к месту, где уже собралась толпа, то увидели, что, собственно, никакой драки нет, просто Айк Верзила Дайсон, механик с бензоколонки "Рэст", бьёт ихнего Нойкенса. А поскольку известно, что на наковальню к Айку лучше не попадаться, то, выручив Нойкенса, они с Чарли ещё долго удивлялись, как это им удалось спасти так много. Айка не сразу, но удалось унять, Нойкенса же, едва держащегося на ногах, отволокли на своё место, и с этим всё было сложнее. Он, как всегда, огрызался, и, как всегда, обидно, и у Эдварда даже возникло желание добавить этому Нойкенсу.

– Давай его домой отвезём, – предложил Чарли. – На фиг он тут такой нужен.

– Ага. И там сделаем ему операцию, – сказал Эдвард.

– Какую операцию?

– Отрежем ему язык.

– Яйца лучше себе отрежьте, – пробулькал Нойкенс, размазывая по лицу кровавые сопли.

– На, утрись, – Чарли подал ему носовой платок. – Эдвард прав. Вечно тебя за язык дёргают. Чего тебе от Айка надо было?

– Он ещё своё получит… Ему зачтётся… – зло бубнил Нойкенс и косил чёрным глазом в ту сторону, где должен был находиться его обидчик.

– Идём, – сказал Чарли Нойкенсу. – Вставай, идём.

– Да отвяжись ты! Никуда я не пойду.

– Оставь его, Чарли, хрен с ним.

Нойкенса оставили. Это самое лучшее: оставить Нойкенса в покое. Поговорка такая есть: не тронь дерьмо – не завоняет. Также и с Нойкенсом. Пока его не задеваешь – он не лезет. Но стоит слово ему сказать – всё. Причём неважно, о чём говоришь, о нём, о других, о погоде, что угодно – он тут же суётся со своими дурацкими колкостями, от которых сразу начинает мутить. И ладно бы хоть юмор был в его замечаниях, а то просто гадость одна, гадость и пошлость. И вид у него такой же гадкий и пошлый. Долговязый, чёрт, шесть футов в нём и два дюйма, и ужасно нескладный. Идёт – впечатление такое, будто каждая его кость движется отдельно от других, и сидит он не как все, а вечно выламывается, то ногу ногой обовьёт, то руку в карман по локоть засунет. И прыщавый – страх. И зубы гнилые. Чёрные и какие-то заплесневелые. Пить с ним – лучше на него не смотреть. Стошнить может.

Живёт он один, а иногда со своим младшим братом. Это когда тот с женой поцапается и из дома уходит. Довольно часто уходит, бог его знает, какие у них там проблемы… Но разве сравнится сварливая жена (да и любая, какая бы ни была) – с Нойкенсом!.. Вот и мотается бедный братишка между двух огней. Смех.

Пока брат воюет с женой, Нойкенс водит к себе баб. (И какая-то ведь с таким идёт!) Не часто приводит, конечно, пару раз в месяц. Неизвестно уж, чем они там занимаются, но замечено: следующий день, а то и два дня кряду, Нойкенс никого видеть не хочет, спиртного не принимает, а только отлёживается в постели, трубку не берёт, дверь не открывает.

Поговаривают, будто он в раннем детстве перенёс сложную операцию по поводу какой-то экзотической болезни, и от этого всё его нутро пришло в полное расстройство. И ещё: будто он целых два года был прикован к постели. Сам Нойкенс на эту тему никогда не распространялся, а расспрашивать его – себе дороже.

К их компании он приблудился ещё в незапамятные времена, так и болтается между ними с тех пор. Притерпелись, свыклись. Тоже ведь человек. Только вот что странно: все называют его по фамилии – Нойкенс. Даже трудно представить, чтобы кто-нибудь назвал его запросто – ну там "Вик" или хотя бы "Нойк". Не было такого. А ведь имя у него красивое – Виктор. Должно быть, даже

мама родная, склоняясь над колыбелькой своего бэби, шептала: "Спи, мой Нойкенс, спи скорей", – и отцу: "Дай-ка тряпку. Нойкенс опять срыгнул". Те женщины, которых он залучает к себе в постель, тоже, наверное, лаская его бугристое, как у ящера, тело, в исступлении шепчут это слово – "Нойкенс!", избегая более точного – "Мерзость!".

Нойкенс сидел, сидел, утирался, видит, что всем противно на него глядеть, а всё равно сидит и кровь по прыщам размазывает. Наконец надоело ему, и он ушёл в сортир умываться.

Брюнетка, та, которая не с Чарли, – Хиросима – потянулась через стол за бутылкой и опрокинула стакан Эдварда. Она тоже, оказывается, была вдрызг. Ну и компашка.

– Слушай, Чарли, – сказал Эдвард, – что мы с этой братией делать-то будем?

– Подкопим слюны да плюнем, – ответил Чарли.

Хиросима всё-таки налила себе ещё, выпила, мутно воззрилась на Чарли и изрекла:

– Налетай, братва, я кайф поймала.

И упала лицом в стол.

Чарли присвистнул:

– Да, кайф на все сто.

Над упавшей склонился Малыш, тронул её за плечико.

– Эй, милая, эй, ну что ты, не надо, вставай.

– А ты пособи ей, – сказал Чарли.

Малыш, ни на кого не глядя, помог несчастной подняться, забросил её руку себе на плечо и повёл через зал к выходу. Ну и вид был у этих двоих. Девчонка на две головы выше Малыша и едва переставляет ноги. Перед ними расступались.

Чарли посмотрел им вслед и только головой покачал.

Эдвард заметил, как в бар вошла Сара.

– Чарли, – шепнул Эдвард, предупреждая друга.

Сара поискала глазами и решительно направилась к их столику.

– Не сторож я брату своему, – сказал Чарли.

Фрэд спал.

– Почему бы тебе не пожалеть его, Сара, он только что уснул, – обратился Чарли к подошедшей женщине.

– А меня кто пожалеет? – она сверкнула глазами.

– Выпьешь с нами?

Сара взглянула на Фрэда и вдруг махнула рукой.

– А-а, наливай. Только разбавь немного.

– Вот это по-нашему!

Она опустилась в кресло, где минутой раньше сидел Малыш. Чарли налил Саре в стакан Фрэда. Плеснул себе и Эдварду.

– За твою красоту, Сара, – сказал он.

– Где-то она сейчас… – усмехнулась та.

Пригубили.

– Устала? – спросил Эдвард.

– Так, немного.

– Понятно.

– А ты как поживаешь?

– Хорошо. Нормально.

Сара взглянула ему в глаза.

– Хреново, если быть точным, – сказал Эдвард.

Сара кивнула.

Когда-то давно Эдварду нравилась эта женщина. Помнится, он даже предлагал ей руку и сердце. Она отказала. И правильно сделала. Как оказалось, никакой любви не было. Теперь они просто старые знакомые. А тогда… ох как он за ней увивался. А она вышла за Фрэда. Только после он понял, что в ней так притягивало его. Она до боли напоминала ему девочку из его детства.

Тысячу лет назад это было. Гастингс-Хилл. Папа и мама ещё вместе. Вирджиния, малышка сестра, в своей загородочке на веранде. И – лето. Почему-то он помнит именно лето. И когда он думает о лете, он думает о детстве. Осень, холод, всё это было, но это было потом, это уже не детство.

Отец любил мастерить из дерева разные штуки. Всякие шкафчики, полочки в столовую, складные стульчики – и в каждом его изделии был какой-то маленький секрет, какая-то изюминка. Это им с Джи нравилось больше всего. Например, аптечку, что висела в ванной комнате, не надо было закрывать – ты отходил, и дверца

сама плавно становилась на место. А всё дело было в потайном хитроумном механизме, и нужно было очень долго присматриваться, чтобы разгадать эту маленькую тайну. Или тот стульчик, что стоял в детской!.. Если на него садился тяжёлый человек, стульчик вырастал под стать человеку. Удлинялась спинка, отрастали дополнительные ноги, менялся наклон сиденья – не стул, а загадка. И всё без единого гвоздя и вообще без металла! Только дерево и клей. А сколько игрушек папа сделал для них с Джи! Все и не вспомнить.

И от отца всегда так здорово пахло! Бывало, зайдёт к ним в детскую с новой игрушкой – смеётся, руки огромные, на нём фартук, в кудрях стружка застряла…

А мама была молчунья. Молчунья и домоседка. Была она очень полной, просто ужасно полной. Толстой. Но зато готовила… так не готовил никто. Грибная запеканка, рагу, клубничный пудинг, всякие пышки, булочки, печенья, рождественские пирожки, сладкие пирожные – во всём этом ей не было равных. Она редко выходила из дому – у неё был полиартрит, ноги пухли, боли ужасные. За продуктами обычно ездил отец, иногда Эдди сам бегал. Только в церковь она ходила регулярно.

По соседству с ними жили Стоуны, у них детей не было, а через дом – Вейсы, и у них была дочь – Салли Вейс. И Эдвард сходил с ума по этой Салли. Обычная история: мальчик и девочка. Эдвард помнил, как он писал длинные-предлинные письма и представлял, как Салли получает эти письма, и как они встречаются, и о чём говорят, как гуляют в парке, и у реки, и как он целует Салли в губы и совершает ради неё всякие героические поступки.

Единственным человеком, кому он доверял свои тайные мысли, была его сестрёнка Джи. Ей тогда исполнилось всего три годика, однако она была ужасно умным ребёнком. Она буквально всё понимала. Они беседовали на разные темы, и, помнится, Джи давала ему очень дельные советы. Это она (по крайней мере, он так считал, что это она) посоветовала ему оставить писанину, которую он всё равно никогда не решится отправить, и поискать способа познакомиться с Салли поближе. Вскоре такой случай представился.

В Гастингс-Хилл приехал цирк-шапито, и Эдвард купил два билета на дневное шоу. На завтра. А в этот день решил зайти к Вейсам и пригласить Салли.

Многих усилий стоило ему не убежать, когда он позвонил в дверь. Открыла женщина, мать Салли. Она была такая же красивая как и дочь, только ещё более неприступная и очень гордая.

– Тут какой-то мальчик, – сказала она вглубь комнат, а у него поинтересовалась: – Тебе чего?

На пороге показалась Салли. Она была вся какая-то домашняя, в лёгком халатике, и оттого ещё более прекрасная. У Эдварда отнялся язык.

– А я тебя знаю, – сказала Салли. – Ты учишься в первом классе, в школе Хэмфри, вместе с Лиззи Бэлтшоу.

Да, действительно, Лиззи Бэлтшоу он знал и никогда бы не подумал, что они с Салли подруги. Ни разу не видел их вместе.

– Ну что ж, – улыбнулась миссис Вейс, – проходите, молодой человек.

Как бы то ни было, в тот раз ему удалось-таки связать пару фраз, чтобы объясниться с Салли. Конечно, это были не те слова, которые он доверял бумаге, но на первый раз и этого ему было предостаточно. Начало было положено. На следующий день они пошли в цирк.

А после цирка были карусели, и он стрелял в тире и никуда не попал, и потом они гуляли в парке, и много говорили, и обнаружилась масса общих интересов – осуществлялась его мечта, лелеемая так долго, что в неё уже и не верилось. Эдвард был на седьмом небе, – и так ничего и не омрачило радости их общения до самого её отъезда. Они часто встречались, они уже любили друг друга, это было какое-то небывалое единение, полное слияние любящих душ.

Через три месяца мистер Вейс, её отец, получил назначение за границу, куда-то в Европу, и они расстались.

Три месяца счастья и – неожиданный и полный обвал всех надежд, крушение мечты, потеря того единственного, ради чего стоило жить.

Эдварду тогда только что исполнилось пятнадцать лет.

Переживал он жутко. У него случилась какая-то аллергия. Он ничего не ел. Потерял треть своего веса и, наверное, половину здоровья. Он плакал ночами, и маленькая Вирджиния успокаивала его. Если бы не она, эта рассудительная крошка Джи, неизвестно вообще, чем бы это для него кончилось.

Через месяц, правда, он уже ни о чём не вспоминал. Или казалось, что не вспоминал. Школа, колледж… жизнь вошла в нормальное русло.

И лишь теперь выясняется, что с потерей Салли Вейс Эдвард потерял едва ли не самое главное – волю, желание что-то сделать в этой жизни. Ему так и не встретилась женщина, к которой он мог бы привязаться хотя бы вполовину того, как это было с Салли. Вот только с Сарой возникло что-то похожее, но он быстро разобрался в этом самообмане. Сара есть Сара. А Салли…

Проснулся Фрэд. Сара не стала его ругать, и они мирно ушли домой.

Фрэд проспится – и как огурчик. Сколько бы ни выпил – всхрапнёт часок, и снова бодр, свеж, готов на новые подвиги. Как-то всё очень быстро перегорает в его организме – и гнев, и боль, и алкоголь.

Свято место пусто не бывает: пришёл Малыш и забрался в своё кресло. Один.

– Трах-тарарах, – сказал Чарли. – Как? Ты уже?

– Её стошнило, – объяснил Малыш.

– Да, это печально. Но ты не тушуйся. У нас в запасе ещё есть, – Чарли многозначительно глянул на свою пассию. – Как, сгодится?

– На что это ты намекаешь? – наморщила лобик брюнетка.

– Я намекаю на половой акт! – гаркнул Чарли.

– Дурак, – обиделась та.

– Не надо так, Чарли, – сказал Малыш. – Свои проблемы я решаю сам.

Эдвард только сейчас заметил, насколько Чарли пьян.

– А мои, мои проблемы ты можешь решить? – Чарли, похоже, закусил удила.

Малыш молчал.

– Эй! Я с тобой разговариваю! – Чарли грохнул кулаком по столу.

– Ну-ну, перестань, – Эдвард взял его за руку. – Всё нормально, Чарли, всё о'кей.

– А-а, Э-эдвард, дружи-ище, ты не смотри, что я… ты думаешь, я пьяный… А ну-ка… – Чарли попытался встать, но его так качнуло, что он тут же снова сел. – Ты прав, я набрался как свинья. И это за-ко-но-мер-но. Ух ты! как по досочке прошёл. А почему меня все называют Чарли? А? Вот ты, – это он брюнетке, – зови меня просто: сви-нья… Ну, повторяй, повторяй!

– Не хочу я… – отмахнулась та.

– Нет, ты повторяй. Повторяй, кому говорю!

– Свинья, – одними губами повторила она, косясь на Эдварда. Ей это не нравилось.

– Громче! – не унимался Чарли.

– Свинья, – сказала она.

– Ещё громче! – Чарли уже орал.

– Свинья! Я не могу! Не могу! Отстань! – девчонка расплакалась.

– Не могу! – передразнил Чарли. – А чего тебе надо? Что ты тут делаешь? Что вы все крутитесь тут вокруг? Чарли, Чарли – не Чарли я вовсе! Нет у меня здесь имени! Зовите меня просто – свинья! Свинья! Все повторяйте!

– Да пошёл ты! – девица утёрла слёзы и решительно поднялась. – Если хочешь знать, ты и есть свинья! – отчеканила она и, круто развернувшись, отчалила.

Чарли было опешил, но вдруг рассмеялся.

– Иди, иди! – крикнул он ей вслед. – Не забудь: ключ под ковриком!

– Хороша стервоза, а? – обратился он к Эдварду.

Эдвард не ответил. Ему это всё до чёртиков надоело. Надоели эти пьяные рожи, и эти склоки, и бесконечный ряд унылых похмельных дней. О господи! Да будет ли этому конец! "Чарли, Чарли, – хотелось крикнуть ему, – зачем ты пришёл сюда. Беги без оглядки, беги от всех нас, пока тебя не затянуло это болото. Разве ты не слышишь, как трещат наши кости, как разрываются на части

наши тела, как вытекают глаза и кровь становится водой? Болото, в котором мы живём, питается нами". Похоже, и я наклюкался, подумал Эдвард.

Это все знали – Чарли был ребёнком богатых родителей. Очень богатых. И настоящее его имя было вовсе не Чарли, а Андреас. Андреас Чарлидис. Он был грек. Его отец, крупный греческий бизнесмен, в настоящее время работал здесь, в Штатах. Чарли по какой-то причине разошёлся с родителями, и что это была за причина – никто из его здешних друзей или знакомых не знал. Не знал и Эдвард.

Чарли появился здесь около года назад. Познакомились они на какой-то вечеринке и между ними возникли ровные приятельские отношения. Чарли был довольно коммуникабельным человеком, улыбчивым, обаятельным, спокойным. С ним было легко и приятно общаться, и только иногда, в редкие мгновения – в отдельной фразе, во взгляде, в движении – прорывалось что-то похожее на затаённую боль, на отголосок гнетущего, глубоко скрываемого чувства.

Поговаривают, что мать присылает ему деньги, а он их отправляет назад. А может, всё это и враньё, кто знает. Крупных сумм у него никогда не водилось, на что он существовал, было непонятно. Чарли нигде не работал и, похоже, не собирался. Эдвард никак не мог понять, что могло заставить человека отказаться от полноценной жизни, от тех возможностей, что дают большие деньги…

Они часто вместе пили. Просиживали в баре, а в хорошую погоду слонялись по городу. Обычным их занятием был трёп. Непрерывное словоговорение по поводу и без, на тему и без темы, лишь бы занять себя, язык, отвлечь мысли от ненужных воспоминаний.

Чарли интересовал Эдварда как человек из другого мира. Хотя Чарли никогда и не показывал свою особенность, но она как бы всегда подразумевалась. Они были как Принц и Нищий, Принц только прикидывался нищим, а сам мог в любой момент вернуться к папиному трону, к власти, в свой волшебный дворец. Это завораживало. А впрочем… может, всё это он сейчас спьяну придумал,

и всё было не так. Реальность ускользала. Эдвард почувствовал, что он очень устал.

– Я созрел, – сказал он. – Как вы?

За столом, кроме него, остались только двое: Принц Чарли и Малыш.

Чарли что-то вылавливал из стакана, Малыш наблюдал.

– Я мяса не заказывал, – сказал Чарли, отряхивая палец.

– Муха, – констатировал Малыш.

Чарли вылил себе в рот остатки спиртного и, собравшись с духом, поднялся.

– К движению готов.

– Я прогуляюсь с вами? – будто извиняясь спросил Малыш.

– А нам без тебя и не дойти.

Поддерживая друг друга, все трое двинулись к выходу.

На улице Чарли сказал:

– Всем слушать приказ! Я – командир корабля, ты – штурман, ты – стрелок-радист. Запомнил? Запомнил? О`кей. Все по местам, путь свободен, горючего под завязку, турбины ревут – с богом! Ну, пошли-пошли-пошли, разбег, взлетаем!

И тут они, как по команде, выстроились в затылок друг другу: впереди Чарли, за ним Эдвард, потом Малыш, раскинули руки и двинулись по улице, жутко завывая и закладывая неимоверные виражи.

– Убрать шасси! – распорядился Чарли.

– Шасси убрано, – доложил Эдвард.

– Радист, связаться с землёй!

– Есть связаться с землёй! – прокричал Малыш.

– Ну и как там земля?

– Хреново, – отрапортовал радист.

– И не удивительно, – сказал Чарли. – Нас нет.

– Штурман, ты держишь курс?

– Я сам еле держусь.

– Нам нужно увидеть цель! Мы не можем пройти над целью, не сбросив груз.

– А что за груз?

– Партия благотворительных кондомов с клубничным запахом… Ага, цель под нами, открыть люки!

– Есть, сэр, – Эдвард расстегнул гульфик. – Груз пошёл, сэр.

В этот момент из переулка вывернула машина и осветила их фарами.

– Вражеский истребитель! – пискнул Малыш и, выскочив на дорогу, дал длинную очередь. – Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та…

Это была патрульная машина. Она поравнялась с ними и остановилась. Сидящий внутри коп профессиональным взглядом окинул всю компанию и, не выходя из машины, произнёс:

– Подбросить до участка?

– Ну что вы, сержант, мы движемся точным курсом по домам, – объяснил Малыш.

И не было предела недоверию во взгляде сержанта.

– О`кей, – бросил он наконец и, перед тем как убраться, ткнул пальцем в сторону Эдварда. – Эй, парень, мотню застегни, простудишься.

Когда машина отъехала от обочины, Малыш вытянулся по струнке и доложил Чарли:

– Вражеский истребитель уничтожен, сэр!

Все трое покатились со смеху.

На улице было черно, только кое-где светились огни рекламы.

– Мне пора возвращаться, – сказал Малыш. – Уже поздно, мало ли что.

– А что?

– Ну, мало ли…

Дело в том, что Малыш служил ночным охранником. И хотя в той конторе, где он подвизался, охранять было особенно нечего, ночью он старался никуда не отлучаться.

Контора принадлежала малышову двоюродному брату и его компаньонке-жене. Фирма была крохотная: один магазинчик торговал фруктами на набережной да ещё где-то в районе Семнадцатой улицы существовала овощная лавка.

Контора находилась на третьем этаже – как раз над тем баром, где обычно заседала вся их весёлая бригада. Это были две тесные комнаты, всё пространство которых занимали жуткой величины

стол, шкаф для бумаг, роскошный кожаный диван и рододендрон в кадке.

Это несметное богатство и охранял Малыш. В пять часов он заступал на службу, спускался в бар и прилежно дожидался его закрытия. Потом поднимался наверх, поливал из миниатюрной леечки священный рододендрон и на кожаном диване уплывал в царство Морфея…

Брат имел брата. Малыш имел крышу над головой. А бравая команда из бара имела стрелка-радиста.

– Ну что ж, – сказал Чарли, – пора, так пора.

Попрощались.

– Эй, Малыш, – крикнул Чарли вдогонку, – чтоб в налётчиков так же метко стрелял!

– Есть, сэр, – отозвался Малыш.

– Хороший парень, – вздохнул Чарли. – Только маленький.

– Да, – согласился Эдвард.

– А ты знаешь, в чём он мне недавно признался? Нет, это я не для трёпа, ну, в общем, серьёзно… Знаешь? Он сказал, что в своей жизни спал всего-то с одной-единственной женщиной. И угадай, с кем? Ни за что не угадаешь. С любовницей своего отца! Нет, ты послушай! С любовницей! И чьей! Родного отца! Всё-таки жизнь – мерзейшая штука. А, Эдвард? Как считаешь?

– Слушай, – сказал Эдвард, – я считаю так же, но давай не будем об этом сейчас, и так на душе хреново.

– Замётано! – согласился Чарли. – Давай тогда о бабах. Вот я сейчас приду домой, а ключика-то под ковриком и нет. Вот ведь прилепилась краля…

– Погоди, Чарли, – Эдвард остановился. – Можно я тебя спрошу? Никогда не спрашивал, а теперь спрошу. Можно?

– О чём разговор!

– Как ты смог от таких денег уйти?

Улыбка опала на лице Чарли. Он как-то весь подобрался, даже меньше стал.

– Слушай, Эдвард, – тихо-тихо сказал он. – Ты хороший парень, я тебя очень уважаю, но вот тебе мой совет. Никогда никому не лезь в душу. Не лезь, понял!

Он вдруг отвернулся и быстро пошёл вперёд.

– Чёрт! – выругался Эдвард. – Эй, Чарли, постой! Чарли! Ну всё, я молчу.

Эдвард догнал приятеля и пошёл рядом. С минуту шли молча.

– Ты не знаешь, – спросил вдруг Чарли, – как у Малыша имя?

Эдвард задумался.

– Не знаю. Малыш и Малыш.

– Вот-вот. Ты не находишь это странным?

– Странным?

– Ну да. Люди без имён. Я – Чарли, он – Малыш. Образы, звуки. Понятия. А людей нет.

– Не знаю, – сказал Эдвард.

– И я вот не знаю…

– Этот дом, – Эдвард указал рукой. – Здесь Фил живёт.

Чарли как-то сразу ожил.

– Давай зайдём, – загорелся он. – Ты ведь что-то сегодня про него говорил… ах да, что у него… о чёрт! так ты серьёзно, что ли?

– Своими глазами.

– Нет, ты глянь, что творится! – Чарли вовсе повеселел. – Что же это он ради юбки свои вирусы забросил! Нет, всё-таки он не такой, как мы, правда? И я от души желаю ему всего.

Чарли поднял голову.

– Фил! – крикнул он. – Будь счастлив, Фил!

Они стояли у подъезда старого многоквартирного дома. Свет горел всего в пяти или шести окнах. Наверное, здесь половина квартир пустует, подумал Эдвард.

– Пойду, – сказал Чарли. – А то она там с тоски всё пиво из холодильника перетаскает… Ну, пока.

– Пока, – отозвался Эдвард.

Они пожали друг другу руки как старые друзья. Чарли почему-то медлил.

– То, о чём ты спрашивал… – сказал он, не выпуская руки Эдварда. – Так вот, нет у меня никаких родителей. Ни бедных, ни богатых. Понял? Умерли они.

Он выдернул руку и быстро пошёл прочь.

Где-то наверху, в маленькой комнате, спал счастливчик Фил. После ухода Эдварда он выключил старенький проектор, на котором обычно крутил ленты по вирусологии, а в этот вечер – для благодарного зрителя – нечто особенное, приобретённую по случаю запись стрип-шоу. Невиннейшая штука.

Фил спал. В кресле у кровати, заложенная зубочисткой, лежала его любимая книга – "Популярная вирусология" Артура Вальтхайма.

Покой и согласие царили в мире.

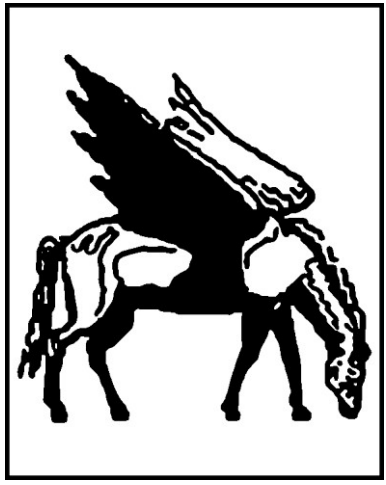
Эдвард шёл домой и думал о том, что нужно бы завтра обязательно написать письмо сестре. Она просила денег, она была беременна и… о господи! пусть это завтра никогда не настанет! Что толку в этом завтра? Абсолютно, абсолютно никакого толку.

Эдвард шёл по улицам и как последний дурак плакал.

Потом он успокоился, а когда подошёл к дому, все слова, которые он хотел сказать Джи, уже почти полностью собрались в его голове.

Октябрь 1992 г.

СТИХИ



ИЗ КНИГИ "ВСЯЧИНА" (1983 – 1989)

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ

Зимней ночи середина.
Вьюга чёрная кружит.
И горит в избе лучина.
И младенец в зыбке спит.

С уст в последний раз слетает
"баю-баюшки-баю",
и на белу грудь роняет
мать головушку свою.

Дорог миг отдохновенья
сердцу робкому её,
но слетелись сновиденья
будто злое вороньё,

и несчастная забылась
беспокойным, тяжким сном.
"Кабы худа не случилось –
волки бродят под окном!

Бродят жадною толпою,
в окна стылые глядят,
знать, малютка, нас с тобою
разлучить они хотят!

Вот уж звякнули затворы,
петли ржавые скрипят –
эти звери, эти воры
никого не пощадят!

Вижу, вижу вереницы
морд клыкастых впереди!
Жутко светятся глазницы…
Боже правый, защити!

Кровожадному желудку
запрети ужасный пир.
Моего спаси малютку –
близок бешеный вампир!

…Что же делать мне, несчастной? –
Сына звери унесли…
В миг единый, миг ужасный,
мое сердце извели.

Полечу за ними птицей,
сирым зверем побреду
и мохнатою волчицей
в волчье логово приду.

Их законы разузнаю,
все лишения снесу,
погублю вампиров стаю,
сына милого спасу.

Пусть придётся на погосте
в люту стужу ночевать,
пусть заставит голод кости
из могилок вырывать,

пусть, растерзана на части,
я останусь тлеть в лесу –
но от гибельной напасти
сына милого спасу!.."

И в волчицу обратилась
мать трепещущая, но…
в то мгновенье пробудилась.
Вкруг спокойно и темно.

Зимней ночи середина,
вьюга чёрная кружит…
И горит в избе лучина,
и младенец в зыбке спит.

СТРАНА ЗВЕРЕЙ

Я вас, друзья, не обману,
Вот истина, ей-ей:
Все люди были в старину
Похожи на зверей.

Был дик и сумрачен их вид,
Но, вовсе не греша,
Могу сказать, что знала Стыд
Их чистая душа.

Младенец знал, что качеств нет
Ценней, чем Долг и Честь.
И знал старик – на склоне лет
Ему опора есть.

Корысти, злобы их сердца
Не ведали вовек,
И был мудрее мудреца
Обычный человек.

Дары счастливые несли
Любовь и Доброта,
Была хозяином Земли
Святая Простота,

И Добродетели плоды
Вкушал и стар и млад.
Цвела в награду за труды
Земля как райский сад.

Но тех зверей потерян след
Давно в стране моей.
И люди вот уж много лет
Похожи… на людей.

ИЗ КНИГИ "В ОБОЛОЧКЕ СНА" (1999)

НОСТАЛЬГИЯ

Теперь я знаю, что со мной,
что за болезнь мне сердце точит,
хотя по-прежнему не хочет
признаться в этом разум мой.
Родился, рос и жил в России,
ничем я ей не изменял,
я никуда не уезжал,
а вот же, корчусь в ностальгии –
по первым плачам детских лет,
по кособоку-палисаду,
по старикам, по Луге-граду,
по временам, которых нет.
Как оказалось, выйти можно
за хлебом в лавку на часок
и потеряться, и присох-
нуть чешуёй неосторожно
к снастям времён, и рыбьим ртом
глотать потом напиток сонный –
чужбины воздух раскалённый,
и не опомнится потом.
Сквозь все года, сквозь лжи и фальши,
с осыпавшейся чешуёй
я всё иду к себе домой,
а ухожу всё дальше, дальше…

КНИГИ

Ах сколько дней я отдал, книги, вам.
И ночи длил – одна другой короче.
Но сладостней экстаза мой диван,
Увы, не знал, и большей неги – ночи.

Шершавый, тёплый бархат ваших кож –
Как персика покров в приветных пальцах,
Мой книжный шкаф – ваш дом – вам так подхож,
Он без ума от умных постояльцев.

Я вас ласкал и жаждал, как Шекспир,
И, как Овидий, вами был привечен.
Мой пир горой, волшебный сердца пир –
Он сладок, упоителен и вечен.

Нас связывает мысль – тугая нить.
А мысль моя – чертовка и блудница,
И я спешу том классика открыть,
Чтоб пасть в него, как в грех, и насладиться.

Минутою покрытые века,
Одной строкою смятые династьи –
Всё это вы. И я живу, пока
Со мною вы, дарительницы счастья.

Мне ваша пыль – французская шанель,
Мне ваша песнь – Иерихона трубы,
А Гоголя потёртая шинель
Дороже и теплей собольей шубы.

Одно печалит – быстрые года
Здоровье, свет и зрение уносят.
Бессмертья причащусь и навсегда
Уйду в тот мир, что так громкоголосит.

ЭСКИМО

На улице – солнце и небо до плеч,
Испарина зноя и пляжный поход,
В арбе на колёсах – арктический лёд
И влажный покой целлулоидных мечт.

Мальчишки какого-то жаркое "ах!",
К волшебному ящику коний порыв,
Пунцовый, клубничный, ванильный зазыв –
У толстой мороженщицы на губах.

Отцова кармана звенящая горсть,
Толстухи щипцы наподобье плюсны,
Вонзённая алая твёрдость десны
В разъятую, мягкую, сладкую плоть.

Блаженные взгляды, чарующий ток,
Как будто бы ангела светлая длань,
И первый глоток, и последний глоток,
Ласкающий душу, желудок, гортань.

И ветер, схвативший обрывок "Моро…",
И губы, и щёки – в оплывах манже,
И всё это – воспоминанье уже,
И палка – в газон или в урниный рот.

Я наблюдал, как кот ловил пылинку…

Я наблюдал, как кот ловил пылинку:
Сигал, весёлым лучиком подначен,
Стоял сурком, – но каждый раз на спинку
Валился, бедный, тих и озадачен.

Пылинка счастья, золото Вселенной,
Ты невесома – кто тебя ухватит?
И раз, и два, и три спиною тленной
Мы упадём – а там и солнце сядет.

ПЛАКУН-ТРАВА

Плачьте, плачьте, слов не надо,
Плач вбирает все слова,
Плач – души больной отрада,
Плачем силушка жива.

Тот не может стать могучим,
Кто не знает эту власть,
Кто хоть раз в жару плакучем
Не вырёвывался всласть.

Супротивникам отдайте
Сухость ржавую глазниц,
Светлой влагой набухайте
От сердец и до ресниц.

Пусть по во́лнам соучастья
Приплывут к вам навсегда
Золотые слитки счастья –
Дар духовного труда.

Берегите эти грозы,
Что живут внутри у вас, –
Очистительные слёзы,
Божьи перлы ваших глаз.

Их всегда благословляйте,
Лишь появятся едва,
И почаще там бывайте,
Где растёт плакун-трава.

БЫВАЕТ ТАК

Бывает так: ничто не остановит,
И ты идёшь, и мирно ткут года
Грядущий саван. Но однажды ловит
Твой взгляд движение тайное. Тогда
Ты бьёшься лбом в невидимую стену,
И память, прорывая толщу лет,
Сдувает настоящее, как пену,
Наросшую на том, чего уж нет.

Кирпичные трубы,
Роса по стеблю,
Той девочки губы,
Их шелест "люблю".
И ливни, и грозы,
Кукушкин расчёт,
И сладкие грёзы,
И слово "ещё".

Бывает так. И это состоянье –
Что длится лишь мгновение одно –
Тебя уносит вдаль на расстоянье
Лишь памяти подвластное. Оно
К тому, что ты хранил, прорыло сапу.
Да что стряслось! – ты мыслишь погодя.
А ничего. Шёл дождь. Тебе на шляпу
Упала капля вешнего дождя.

Кирпичные трубы,
Их вечный бемоль,
И сжатые губы,
И жуткая боль.
И ливни, и грозы,
И сердце в горсти,
И жгучие слёзы,
И слово "прости".

Бывает так…

Ах как давно я не дарил цветы…

Ах как давно я не дарил цветы,
Нарциссы, астры, чопорные розы,
И даже предвесенней наготы
Я не прикрыл букетиком мимозы.

В плену зари и на излёте дня
Из тайных мест под солнцем и луною
Их рдяный гул преследует меня –
Как будто говорят они со мною.

И этот шум немолчный так велик,
Так чист, высок, так сладок и прекрасен,
Что стал уже зелёный их язык
Без толмача душе и сердцу ясен.

Они поют о том, что навсегда
За наше небреженье млечной кровью
Своею заплатили, и беда
Тому, кто не спознается с любовью.

Они поют о том, не зная сна, –
Ромашки, хризантемы, гиацинты, –
Что снова для любовников весна
Тенистые возводит лабиринты.

И если кто и будет на века
Отныне изгнан из страны идиллий –
Так это тот, кто не дарил пока
Охапки роз, пионов, белых лилий.

УТРО

Сегодня утро, жёлтое как мёд,
Ко мне в окно лукаво заглянуло.
Его впустил я. Из небесных сот
Амброзией небесною пахнуло.

И гостья первая – мохнатая пчела,
В одной тельняшке на нагое тело, –
Как встала утром, прямо как была, –
На мой призыв счастливый прилетела.

И три пылинки, взяв с собой весь свет,
Какой в их тельце мог лишь уместиться,
Сошли с небес и звёздами комет
У губ моих придумали резвиться.

И чьи-то пальцы тронули иглу
Забытого бедняги-граммофона,
И радужную начали игру
Бока пластинки, как во время оно.

И понял я – мы снова в том краю,
Где время над самим собой не властно,
Где всё настолько вечно, сколь сию-
Минутно, ну а жизнь опять прекрасна.

Ты – та рука и то окно в раю,
И та пчела, и даже та пылинка.
Я – старый граммофон. Тебе пою,
Гудит пчела и крутится пластинка.

СТАРИК

Согнув клюку как свой хребет столетний,
По-черепашьи движется, стеная,
Развалина, что помнит Зимний. Летний
День сединой вкруг лысины играет.

Он помнит всё, вот только быль и небыль
Уже едины для больного сердца.
Кадык на шее, тонкой будто стебель, –
Как ручка от потусторонней дверцы.

Он помнит всё: атаки и засады,
Любовей первых и вторых занятность.
А что он ел на завтрак? – Вот досада! –
Совсем забыл. Какая неприятность.

Он помнит съезды, митинги, собранья,
Падение Тунгусского болида,
Но только ускользает от сознанья,
Который год сегодня. – Вот обида!

Он движется как сумма всех инерций,
И в известью забитые сосуды
Выталкивает стонущее сердце
Всю жидкость – в никуда из ниоткуда.

Ах Урал ты, мой Урал…

Ах Урал ты, мой Урал,
Неба злая просинь,
Девять месяцев – зима,
Остальные – осень.

Всё дожди да холода,
Да тоска во взоре,
Девять месяцев – беда,
Остальные – горе.

Ты меня приворожил,
Видно, понапрасну.
Девять месяцев я жил,
Остальные – гасну.

ЛЮДИ И БОГИ

Ноги ходят по дороге,
Вежды реют в вышине,
Мы такие же как боги,
Только бродим по земле.

Боги тоже здесь бывали,
Аки клирики – в миру,
Сладкий нéктар попивали
На Сатурновом пиру.

Интриганили, влюблялись
И валяли дурака,
Сдуру перевоплощались
Кто в голубку, кто в быка,

Рати двигали, плодились,
В Илион вели коней
И совсем ума лишились
От амброзии своей.

А потом, как видно, климат
На планете стал не тот,
И случился божий климакс,
Проще – богов недород.

И сошло семейство божье
От беды такой на нет –
Многокрылье, многоножье,
Многоумье давних лет.

Ну а мы теперь в дороге
Топчем их пропавший след,
То ли люди, то ли боги,
То ли притча новых лет.

КИСКА

Живут поодаль, рядом, очень близко,
далёкие, несмежные миры.
К моим коленям мягко жмётся киска
и в ласковом подобии игры
поёт о том, что ей пора обедать.
Иль норовит мне важное поведать?

Я поддаюсь настрою той игры
и уношусь в немыслимые дали,
и вижу, как сакральные дары
от тука стад своих приносит Авель,
а рядом с ним, как тихий чёрный кот,
ещё безгрешный брат его идёт.

А киска всё поёт. В её урчаньи
пергамента утробный слышу хруст.
Её устами взломано молчанье
египетских тысячелетних уст!
И вот уж на руках моих не Мурка –
но древний сфинкс, посланник Демиурга.

Я прохожу в невидимую дверь –
и вижу прокуратора палаты.
И снова предо мною тот же зверь
в атеросклеротических Пилата
усталых пальцах. – Боже, что за взгляд!
В нём умер Он две тыщи лет назад.

И так везде, келейно, тихо, ловко –
куда бы тайный взор мой ни потёк –
везде она, мурлыка и плутовка,
её зубок и острый коготок.
Так что же я держу в своей ладошке?
Одесную судьбы? Иль лапку кошки?

БЛИЗНЕЦ

Зачем я снова вижу эти лица?
Они всегда со мною – он и он.
Иль на роду написано двоиться
Лицом всем тем, кто матерью рождён,
Но знаку свыше должен подчинится?

Быть может, время тайну разрешить
Поможет не могущему сознанью?
Быть может, Янус мне протянет нить,
Зачем столь занятому мирозданью
Мой бренный облик рьяно так двоить?

Знак Близнецов. Двуликая похожесть,
Двуглавая, двуумная стезя.
Двудольная безудержная всхожесть
Безумного в порывах зеленя,
К зерну Земли приросшего всей кожей.

Знать, есть ответ. И он, как слово, прост.
И есть в нём сила промысла паучья.
Пока живёшь, пока далёк погост –
Пускай двоятся рифмою созвучья,
Из мира в мир протягивая мост.

РЫБАЛКА

Когда ещё мы были молодыми
И счастье шло, как рыба, косяком,
Эх, встать бы с неводами золотыми
Да наловить плотвички на потом.

Но мы ловили счастье не сетями –
Руками загребали мы его,
Играла рыба скользкими боками,
В руках не оставляя ничего.

Теперь у нас и сети есть в чулане,
И динамит в подполье припасён –
Но на безрыбье долгими часами
Мы чёрствый хлеб злосчастия жуём.

ПРЕДОЩУЩЕНИЕ

Предощущение погибели –
Оно мучительно и колко.
Глаза закат ещё не видели,
Но в них уже сидит иголка,
И на конце её невидимом,
Как в бесконечно малой точке, –
Вся наша боль. Отсюда выйдем мы
Туда, где уже нет ни строчки.
Туда, где все четыре стороны
Теперь – одна. Где всё – разлука.
Где связки в горле, те, что сорваны,
Не порождают больше звука.
И если есть там превращения,
То свойства несколько иного:
Их существо в постощущении
Существования земного.
Предощущение погибели –
Как предвкушение возврата,
Ко льву ли, к овну, к деве, к рыбе ли –
Ad ovo, словом, к месту старта.

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ

Юрию Харюшину

В квартире пусто. Улица темна.
И оживают тени страшных былей.
И телевизор в комнате – луна.
А на луне – собака Баскервилей.

Мы загодя готовим уголок,
Сдвигаем кресла – будто роем норку,
И – нырк туда, и знобко, к боку бок,
Сидим дрожа. Колышет воздух шторку,

И что-то прядает и шепчется в углах,
И запах яблок "мятных" на губах
(Нам их морозил старый холодильник),
И жутко нам, и в сердце – только страх,
И ходит в угол из угла будильник.

Нет взрослых, мы одни, лишь я и он,
Мой верный друг, мой маленький приятель.
Мерцает телевизор. Конан Дойл
Стоит за ним – чудовищный писатель.

Болото чёрное, луной облитый холм,
И жёлтый глаз собаки сумасшедшей,
Наивный Ватсон, тонкий, умный Холмс,
И бедный пёс, еду себе нашедший.

В один прыжок настигнут дуралей,
И замирают в судороге брови,
Несётся вой над дикостью полей,
И в яблоках всё чётче привкус крови.

Скончался тот, кто должен умереть,
Закончен бал, и разошлись живые,
Шипит экран – там нечего смотреть,
И мы сидим – от ужаса немые.

Если кто устал…

Если кто устал –
Вот причал.
Захотел всплакнуть –
Вот грудь.
Сандалии для босого,
Шприц для безносого.
Для алчущего –
Келья.
Трудяге –
День безделья.
Бессонной ночи –
Сон.
Красотке –
Силикон.
Нищему – полушку.
Голодному – горбушку.
Рыбе – море,
Никому – горе.
Червяку – сушу.
Родившемуся – душу.
Богу – Слово.
Ослу – уши,
Как и всем, кто должен слышать и слушать.
Всякой твари –
По паре
того, что нужно твари.
В этом и заключается
Божественное.
А земное
Кончается.

Я знаю – я не весь родился…

Я знаю – я не весь родился,
Тот мир, что должен был прийти,
Вдруг задержался, надломился,
Замешкался, оборотился –
И так остался – позади.
Я выпал – чахлою кистою,
Надрывной грыжей,
Так, ничем.
И то, что выпало –
Болеет,
До сей поры болит, немеет
И помнит то, что было всем.
Но как по этой малой части
Собрать въедино звёздный рой?
Какой хирург пришить мне властен
Вселенную, чтоб стала мной?
Никто, нигде.
И я безлико,
Бесцветно по миру ползу.
Живой послед
Его, Великого,
На горе всем
И на слезу.

БАБУШКА И ДЕД

Были у меня
бабушка и дед.
Думал – навсегда.
А теперь их нет.
И никто уже
чудо тот пирог
не предложит так:
"Съешь ещё, внучёк".
И никто уже
старческой рукой
Не погладит так:
"Спи, соколик мой…"
Не посмотрит так
выцветшим зрачком…
Я ловлю их след
памяти сачком.
Я люблю их след
где-то там, внутри.
Чистая печаль,
ты живи, гори!
Чистая любовь –
через столько лет…
Почему я жив?
Почему их нет?
Я смотрю им вслед
через этот свет,
через все света,
через столько лет.
И они рукой
машут мне в ответ –
милые мои
бабушка и дед.

БЕРЕГИТЕ ПЕРВОЦВЕТЫ

Берегите первоцветы.
Их шафранные береты
На сиреневом лугу
Распушились на бегу.

Их малиновые губы
Как восторженные трубы
О самой Весне шумят
И кружат, и ворожат.

Шум зелёный, гам весёлый:
– Новосёлы! Новосёлы!
Снова новый новоцвет,
Грудь расправив, вышел в свет.

Тот – с женою, тот – с невестой,
Цвета, света свято место.
Кто-то в бархаты одет,
Тот – гусар, а тот – поэт,

Этот – шляпу надевает,
Этот – фалды расправляет,
Всё ликует и поёт
Пьяный воздух пьяно пьёт,

Дышит мартовским угаром…
Ох недаром. Ой недаром! –
Заграбастых жадных рук
Ты дождался, милый луг.

И уходят первоцветы.
Гибнут барды и поэты,
И блистательный гусар
Отошёл на пике чар.

Луг росою вмиг умылся,
Затуманился, замглился,
И рыдает мурава:
"Я вдова теперь, вдова!

Ах какое вероломство,
Мне не знать теперь потомства".
Но последний рыцарь пал –
Нет цветов, окончен бал.

Жени, Жанны и Жанетты,
Берегите первоцветы
В эти редкие часы
Жизни, счастья и красы!

СТАРОЕ ФОТО

Я смотрю на фото жёлтый глянец,
Словно тихо трогаю покров,
Кисловато-горький померанец –
Снова предо мною Петергоф.

Лестница к холодному заливу
Клеткою грудной обнажена,
И, ещё не знающий Далилу,
Солнышко-Самсон свежует льва.

Юноши златыми волосами
Выстланы урочища наяд,
И, филистимлянскими носами
Выгнут, низвергается каскад.

Лето дозревает за фонтаном
В сумраке простуженных аллей.
Фатуя на пару скачет с Фавном
И к шутихам кликает детей.

Галечник играет желваками,
Весь слюной Балтийскою промыт,
Явор плачет белыми слезами
И о ком-то царственном грустит.

В позе нарочито онемелой,
Вписан в этот жёлтый окоём,
Лев лежит в тоске закаменелой.
Мальчик лет пятнадцати на нём.

Тянутся прохладною грядою,
Как в рекламном фильме, облака.
Что-то есть знакомое, родное
В смутных очертаньях седока.

Память открывается навстречу
Будто старый бабушкин ларец.
Что ещё я, плачущий, замечу
В облике твоём, Петродворец?

Где-то там, за кадром и незрима, –
Мама молодая, без седин.
И на снимке – не руины Рима, –
Молодость в плену своих руин.

ТЫ ПОСМОТРИ

Ты посмотри на мои руки –
Они как ломкое стекло,
Как тонкое, как звонкое,
Как синее стекло.

Ты посмотри на мои плечи –
Они как плачи двух ракит,
Печальные, прощальные
Над реками обид.

Ты посмотри на мои слёзы –
Они как росы тех утрат,
Что мне ниспосланы, – о боже! –
И тех, что предстоят.

ДВА ТОМА

Когда уже уйду из дома
И в ночь ступлю, и не вернусь,
На пыльной полке те два тома
Наверно скажут:
"Ну и пусть!
Ушёл. Сама самовлюблённость!
И то сказать: ушёл – как жил.
Имея к суициду склонность,
Он вряд ли чем-то дорожил.
Он был безумец и повеса,
На нём сточила зуб молва,
Он был ломлив, как поэтесса,
И напряжён, как тетива.
Он всё смешал и всё расстроил,
Он сам себе свернул мозги,
Он больше рушил, нежли строил,
Он каждый день не с той ноги
Вставал…"
И долго так брюзжали
Два пыльных тома в темноте.
А утром… утром их достали
Ручонки детские. И те
В немом, слепом порыве счастья
Им подставляли телеса:
Страницы, полные участья,
И строк ладони. Голоса
Из недр таинственных рождались,
И сказке не было конца,
И тёплых детских рук касались
Ладони друга и отца.

В ДОРОГЕ

Я в поезде. Ещё вокзала
Торчит в глазу надсадный шпиль,
А оторопь колёс слизала
Уже вокруг на сотню миль
Людей, собак, столбы и стены…
И дым летит как клочья пены.

Я покупаю белый лист
Двух простыней и забываю
На миг о яви – как он чист!
Смиренно полку опускаю,
Как хорошо – и стол, и дом,
И я в пути, и всё путём.

Темнеет. Нудная шарманка
Колёсных пар пошла на нет,
И, будто слёзы, полустанка
Мне в окна прыснул жёлтый свет.
И, точно вражеский наводчик,
Вдруг застучал внизу обходчик.

Но вздрогнул мир, вздохнул, поплыл,
А с ним – и пыльный куст сирени,
Забор, что состоял из дыр,
И от всего тянулись тени
Как влажный родовой послед…
Хотел читать, подумал – нет.

Не смог я вырвать корни взора
Из широты, открытой вдруг,
Не смог объятия простора
Сменить на поезда испуг.
Передо мной лежала книга,
Но я забыл, в чём там интрига.

Невыразимая печаль
Пришла и тронула мне сердце.
Лишь мир вдали да мысли даль,
Да стук колёс, да холод рельсов…
В тот вечер так я и не смог
Катить глаза по рельсам строк.

Полвека ходил я с сумой на плечах

Полвека ходил я с сумой на плечах,
Полвека я прожил в постыдном достатке.
Знал тех, кто в недоле едва не зачах,
И тех, кто, как Крез, были в полном порядке.

Есть люди – полмира способны купить,
А после – на сдачу – вторые полмира.
А кто и полушки не может скопить
И всё их богатство – лишь тощая лира.

Есть разные люди. Не в этом беда.
Есть разные деньги. И это понятно.
Все знают, где взять на дорогу туда.
Но где раздобыть на дорогу обратно?

НАШИ ТЕНИ

Какие есть ходы,
И как туда пробиться,
Где прямо у воды
Край неба золотится,
Где ты и я сидим –
В песке твои колени –
И всё вокруг – как дым,
Как царство полутени?

А рядышком – семья,
Сплошные непоседы,
Какие-то дядья,
Старухи, дети, деды.
Их двадцать человек –
Все бегают купаться,
Их сорок человек –
И все хотят сниматься.

Есть фотоаппарат –
Доверен он ребёнку,
Чертёнок очень рад,
Семейство – как гребёнка:
Над ярусом одним
Другие два в тумане.
И мы с тобой сидим
У них на заднем плане.

С тех пор уж двадцать лет
Иль сорок пробежало,
То фото как билет
В альбоме пролежало.
Билетик золотой
Уронит на колени
Чертёнок пожилой,
Укравший наши тени.

ГАЛЕРЕЯ

Я помню, как в командировке,
в Москве (рабочий день минýл),
я шёл, скучая, по Петровке
и в галерею заглянул.

Прилавки ровными рядами –
Гуашь, темпера, акварель,
А по углам – багет снопами,
Воображенья колыбель.

С порога – запах свежей краски,
Калейдоскопом – ряд картин,
И вот в художественной сказке
Я среди многих и – один.

Брожу – потерян и бесплотен –
Среди творцов, среди мазил,
Среди затейливых полотен,
Краплака, охры и белил.

На сто вещей прекрасных – сто не
Достойных взгляда. Вдруг – мираж!
Одною краской в разном тоне –
Непритязательный пейзаж.

Рисунок гения-ребёнка
(И сердце вмиг – на волоске):
Песок и море, и лодчонка
Полуистлевшая в песке,

И даль далёкая, и схожесть
Земли и неба – в нулик, в пшик,
Манеры ложная убогость
И простоты изящной шик.

И ничего в картине этой,
Казалось бы, такого нет…
Но я стоял до жил раздетый,
Хотя, вестимо, был одет.

Случайный выбор остановки
и вдруг – прозренье жизни всей.
В той галерее на Петровке
Висел портрет души моей.

ПАМЯТЬ

Скажи,
чем вызвано – может быть, кажущееся –
великолепие тех древних картин,
которые рисует нам память?
(Они редко писаны кобальтом или хромом,
иногда – охрой, но чаще – сепией.)
Я думаю – оттого, что твердеющий сок наших воспоминаний,
эта камедь,
тускнеет и сворачивается от времени,
сохраняя в себе наиболее существенное.
Именно поэтому никакая цветная фотография
не сравнится своею определённостью с чёрно-белой,
а наша память, пытаясь удержать образ,
хранит его, как нечто божественное
(как известно, Бог строил мир по чертежу, или плану,
или наброску, или эскизу)
и целое,
а не дробное, расплывчатое и полутоновое, с обертонами и
подоттенками.
Таким образом, мы встречаем своё прошлое в виде офорта и
литографии,
рисунка тушью,
карандашного наброска на ребристой французской бумаге
с коричневатыми пенками убежавшего молока по краям,
как непременного атрибута архаичности.
Так старые фотографии, и газеты, и письма тех, кто умер,
приобретают этот старческий благородный цвет,
а наша инертность,
вернее, инертность нашего восприятия,
продолжает и заканчивает это дело,
даря нам столь милое сердцу великолепие
обнищавших в гамме любимых черт.
Вся щемящая прелесть потери –
в этой ломкой конкретности и бесцветном трагизме,
больном и пьяном.

Вот как пою…

Вот как пою… ни разу соловья не слышав.
Вот как пишу… без пальцев на руках.
Но есть растения, что и без лёгких дышат,
Без губ поют, без сердца знают страх.

Прямоугольники, квадраты, пыль и слякоть –
Нас в ложе города кладёт Прокруст.
И усечён – хочу, могу и буду плакать,
Без головы, ступней, лица и уст.

СТАРЫЙ ПЛЕД

Ввечеру, у кроватки, что в спаленке,
Рядом с бабушкой, доброй, седой,
В канделябровых сумерках – маленький
Крутолобенький мальчик живой.

Тонкокожие чуткие пальчики
Он положит на бабушкин плед.
В его возрасте маленьким мальчикам
Самый сказочный дарится свет.

И отложит любимая бабушка
Свой клубок и коробку для спиц,
Превращаясь для милого чадушка
В чародейку и жрицу из жриц.

И закружит, завертит летящая
Гердакаевая кутерьма,
И сойдёт Королева блестящая,
И сведёт ребятёнка с ума.

От двери, да от каждой, – по ключику,
Всякой тьме – неминуемый свет.
Так вещунья поведает внучеку
То, чего не бывало и нет.

Пронесётся в кораблике Пэновом
Он над Темзою светочем глаз
И уснёт в состояньи поленовом
В допиноккиевый этот час.

И ресницы коснутся со вздрогами
Его бледно-горячечных щёк,
И пойдёт он чудны́ми дорогами
На горящий вдали огонёк.

Там с оскалом или улыбкою
Его встретит побáсенок рок:
Синдерелла с мышами и тыквою,
С королевством за свой башмачок,

И девчонка с авоською глупою
В своём красном, как насморк, чепце,
И колдунья с метлою и ступою,
С кучей масок на мёртвом лице.

Слишком многие станут проказничать
В его тихом нервическом сне.
Эти детские сны – словно казни часть,
Как прививка от лиха вовне.

И, уложен заботливой бабушкой,
Как в ладони покоя, в кровать,
Сонный мальчик потребует: "Знаешь что,
Завтра снова мне будешь читать".

Ляжет плед ему в ноги собакою
И мохнатую морду уткнёт,
Охраняя исправным служакою
Сказку детства от бед и невзгод.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ МОЕЙ ДУШИ

Вот и ты, моя старая неженка,
Покидаешь разрушенный дом.
Здесь так долго мы жили вдвоём,
О душа моя, вечная беженка.

Ты уже затянула узлы,
Флейту-пикколо греешь под мышкою,
Убегаешь серебряной мышкою
Из хором, где мертвеют углы.

Побредёшь ты теперь по парадным, чай,
Приживалкою, нищенкой злой.
Что ж, иди, перед лютой судьбой
Вновь о доме себе христарадничай.

Может, где-то у сотой двери
К тебе, сотой из всех соискателей,
Самый главный из арендодателей
Снизойдёт и укажет: "Бери!"

И ты ступишь, как новая ключница,
На ещё не избитый порог,
И вдохнёт человечий сынок
Так, что лучший из криков получится.

Ты войдёшь – и твои мебеля
Аккуратно по залам расставятся
И в златую оправу оправится
Всё, чем небу подобна земля.

Ты была мне оплотом и скинией,
Потому-то и бредится мне:
В новом доме на белой стене
Проступлю я затейливой линией.

А малютка – ты дай только срок! –
Из кроватки порхнёт будто бабочка
И по залам вдруг кинется: "Мамочка!
У меня получился стишок!"

ДАНИИЛ ХАРМС

Из дома вышел голый шарм,
Безукоризненный как шар,
Сказал: "Зовите просто – Хармс.
Та-ра-та-тамс".

И вот уж чаем всех вокруг
Пузатый потчует мил друг
Иван Иваныч самовар.
Га-ра-ра-рар!

Барбосов выпустил двоих,
Сказав при этом: "Плюх и Плих",
И тут же спрятал керосин
От Паулин.

А что он дальше учудил! –
Он, самый чудный из чудил,
Он, замечательный чудак,
Такой мастак! –

Смеясь и лихо ворожа,
Размножил шустрого чижа,
А кошке был особый дар –
Воздушный шар.

Как жаль, что с Хармсовой горы
Мы не катались с той поры,
Как нам исполнилось в обед
Двенадцать лет.

Выходит Хармс, хмельной от чар,
И шару мира дарит шарм,
Из трубки – дым, от слова – шрам
На сердце нам.

БЮСТ

Отсечь! Отсечь! Ещё отсечь!
И вот уже лица,
И вот уж плеч
Ещё неясные, но брезжат очертанья…
В руке – перо. Или резец?
Или немыслимый кудесничий ларец
Со всяким инструментом без названья?
Что есть поэзия?
Жужжанье лёгких крыл?
Безудержный набат?
Тяжёлый труд? Блаженная привычка?
Ярмо и кнут? Мудрёный аппарат?
От врат небесных хитрая отмычка?
Быть может, это перекличка
Близняшек рифм с твоим сердцебиеньем?
Как знать…
Но то, что все зовут стихосложеньем, –
Оно и то, и то,
И то, и то, и то,
И даже то, о чём сказать неможно.
Как это просто, боже, и как сложно!
Гранит, резец,
Пронзительная крошка
Согласных, гласных,
Сжатых смыслов визг –
И вдруг, как знак,
Из роя горних брызг
Навстречу миру, на подножку
Судьбе –
Поэтом созданный в тиши
Бесплотный бюст страдающей души.

АРХИТЕКТОР

Как смуглокожий раб в каменоломнях,
В поту лица, в пыли известняков,
Добудет камень, гладкий, нужный, ровный,
Что ляжет в основания домов,

Как мудрый зодчий, ревностный строитель,
Блюдя идеи и проекта соль,
Пойдёт чертить экседры, перистили,
Антаблемента дивную консоль,

И, наконец, как каменщик умелый,
Вооружённый мудростью веков,
Заложит первый блок рукою смелой, –

Так ты, о мой поэт, въезжаешь в вечность,
Слепляя из конечных плоских слов
Объёмную живую бесконечность.

АНГЕЛ МОЙ

И трепетные крылья…
И полёт…
И тихий странный шорох…
И круженье…
Лишь знанье, что ты есть, –
Уже даёт
Такую помощь,
Столько вдохновенья!
Я так силён, казалось мне сперва,
А ты слаба…
Ах, вечная гордыня!
Я слаб,
Я не могу облечь в слова
То веденье, которым полон ныне.
Такая сила – в лёгком ветерке,
Такое пониманье – в слабом вздохе,
Одно прикосновение к руке –
И я живу
И отливаюсь в строки.
Ты ангел мой,
Ты ангел.
Боль моя
И боли все, которые в подлунной, –
В тебя, как бы в воронку бытия,
Втекают Ниагарой многоструйной.
Ты выдюжишь –
Но, боже, как бледна…
Ты вытянешь,
Не сделавшись капризней.
Ты где-то рядом,
Здесь,
Совсем одна.
А я?
Я так силён…
Твоею жизнью.

ГРОЗА

Всё было тихо, так же, как всегда,
Купались в неге сонные берёзы,
Но к вечеру надумала гроза
Пролить на мир свои слепые слёзы.

Откуда-то из пыльного угла,
Из сонной шелудивой подворотни,
Вдруг выползла дворняга ветерка
И заелозила на пузе подле.

Вверху, как будто в обморок упав,
Стеклянно, гулко выстрелила ставня,
Пошёл пылить, кружить вьюна рукав,
Взлетать и биться о карнизы зданья.

Втянули щёки тёмные углы,
И форточки прищурились в досаде,
И, задохнувшись, словно от хулы,
Распял себя свет солнца на фасаде.

На миг всё смолкло. Даже сердца стук.
А сверху – пуансон на наковальню –
Уже летела, обгоняя звук,
Плита дождя – так жутко, так фатально.

Разъехалось и треснуло в верхах,
От мира снизу полетели брызги,
И вспыхнули, давя животный страх,
Собачий лай и малолеток визги.

Мир ожил, заходил, залепетал,
Пытаясь что-то буркнуть в оправданье,
А ливень всё ярился и хлестал –
Небесный кат, свершавший наказанье.

Всё кончилось, быть может, в полчаса,
Последний бисер отзвенел о крышу…
Так плачу я. Такая же гроза
Кипит во мне, когда тебя не вижу.

Ах зачем довелось нам родиться…

Ах зачем довелось нам родиться
В этой Богом забытой стране?
Где давно уж ничто не святится,
Где лишь мат да плевки на стене?

Где бездомны собаки и люди,
Где безрадостен всякий удел,
Где отбиты кормящие груди,
Где и разум, и честь не у дел.

Где мужик, вечно сеющий полбу,
Стар и немощен не по летам,
Бьёт себя, очумелого, по лбу,
Сам себе отвечая: кто там?

Где девчонки, соперницы граций,
Лет с двенадцати знают постель
И до первых ещё менструаций
На всерусскую вышли панель.

Где работать зазорно и манны
Все заоблачной ждут без конца.
Где и водки, и слёз разливанны
Бесконечные вглубь озерца.

Где законом стал вор, а не совесть,
Где все мы никому не нужны.
Эх, скорей бы кончалася повесть
Этой Богом забытой страны.

МЕЧТЫ

Что куплю тебе, царица,
Я на ярмарке земной?
Чем душа твоя пленится
В этом мире под луной?

Я куплю тебе мониста,
Бархат, жемчуг и шелка,
Станешь ты как день лучиста
И как солнышко светла.

Я куплю тебе, любава,
Все сокровища земли.
Те, что слева, те, что справа, –
Только руку протяни.

Нить царевны Ариадны
Я по залам распущу
И в ночи, до маний жадной,
Твою спальню отыщу.

Я одену твои плечи
Серебром далёких звёзд,
Расстелю перину легче
Пуха всех гагажих гнёзд.

Только сбудутся едва ли
Те мечты. Где мой товар?
Что продам? – Свои печали?
Жизнь свою да свой словарь?

СЛОВО

Сказал пророк: в начале было Слово.
И, раз уж мы так чтим в его лице
Всю логику божественного, – снова
Оно же – Слово – будет и в конце.

Меж жерновами "Быти!" и "Не быти!"
Зажат поэт, чтоб у черты сказать:
Не смог я прочно связанные нити
Безумным многословьем разорвать.

Когда б глазная искра возжигала…

Когда б глазная искра возжигала
Огонь строки, строфы иль рифмы пламя, –
Я лбом бы бился обо что попало,
Но говорил – единственно б – стихами.

Я бился – что таить, но бросил быстро:
Не то чтоб мне досталось слишком крепко,
Но всё, что смог я сделать с этой искрой, –
Так прикурить однажды сигаретку.

СТРАННЫЕ ВЕЩИ

Лишь вдумаюсь – и всё во мне трепещет,
Хоть истина от разума бежит:
Есть странная похожесть между вещью
И тем, кому она принадлежит.

Мне эта странность дико докучает,
Я вижу в ней какой-то тайный знак
И с каждым днём яснее отмечаю,
Что это так всё больше, чем не так.

Дебел диван в гостиной у толстухи,
Светильник тучен, ожирел комод,
И даже муха – гляньте, даже муха! –
Как бегемот по вазочке ползёт.

А вот её прозрачная соседка –
Средь вилочек, иголочек и спиц –
На ветке табуретки – будто в клетке,
А с нею рядом – доходяга шпиц.

Иду на улицу – и вижу, как зловеще
И там без суеты и без затей
Уже не люди выбирают вещи,
А вещи по себе берут людей.

Пришельцев мы боимся пуще смерти,
Но вывод мой поистине суров:
Мы все давно захвачены, поверьте,
И вещи правят в лучшем из миров.

ЖЕМЧУЖИНА

Почему развить мы так стремимся
В своём теле устричную прыть?
Почему мы так любить боимся?
Почему мы так боимся жить?

Жалко-бесхребетные создания,
Наши души, тонут в толще вод,
А вверху – лазурное сиянье,
Хор небес и птичий хоровод.

Там, вверху, рождение галактик,
Звёздный плеск и Божья благодать.
В раковине – циклы перистальтик,
Тёмный сон и стылая кровать.

И лишь те, кому Господню пудру
Звёздной пылью взвило по крови,
Истекая мукой перламутра,
Выболят жемчужиной любви.

Лицо изгрыз зубок годин…

Лицо изгрыз зубок годин,
как мыши – корку.
Собрал в гармонь межи морщин,
а кожу – в тёрку.

И только то, что есть внутри,
поёт и млеет.
Неровно, что ни говори,
наш брат стареет.

ЮНОЙ МОДНИЦЕ

Вышла на улицу – милая дурочка,
Пытка платформ, на лице – штукатурочка…
Что и кому ты несёшь?
И для чего ты причёски кран башенный
Ловко воздвигла над бровью подкрашенной? –
Этим ты мир не проймёшь.

Сам он нагрянет к тебе, огорошенной,
И воцарится, нахальный, непрошеный, –
Дай только подлому срок.
Кудри твои разовьёт и отъявленным
Грубым вторжением, соком отравленным
Нежный погубит цветок.

Ой не зови его, страшного, сального,
Не приближай ты мгновенья печального,
Пагубной тьмы не мани.
Пусть же краса, простота и приличие
Будут залогом такого величия,
Что не угаснет в тени.

ЛОРЕЛЕЯ

Мой ялик в тумане по шёлку валов
Летит к Лорелее, владычице снов.

И пусть светлогривый дурашливый Рейн
Подругу свою мне покажет скорей.

Она златокудра как солнечный нимб,
С ней только богини сравниться могли б.

Но чу! Эти звуки, как ветер в висок…
Уж не Лорелеин ли то голосок?

Небесные ноты, прелестный мотив –
Как стрелы золоты из сотни тетив.

К тебе, Лорелея, к тебе, моя страсть,
Спешу я скорее в объятья упасть!

Но Рейн среброгривый подъемлет валы –
Увы, его силы отнюдь не малы,

Оскалил он в гневе ужасную пасть,
Но ты, Лорелея, не дашь мне пропасть.

Маяк лучезарный, прямая стезя –
Волшебная вольная песня твоя.

Сквозь козни Борея и Рейнову спесь
Иду я во мгле на чудесную песнь!

Но что ты твердишь мне, усатый Борей?
Что нет Лорелеи коварней и злей?

Что там, впереди, чёрным зубом – скала?
О небо! О боги! Какая хула!

Я счастлив и весел, и руки тверды,
И ялик мой крепок, и нету беды.

Опять Лорелея зовёт и поёт,
И гребнем лиловым по волнам ведёт.

И гребнем лиловым по сердцу ведёт –
По крови моей среди Рейновых вод.

Был прав ты, бессердый, косматый Борей,
Лишь Рейну открыты сердца Лорелей.

Мама, мама, посмотри…

Мама, мама, посмотри!
Подбираются к подушке
Мыши, змеи и лягушки!
Прогони их, прогони!

Что ты, дочка, это тени
От сирени…

Мама, мамочка, скорей,
Помоги же горюшку,
Очень больно горлышку –
Змей на шее, хладный змей!

Это, милая, платочек
Для примочек…

Мама, мама, что с тобой!
У тебя чужие руки –
Это руки страшной буки,
Что рождается с луной!

Так уж вышло, дорогая, –
Умерла я…

Эх, не убита пьянством печень…

Эх, не убита пьянством печень
И зуб не выкрошен кирзой,
И сердца толк, хотя не вечен,
Но всё же радует собой.

И я не жду иного чуда,
Чем ровный вдох и выдох вслед.
Пока дышу – я славить буду
Живучий дёрн на склоне лет.

Зачем дробил ты то, что не разъять…

Зачем дробил ты то, что не разъять?
Зачем скреплял, что жизнь давно скрепила?
Когда бы пальцев на руке твоей не пять,
А десять раз по пять пятьюжды было –
Отсёк бы лишние? Иль стал бы горевать,
Что жизни взять ещё – ещё десятка не хватило?
Не загребай. Всего, одно, не взять.
А взяв, не отпускай – пускай остыло.
Держи и полнись, ей не занимать,
Душе твоей, ни места, ни правила.

ИЗ КНИГИ "Я ЖИЛ НА СВЕТЕ" (1999)

ПОВОД

Есть повод для всего. Для ропота горящих,
В стигматах автотрасс, ладоней тополей,
Для крика тысяч глаз, с надеждою глядящих
В ту сторону, где мир значительно живей.

Есть повод для всего. Для веры в неизбежность
Того, что лёгкий бриз родит не мышь, но вал,
И свалится с небес сухому дню в промежность
В награду за мольбы животворящий шквал.

Есть повод для того, чтоб мокрые подмышки
Нашли свою струю, всю честь не испятнав,
И чтоб, едва пахнув – отрыжкой у ярыжки, –
Убрался сорный сток из жаждущих канав.

И чтоб, как встарь, стекла́ монокли запотели
И тыкались авто как выводок котят,
И ножки девичьи, в тончайшие прюнели
Обутые, всё шли и радовали взгляд.

И этот повод прост – как сон, как казнь, как эта
Ослепшая теплынь, как этот город-лунь,
Как это мухами засиженное лето.
Три имени его: удушье, зной, июнь.

ЛЕТОМ В ДЕРЕВНЕ ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Не знаю, не глупость ли это:
От фортки летит мошкара
И запах кармина от лета,
И запах потерь со двора,

И что-то пупом среди неба,
И небо дождём на сносях,
И Фебом набрякшая Феба
На влажных своих простынях.

В сенцах толкотня кошенили
И рваная рана двери,
И в тучах сгуста подсинили
Да первую прошву вплели.

Гром щёлкнул затвором небесным
И первую фотку – в альбом,
Ему, дураку, интересно,
Что станется с Фебом потом.

На грядках – ботвиньи метели,
Падение в обморок, пляс
И дружный поход каротели
На всевитаминный Парнас.

Когда же окно задохнётся
От первой приго́ршни песка,
Принять эти роды возьмётся
Жестокая молний рука.

И магния вспышки зача́стят
По пряслам, по ромбам куртин,
По нашим любовям и счастьям
Средь этих лесов и равнин,

По нашему глазу испуга,
По нашему поту вдвоём,
По навзничь упавшего луга
Отливу в лесной окоём.

Забьётся комар малярийно
За ставнею в струпьях олиф,
И грянет – что до́лжно – стихийно
С высот повивальных своих.

И криком простынным раздета,
Все ногти сломает о дол
Принявшая первенца света
На тёмно-свинцовый подол.

И мы, этой тайне причастны,
Апостольской первой слезой
Приветствуем в тёмные ясли
Сошедшего с этой грозой.

И нам сопричастны погоды,
Что дням возрожденье несут…
И околоплодные воды
На мир с высоты отойдут.

ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ

Как обнялось, как сладко целовалось
Губами, стосковавшимися в кровь!
Как много ими сразу рассказалось,
Иссетив лоб, сломив и выгнув бровь.

Как, скинув с плеч вокзалы и отели
И ворот ожиданья разорвав,
Всё кинулось к тебе в отвыкшем теле –
До дрожи, до мурашкиных орав.

И закатилась лестница белками,
И, рот открыв, застыл дверной проём,
И голод мой тоски моей руками
Сгребал и мял в безумии своём.

Откликнулась, до нерва совпадая,
Любовь твоя, точнее – ты сама,
И прикипела с края и до края,
Вся в судорогах тела и ума.

И дом ресницы трепетные смежил
И обнял нас, слиянных в этот миг,
И всё, чего я бы лишён, чем не жил,
Теплом текло ко мне за воротник.

Мы разделили счастье, тем умножив,
И в ознаменование надежд
Свершившихся уже стелилось ложе
И разрывались обручи одежд.

Какое чудо – стать единым целым,
Тем неделимым целым, вчетвером,
Когда мы вместе в мире опустелом –
Любовь и ты, и я, и этот дом.

ВЕЧЕР

Вот и вечер. Свет в окошке,
Ты с огнём зари не спорь.
В скляной плошке сбили мошки
Масло первых летних зорь.

Из синеющей лощины
Вышли тени в бель дорог –
Как угрюмые мужчины
На угрюмый свой порог.

Рдел закат как оплеуха.
Запад щёку воротил
И, горящую до уха,
Укрывал и уводил.

Разливался рёв цикадный,
Голосила детвора,
Будто пел концерт эстрадный
Глоткой нашего двора.

И старухи, дщери солнца,
Словно стаи светляков,
В нашем сумрачном колодце
Тлели золотом очков.

И покой дышал как а́тлет –
Полной грудью в две ноздри.
И жасмином сладко пахли
Губы тёплые твои.

Круглой дырочкой на сыре
Мы проникли в глубь двора.
Хорошо, что в этом мире
Есть такие вечера.

СТИРКА

Лишь только объявит рассвет златокудрый,
Что дню предстоящему велено быть,
И луч – и завит, будто паж, и напудрен –
Придёт нам ресницы и души светлить,

Лишь только утихнет содом петушиный
И шлёпанец вдруг обнаружит ступня,
И где-то последняя скрипнет пружина,
К кувшину последнего соню гоня, –

Так в наших хоромах свивается вихрь
И вьюжит и снежит простынно-бело,
Становится ветрено юбкам, и лихо
Становится брюкам, и окнам светло.

Из петель – крючки, со всех пуговиц – ушки,
Всё снято-раздето врасхлёст и враскид,
И, розовопузы, толпятся подушки,
Как девы к Луцине в языческий скит.

Драпри со всего, с каждой клеточки дома,
Похищено, сорвано, брошено прочь.
И всё нам становится вдруг незнакомо
И жутко, как в первую брачную ночь.

Коттонов и ситцев намётаны груды,
Всё новые пики растут на глазах,
А в комнатах голых стоят, плоскогруды,
Столы на своих онемелых ногах.

И кресла, вальяжность и спесь поумерив,
Лишившись чехлов, как последних штанов,
Коленями всеми всё жмутся за двери,
Со стен гобелены моля на покров.

Полы, как гетеры, разнузданно-голы –
Хоть с девственным видом младых недотрог –
Лежат, закатав лоскутные подолы
Своих домотканых весёлых дорог.

И плещутся звуки ведёрно и гулко,
И пена – ушатом, как горлом – слюна,
И дом ноздреват, будто сдобная булка,
И мылом увита грудь шёлка и льна.

Могучие женские красные руки
Всё носят и возят, и трут и скребут,
И забраны косы в тугие клобуки,
И капли испарин медово текут.

Такая работа – до сладкого пота,
До липкости кожи, до жара в паху.
В плечах, в пояснице, в суставах ломота,
И пальцам немота в их пенном пуху.

И жёлтое масло нагретого дома
Проколют, как спицы, верёвок лучи,
А после пластами нарежут весомо
На здорово пахнущие кирпичи.

Всё то, что лежало, что грудилось пыльно,
Всё то, что несло отпечаток телес, –
Теперь первородно, бело и стерильно,
И влажно, и длинно на тугости лес.

И вот, наконец-то, приходит минута,
И влажные соты берёт упокой,
И улей стихает, забывшись как будто,
И мутные воды уходят рекой.

Разъятый домина свыкается с новью
Своей обелённой святой наготы,
И женщины-прачки взирают с любовью
На мир сотворённой вокруг чистоты.

КАЛЕКИ

Кто клюкою еры чертит,
Будто сор метёт метлою,
Будто пробует от смерти
Убежать лихой тропою?

Кто имеет пару впадин
Вместо глаз во лбу набухшем,
Кто фруктовой статью статен,
Книзу весь, как будто груша? –

Это нищенка с базара,
Что хромает к месту бденья,
Как разбитая гитара
На руины песнопенья.

Там, у входа, на пороге,
Будто страшный день вчерашний,
Инвалид сидит безногий –
Конкурент её всегдашний.

Ей, что сухостью глазницы
Превосходит ночь Сахары,
Он, обрубок, как царице,
Предоставил роль Тамары.

И весь день средь яств и крынок
Эта пара крестит пузо
И катает шумный рынок
Медяки шарами в лузы.

Он – как бюст на пьедестале
На колясочке убогой,
И она, в кошмарной шали, –
Как медведица с берлогой.

Оба за день ни полслова
Не обронят меж собою,
Крохи медного улова
В шапках блещут чешуёю.

Крики, шум, галдёж – триплетом,
Вони рыночной флюиды…
И они – зимой и летом
У ворот – кариатиды.

И лишь ночь, шальная лгунья,
Сводит их в норе опасной,
Где при свете новолунья
Рдеет бомж культёй ужасной

И бабца, как крот из сказки,
В темноте, как ад безглазой,
Водку хлещет, строит глазки,
Просит: трогай, щупай, лазай!

И всю ночь безумно пляшет
На клопах в циновке старой
Новомодный монстр и машет
Жутких лапищ лишней парой.

И тебе ли знать, прохожий,
Проявивший соучастье,
Что и в эти души вхожи
Дар любви и жажда счастья.

Я помню вечера…

Я помню вечера в одиннадцать, двенадцать
Часов и лет.
Когда всему вокруг наскучит вдруг смеркаться –
И гаснет свет,

И под корсетами надушенного сада,
Как грудь тесна,
Толпится летних дней сладчайшая услада
С глазами сна,

И полнота ночей с дурманящею дымкой
От сигарет
Течёт, вливается щемящею грустинкой
В мальчиший бред.

И ночь напичкана восторгами событий
Как злат рундук,
И в нить единую сплетаются наитья
И сердца стук.

И что копил тогда восторженным парнишкой,
В душе храня, –
Лишь пылью выглядит под поднятою крышкой
При свете дня.

НОЧНОЙ ВЕЛОСИПЕД

Тополь – лавр уральских стогн.
Как литавры – лета стон.
Окольцована резина,
Ниппель, камера, баллон.

Вечер съел и пыль, и даль,
И невидима педаль,
И качают мокасины
Рычагов тугую сталь.

Тополиный льётся пух,
За грудиной мнётся дух,
Шелест шин, как шёлка шёпот,
Лишь один ласкает слух.

В дебри парка, в новый круг,
Я бросаю руль без рук,
И ершится в спицах обод
Цепью парковых излук.

Ветер туг, упруга грудь,
Впереди и сзади путь
Тёмен, будто сердцевина
Сна, и нов, как жизни суть.

Хвост рубашечий – крылом,
Ночи надолбы – на слом!
И железный конь-детина
К паху ластится седлом.

НАД СЕРОЮ БЕЗДНОЙ

Светлане Ивановой

Я тропою забвенья пугливой
Пришёл и заплакал.
Тряс осокою день, будто гривой,
И дождиком капал.

Твои брови срослись как сиамы
Над серою бездной.
Будто шашки казачьи упрямы
Для сечи железной.

И дорожка овсами бежала –
Сюжет левитанов,
Ты мизинец в ладошке держала,
В молчание канув.

Где река протесала суглинки
Цейлонским чифиром,
Мы с тобою справляли поминки
И мазались миром.

Навсегда уходили в молчанье,
Не встретиться там уж.
Будто шашки удар – пониманье
Навечное – замуж.

Так любовная повесть сказалась
Без звука и слова.
И фамилия чья-то осталась
Во мне – Иванова.

КУЗНЕЧИК

Когда я в травах утопал,
Как фавн, по плечи,
Мне песню жизни напевал
Скрипун-кузнечик.
Он пел о сладком молоке
И о лактозе,
О тёплой маминой руке –
В стихах и в прозе.

Он пел о том, что жизнь длинна,
А счастье вечно,
Горели солнце и луна
Мильонносвечно.
Ему с восторгом я внимал,
Предуготовясь,
И зачарованный стоял
В траве по пояс.

А мой скрипун всё пел и пел,
Не мог уняться.
И я поймать его хотел
И разобраться.
Вот только надо бы сперва
Унять одышку,
Найти – раз плюнуть, ведь трава
Мне по лодыжку.

Но он по-прежнему незрим,
Судьбы маночек.
В траве увядшей, нелюдим,
Звенит звоночек.
Ах милый мой, звени, звени
Под муравою
В густой кладбищенской тени
Над головою.

Кандалы, кандалы, кандалы…

Кандалы, кандалы, кандалы…
Гор Уральских навыкат валы.
Как шары на цепи в плывуны –
Погрузились в леса валуны.

Будто пал, расплескавши казан,
Многобрюхий удмуртский пузан
И, как бельма, упёр в небеса
Гор Уральских навыкат глаза.

Только лбы, только губы и лбы,
Да налитые болью горбы,
Как гробы, как ловушки судьбы –
Гор Уральских навыкат горбы.

Средь лесов, где ермачил Ермак,
Наши души – последний ясак –
Мы Уральским горам без вины
Положить на пригорбье должны…

Это я, это он, это ты –
Это наши, как прошва, хребты.
Злой щетиной заросшие рты
В буреломе и лже немоты.

Горлом гор – эхо сдавленных слёз.
Сердцелом, душегуб, телотрёс –
Он дыханье унёс, он украл
Всё, что мог, черногорбый Урал.

Снятся людям, что здесь рождены,
Беспокойные, тёмные сны,
И растут из седой глубины,
Что надгробия нам, валуны.

СМЕРТИ

Здравствуй, безносая. Что ты куражишься?
Думаешь, нынче я твой всецело?
Ты каждый день мой, как солдата вражьего,
рассматриваешь в щель прицела.
Щуришь глазницу, хоть щуриться нечем там,
блещешь косою, до жатвы охочая,
чёрным на чёрном и чёрным оверчена,
кра́дешься ночью и шепчешь, и прочая.
Глупая, старая ты христарадница,
чёрная нищенка с боговой паперти,
к близкому пиру спешишь опарадниться,
мечешь приборы по савана скатерти.
Но об одном не забудь, моя милая:
нитью, на коей ещё вишу я, –
дальним концом, хоть и тонко, и хило, и
глупо, – привязан ещё к Творцу я.
Так что ты можешь кружить-ерепениться
и нетопырить свою перепончатость,
только от этого вряд ли изменится
нити связующей прочность и солнчатость.
Жди и молись, своей участи пленница,
в час и минуту всё то, что не дожило, –
кости мои, как сухая поленница,
снидут к тебе, и тобой будут сожраны.

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ

Первый пух, шептун и щёкот,
бархат пыльного июня,
на ветрá, на пыль и грохот,
из тебя на лета хохот
полог шьёт пора-шаркунья.

По щелям и сухотравью,
по кюветам парапетов –
дань природы своенравью –
лавой белой, сонной явью
лето пенное одето.

Первый чих и первый причит,
тополя – как ворожеи,
город глохнет, город бычит
низкий лоб и пальцем тычет
в ноздри лету, как в траншеи.

Ошалев каникулярно,
стайки недорослей скачут.
В одиночку и попарно
серой чиркают угарно
и от взрослых спички прячут.

Не сгореть тебе, перина,
в белой мгле изнеможенья;
сутки, двое ты невинна,
ливня летнего лавина –
будто семяизверженье.

Час спустя увидят те, кто в
створы парковых дорожек
ступят первыми с проспектов, –
неопознанных субъектов
в сером рубище серёжек.

СОНЕТ

Бессмертная любовь, горящая нетленно
В созвездиях, сердцах и промыслах Творца,
Пылающая в нас светло и неизменно,
Способная сиять без меры и конца,

Великая любовь, что движет своды мира,
Начало всех начал под солнцем и луной,
Живая духа мощь, Иисусова порфира,
Способная объять Вселенную собой, –

Зачем, о сила сил, порыв души ничтожишь,
Зачем, лишь поманя, бросаешь увядать,
Зачем палишь сердца и сладко муки множишь,

Коль немощен сосуд, что рвёшься наполнять,
Коль бренна плоть, которую тревожишь,
Коль не дано тебе у смерти отнимать?

НАДМЕННОЙ КРАСОТКЕ

Всё из списка преимуществ,
Из сокровищницы черт,
Как по описи имуществ,
Без анонсов и оферт
Ты сосудам этих качеств,
Их владельцам искони,
Без оттяжек и чудачеств
Обязательно верни.

Ты верни сиянье – небу,
Прелесть уст – бутонам роз,
Блеск очей – шальному Фебу,
Живость – полчищам стрекоз,
Взлёт бровей – крылу пернатых,
Всю истому – сну аллей,
А улыбок плутоватых
Белизну – цветкам лилей.

Воли пусть в тебе достанет
Возвратить счастливый груз:
Гибкость стана – резвой лани,
Одарённость – стае муз,
Голос – самой чистой ноте,
Гордость – пикам снежных гор,
Лёгкость – ласточке в полёте,
Чистоту – в сосновый бор,

Тайну взгляда – кисти Винчи.
И увиливать – ни-ни.
Даже ум, что половинчат,
Ты Создателю верни.
А себе оставь по праву
Лишь две вещи наперёд:
Спеси горькую отраву
Да бездушья стылый лёд.

МУРАВЬИ

По старым стенам ходят муравьи,
И вздрагивает кожей дом старинный.
Там новый Цезарь вновь полки свои
Кидает в бой за мощь своей семьи
В войне двух рас – меж Кухней и Гостиной.

Он Коридоры покорил вчера.
Оставшихся в живых ждала секира.
Пощады нет, пришла его пора,
Он – бог войны, война – его игра,
Где ставка – жизнь, а приз – корона мира.

И вот теперь – да, да! – настал черёд
Тех жалких трусов в солнечной Гостиной.
Когорту за когортой он ведёт
В жестокий бой – он в порошок сотрёт
Всех варваров на их земле пустынной.

И станет дом империей его,
Он будет Царь – один в огромных стенах.
И к лаврам легиона своего
Примкнёт он славу пиршества того,
Что разгорится на костях неверных.

И снова – бойня, снова – пыль столбом,
И враг бежит позорною тропою.
А наш герой – мудрец и веролом, –
Пустив страну, как старый хлам, на слом,
Уже твердит державу под собою.

Теперь он царь и бог и весь насквозь
Пронизан славой, и готов к параду…
На ту пору́ хозяину пришлось
Быть рядом. "Муравьёв-то развелось!" –
Он говорит и насыпает яду.

ВРЕМЯ

Время – самостийный агрегат,
Двигатель всемирного сгоранья,
Адский ворот в створе райских врат,
Вал рожденья, маховик закланья.

Сталь и никель. Звёзд холодный впрыск.
Гул миров в тенётах притяженья,
Вой пространств, материй стон и визг,
Волапюк извечного круженья.

Там, где поршень свёл и нынь и старь,
Там, где след от хлорофилла тонкий, –
Там, елозя, вечность копит гарь
В смазке бесконечной шестерёнки.

Эта гарь пытается понять,
Для чего она нужна машине.
Ходит поршень то вперёд, то вспять
По людской тончайшей чёрной глине.

Трутся грани мертвенных пластов,
Измельчая и рождая плёнку,
И частицы разных возрастов
Чешет время под одну гребёнку.

Но любой толике из толик
В пузыреньи смазочного счастья
Кажется, что этот бег возник
И идёт не без её участья.

Сколь смешон и жалок этот рай
Самомненья мучениц-корпускул!
Так ребёнок малый – толк трамвай,
Тот идёт, а кроха кажет мускул.

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА

Ни рожи, ни кожи в тебе, моя милая,
С суконнейшим рылом – в калашный-то ряд,
Весна изможденно-уральская, хилая,
Осенних дождей с тебя струпья летят.

Как будто природа, запойная матушка,
Тебе удружила коклюш и рахит,
И перхает гулко усталая ратуша,
И церковь в тумане скрывает плеврит.

Хромаешь морозцами с первого шага ты,
И спутаны в тучи остатки волос,
Под ветром зонты, как буддийские пагоды, –
Навыворот, рёбрами, наперекос.

По впалости щёк нам судить о пришествии
Тяжёлых и мрачных, и долгих времён.
Лихой саранчи ли грядущи нашествия,
Иль общий разор и смешенье племён?

Привычкой былой с нарождением нового
Тебя уже нам ни за что не связать.
Потрава зимы, её духа здорового,
Что можешь ты сердцу усталому дать?

Скорей умирай от чахотки недюжинной,
В горячку июня скорей перейди,
Последним дождём, панихидой заслуженной,
Хоть что-то, но пообещай впереди.

Есть у народа странное занятье…

Есть у народа странное занятье –
Из окон он глядит по вечерам;
И тёмные фигуры, как распятья,
Всплывают в пятнах света тут и там.

Стоят в бойницах жёлтых окон стражи,
Как будто их на тонкий шёлк стекла
Мазком небрежным самой чёрной сажи
Рука сюрреалиста нанесла.

И мне понятен этот выход странный
И этот взгляд бесчисленнейших глаз –
Закат срывает полог многотканый
С хранимого досель в душе у нас.

Так первые стада людей когда-то
В глаза Творцу – как равному, в упор –
Смотрели, и кровавый луч заката
Их выводил из тёмных, душных нор.

И ныне, как и встарь, пожар закатный
Сердцам дарúт невиданный талант –
Провидческий, надмирный, всеохватный,
Горящий будто редкий бриллиант.

В короткий миг кровавого затменья,
Исполненные даром ведовства,
Приемлют люди новые уменья
И прозревают тайны естества.

Им в этот миг открыты все пределы
И глуби все в жутчайшем из миров.
Жилища их, забыто-опустелы,
Стоят за ними сонмищами вдов.

Слиты мильоны жертвенным порывом,
Согласны будто ангельская рать…
Но злая тень бежит, бежит по нивам,
Скользит, съедая мир за пядью пядь.

И гаснет в душах сила превосходства,
И гибнет, не родившись, колдовство,
Ко сну отходит жалкое сиротство,
С божественным забывшее родство.

На краткий миг поднявшись из пещеры,
Разъяв тугие обручи вериг,
Как прежде расправляет крылья веры
Пещерный люд – увы, на краткий миг.

Я пойду и нарву ковылей…

Посвящается двум сгоревшим:
моему дому и моему детству

Я пойду и нарву ковылей
На развалинах милого дома.
Что ж ты, светлая память, черней
Пустоты и безжалостней комы?

И зачем разнотравья ковры,
Те, что взор ублажают и нежат,
Так нещадно остями остры
И ладони мне режут и режут?

Ни крыльца, ни единой стены,
Ни обугленного бревешка…
Головёшка гудит от вины,
От вины, что с вином вперемешку.

Здесь впервые шагнул, голопят,
Припадая на пятую точку,
А теперь здесь ветра́ галопят
Да цикады шлифуют заточку.

Вот и дом мой, которого нет…
Давний образ… Я память кормил им.
До последнего нерва раздет,
Я стою на пожарище милом.

Непостижна мне истина та:
Если детское счастье недолго,
Отчего же в седые лета
Всё так живо, так остро, так колко?

Недостаточно жизни одной.
Не нажился я – лишь натерпелся.
Щелеватый, дощатый, родной,
Ты мне в кожу впитался и въелся.

Я ушёл. Не нашёл ни шиша.
И вернулся, не мог не вернуться.
Ибо не отыскала душа
Уголка, где могла бы приткнуться.

И теперь, ковылями пыля,
Я тихонько взойду на крылечко,
И сгорю, как и ты, – до нуля
Детству заупокойною свечкой.

Я жил на свете…

Я жил на свете. Боль моя и слёзы
Текли из ран, как чистая камéдь
И бисером поэзии и прозы
На дно эпохи падали твердеть.

И, может, бурям будущим подвластно
Случайному потомку на заре
В песке времён блеснёт кроваво-красно
Моё крыло в оплывшем янтаре.

ИЗ КНИГИ "ТИШИНА" (2000)

ТИШИНА

Ночь встаёт на дыбы как гнедой жеребец,
Разметав по залесинам гриву заката.
Пахнут смертной болезнью полынь и чабрец
И чадит, как безумие, мята.

Если ты, моя кровь, не устала бежать,
Если ты, мой покой, не устал нарушаться,
Я заставлю перо в энный раз не дрожать,
Я попробую здесь задержаться.

Тишина – это то, что гремит по ночам,
Это реквием каждой ушедшей минуте.
Если ноша ночная мне не по плечам –
Дни грядущие, не обессудьте.

Мне ли немочь свою досылать до небес?
Мне ли быть обуянному спесью ночною?
Я – толмач, не могущий объять тех чудес,
Что таятся за лавой свечною.

Выходите же, ночи мои, табуном,
Вы и воля – одно. Ах, родные, поверьте,
Я спокойно усну, опоённый вином
Тишины как лекарством от смерти.

НОВЫЙ ДЕНЬ

Трудилась ночь как верфь Петрова.
Едва дотлел заката трут –
Упал покров, и тень покрова
Одела тайной этот труд.

И те подспудные движенья,
Что для людских незримы глаз,
Питали плоть воображенья,
Как свежий хлеб питает нас.

За гранью полога ночного,
За рубежами сонных волн,
Вдали от сполоха свечного
Вершился труд, загадки полн.

Текли неведомые токи,
Дышал невидимый колосс,
И чутким нервом через блоки
Ходил пульсирующий трос.

С нетерпеливым, жарким зудом,
Под стать державному Петру,
Весь мир следил за этим чудом,
Приготовляемым к утру.

И вот, объявленный рассветом,
Крылатый день, зари светлей,
В пучину времени корветом
Легко сошёл со стапелей.

Трубили звёзды, угасая,
И солнца жёлтая бутыль
Летела в борт. Её бросая,
Господь семь футов клал под киль.

И ветер с силою былинной
Во весь опор, во весь размах
Небесной щёлкал парусиной
И, словно докер, потом пах.

ОБЛАКА

Над миром – горы, призрачны и зыбки,
Стремят за грань свой бесконечный бег.
Я вижу в них подобие улыбки
Над тем, чем был и станет человек.

Лишь им, гигантам, в царстве эмпирея,
В надмирном сне, векá, за годом год,
Позволено Всевышним, не старея,
Меняясь вечно, длить свой вечный ход.

И день придёт, как он приходит к старым,
Когда и я, избыв печаль свою,
Оставив всё, солью с их белым паром
Своей души прохладную струю.

Исплакал дождь оконницу…

Исплакал дождь оконницу,
Разрывный, бело-чёрный,
Раззванивается звонница,
Вёдро забыто, час ведёрный.

Яблоко небесное еле ворочает
Белками мглы, и не зрится ему.
Исплаканы вёсны, да так, что мочи нет
Перевалиться за лиц тьму.

Холодно. Дует из всех щелей.
Дали стреляются глухо, навылет.
Лишь куцая птичка на сердце елей,
Вспорхнув из-под стрехи, мне выльет.

Труба натрубиться вчерашним дымом
Не может о дне вчерашнем
И молит о ситце, о цвете любимом,
И чертит, и чертится "Даждь мне".

И если сухое кой-где и осталось –
В подперье схоронено птицами
Да, может, истлевшим листом завалялось
Меж пыльными где-то страницами.

ЯЗЫЧЕСКИЕ БАЙКИ

Языческие байки.
Дурманящий настой.
От солнечной нагайки
По эллинской лужайке
Лечу к себе домой.

Сандалии ли, крылья
Иль икры взвил Гермес,
Лечу, топча ковыль, я
Средь солнца изобилья
На сотни вёрст окрест.

Не хвор и не увечен,
Но радостен и пьян,
И Вышними привечен,
Несу шальную печень
Сквозь кашку и бурьян.

Маеты Прометея –
Лишь гиль и брёх, и бред.
Кометою Галлея
Под возгласы "алле!" я
Пропарываю свет.

Хохочут вслед наяды,
Стучит копытом Пан,
Свершаются обряды
У солнечной ограды,
Где кашка и бурьян.

И Гелиос с нагайкой,
Коней своих загнав,
Бредёт, как есть, лужайкой,
Метя своей фуфайкой
По пеплу палых трав.

ГРОМ

Подкрался гром на лапах ливня
И озадачил уши гнёзд,
Заставил крыши плакать ливмя
И осадил пошедших в рост

Крапив увядшие предплечья,
Головоногий лук. Бряцал,
Кропил, – целя, неся увечья, –
И смерть безумьем отягчал.

Он свой приход обставил пышно:
Воздел столбами пыль дорог,
Низверг жару с уснувших крыш на
В пыли распятый солнцепёк,

Гвоздил заборы, сыпал бисер,
Как скопидом, по закутам
И выезжал, как турбоглиссер,
На реку к пойменным цветам.

И, раскатившийся аллюром
По беспредельности небес,
Мурашками по шевелюрам
Прошёл на сотни вёрст окрест.

Его набат и дрожи токи
Легко, свободно, без труда
Вошли, как в пойму, в эти строки,
Чтоб в них остаться навсегда.

СВЕТ ДВОИХ

В раструбах города, где сажа и кармин,
Где цок и лязг разъездов и уздечек,
Где сглаз оконный жёлт как стеарин,
Случилось чудо маленьких сердечек.

И сказ о том, что в жизни их стряслось,
Им улица меж рам жужжала мухой,
И простыня, что всё съезжала вкось,
Была их тайне первой повитухой.

В окно глядели купы фонарей,
И, как волхвы, несли свои подарки
Все шпили города, аллеи, львы и арки,
И барки в гавани на сцепах якорей.

И ночь новорождённую крестила,
Купелью свив прохладную струю,
И пели колыбельную свою
Ей парапеты, плиты и перила.

Зачем, о вечный город, ты разжёг
Из трута пламень на Седьмой Каретной?
Зачем, тела двоих смешав, испёк
Сладчайший крендель страсти беззаветной?

Уж не затем ли, что не можешь жить
Лишь лаем псов да свистом подворотен
И свежей кровью должен разводить
Ты гной застав и лимфу чёрных сотен?

Коль так, то – заклинаю! – сбереги
Как божий дар, как редкостный подарок,
Объятья двух, что так теперь туги,
И свет блаженства их, что так небесно ярок.

БЕЗ ПРИЗОРА

Неделю дождь. И это уже слишком.
Сиди тут, как Емеля на печи.
У ангелов мокрота и одышка,
У бога недержание мочи.

Оставлены вниманием господним,
Из обуви имея только грязь,
Кусты, как погорельцы, все в исподнем
В рекрутчину сдаются, очертясь.

Не тает марь над городом продрогшим,
В линейку всё, как школьная тетрадь,
И дни безглазые по улицам размокшим
Влачатся, поминая чью-то мать.

Напрасно ежеде́нь своим дозором
Обходит солнце эту мира часть,
Кладёт господь на всех на нас с прибором,
Как только он один умеет класть.

ГРОЗА В ГОРОДЕ

Ополоумевшею поломойкою
Гроза по городу прошлась,
Грязцу разбрызгала нестойкую,
А стойкую плотнее вбила грязь.

Развешала, как ветхое исподнее,
Холстины мокрые с плеча
И все обиды прошлогодние
В лицо швырнула стогнам сгоряча.

Её, похоже, здорово обидели,
Дав на уборку полчаса.
Такой её ещё не видели –
Вздувающей безумства паруса.

Она лишь долу пыль низвергла крышную
Да сплюнула досадой брызг,
Прошла, сорвав цифирь афишную,
По улицам, расхристанная вдрызг.

Из всех щелей столетний сор повынула
Тычком остервенелых швабр,
Ушла и вёдра опрокинула,
Оставив мир лежать в раздутьи жабр.

Сама же разобиженною школьницей
До разрывания нутра
В жилетку леса за околицей
Ещё вырёвывалась до утра.

ПЛЯЖ

На берегу играли дети,
Был пляж песчан, а даль – светла,
Один на всём на белом свете
Аквамарин вершил дела.

Он спины детские румянил,
Смеялся солью в волосах
И был так свеж, как будто занял
У бездны весь её размах.

Улыбки мам, песка шуршанье,
Ленивых волн скользящий шёлк
И дети – чада послушанья,
В ваяньи знающие толк.

Уже спускал песчаный замок
К воде песчаный виадук,
И даль картиной на подрамок
Была натянута вокруг.

Текли минуты, дни, столетья,
Грудину дна голил отлив,
Ушли родители и дети,
Свой скарб нехитрый прихватив.

Затем закат, как выстрел, грянул
И кровь небесную пролил,
А там и он бесследно канул
Во мглу без света и светил.

И, наконец, текучей ртутью
На море вылилась луна,
Заполнив мир тоской и жутью…
Был пляж песчан, а даль – темна.

СОСНЫ

Небесный сок по иглам тёк,
Сбегал по гроздьям шишек –
Да так, что буйный солнцепёк,
Разлитый у сосновых ног,
Едва из мер не вышел.

Неся сусальный свой наряд
И рдея крон короной,
Ступали сосны дружно в ряд,
Как будто вышли на парад
С обложки макаронной.

Кроили ножницы древес
Отрезы тьмы и света,
И видел лес, как падал срез
С небес – со звонами ли, без, –
Как новая монета.

А там, внизу, сквалыга мох
Мешкам мешал мешками,
И грёб, и скрёб, и, жмотясь, сох,
И всё беззубо шамкал: "Ох,
Намаялша я ш вами!"

Но пелось иглам и стволам,
И землянике пелось,
И даже мухам к паукам
Под этот шум и тарарам
Как на фуршет летелось.

Зелёный воздух был сродни
Бугристой спинке жабы,
И простодушные слепни
Безглазо тыкались во пни,
А бабочки – в ухабы.

На разлинованном холсте
Как рислинг ноты висли,
И птицы пили ноты те
И пели, и по красоте
Тот вызвон был немыслим.

С полян, куриной слепотой,
Как ситцами, одето,
С улыбкой девушки простой
Сквозь этот ливень золотой
На мир глядело лето.

ВЕТЕР В БОРУ

Не скрип, а скрёб, до скреп у сердца,
По всей земле, что под пятой
Сосновой, что в мятежном скерцо
Несётся в пляске огневой,

Что вяжет ил и мох узлами,
Ломает пальцы, рвёт кору,
На жёлтом древке злое знамя
Вздымает в синь, в огонь, в жару.

Сосняк рычит как зверь когтистый,
Волною зыблясь игляной,
И, как пращёю, аметисты
Кидает долу, в бездну, в зной.

Швартовы выбраны подлесков,
И солнце плавит якоря,
И цвет корней – как цвет тех всплесков,
Что за кормой идут, горя.

И, всей поднявшися громадой,
Ветрила вздув, могучий бор
Тысячемачтовой армадой
Тысячемильный мнёт простор.

Такую мочь подняв и двинув,
Ты, ветер, знал ли в этот миг,
К какому бою исполинов
Ты, раззадорив их, подвиг?

А может, атомному веку
Ты вдруг напомнить захотел,
Что было любо человеку
В эпоху шхун и каравелл? –

Тогда ярись – тот век не отжил,
И ты опять счастли́во пьян:
Зелёный новый хвойный Роджер
Тобой, как бесом, обуян.

ЕЙ

Среди твоих холмов и благодатных впадин,
На кручах естества, в расселинах страстей,
На виноградниках, где гроздья виноградин
Как слёзы счастия в сплетении кистей, –

Я – робкий пилигрим, калика перехожий,
Забывший род и кров, презревший явь и сон,
Я – странник чар твоих с обветренною кожей,
Тебе, как идолу, несущий свой поклон.

Я – Кук твоих морей, Колумб твоих Америк,
Я – вечный Амундсен твоих святых снегов,
Твой каждый уголок как благодатный берег,
Любя и веруя, я пестовать готов.

Моя вселенная, мой дивный мир без края,
Свой бесконечный путь я отливаю в стих.
К тебе, к тебе одной, иду, моя родная,
Ведомый радостью и солнцем глаз твоих.

ЗЕМЛЯ

Смотрю поутру из окна
И думаю, как это странно,
Рассветом не обожжена
Земля и всегда первозданна.

Как будто бы ей невдомёк,
Расплетшей столетние косы,
Что дней нескончаем поток
И это не первые росы,

И это не первый рассвет
Мурлычет зазывно и тонко,
Вылизывая белый свет,
Как кошка слепого котёнка.

И вот уже дня молоко –
На щедрых сосцах и ресницы
Полудня трепещут легко
Капустницей у медуницы.

И снова кругом чехарда,
И светлою патокой Солнце
С руки оделяет стада
Поклонников и поклонниц.

И то, что уже недалёк
Тот час, как надвинутся тени с
Востока, Земле невдомёк,
Рождающейся как Феникс.

Не в силах Земля превозмочь
Эфирную анестезию
Блаженства и падает в ночь
Грядущую, как в амнезию.

ГРАБИШКА

Ветер рычит и хватает за лацканы,
"Ты!" – выдыхает, шибая махоркой,
В детстве не мамкой, но палкой обласканный, –
Что и возьмёшь со взращённого поркой.

Солнце едва приструнит – так на корточках
В грязном подъезде усядется бражничать,
Пробует в сумерках петли на форточках,
"Я ль не домушник!" – пытается важничать.

Шарит в авоськах, щипач многоопытный,
И на гоп-стопе, крадясь подворотнями,
Жуть нагоняет на всех и безропотный
Люд обирает десятками, сотнями.

Бабы и дети, и интеллигенция –
Глазоньки долу, громиле потворствуя,
Только балконы, тряся полотенцами,
Буклями словно, стоят прокурорствуя.

Вряд ли кому-то достанет умишка –
Даже природе, присяжной по делу, –
Чтобы закончилась эта грабишка
И завершилась пора беспредела.

Я пряжи клубок у судьбины займу…

Я пряжи клубок у судьбины займу
И сяду у края
Безусых годов, и тихонько начну
От петельки к петельке строить канву –
Изнаночная… лицевая…

И спицы заблещут и спляшут гавот,
Накиды снимая,
И тонкий рисунок проявят вот-вот
Рядок за рядком, за проходом проход
Изнаночная, лицевая.

Там будет корабль, и труба, и дымок,
И море без края,
К надёжной основе прижмётся уток,
И спрячут, коль надо, легко узелок
Изнаночная, лицевая.

Но только работу без устали для,
Трудясь и зевая,
Я всё не могу довязать корабля,
И не разобрать уж, какая петля –
Изнаночная… лицевая…

Теперь я вязанье могу отложить,
Доподлинно зная:
Не плыть кораблю и трубе не дымить.
Размотан клубок и оборвана нить
Временная.

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

С утреннего рдения
Где-то до полудня
Лепит солнце крендели
И заводит студни.

Крошит, будто лезвиями,
Звонкими лучами
Самое полезное –
Зелень с овощами.

Дали полированной
Заполняет плошку
Свеженашинкованный
Ельник на окрошку.

И ромашки сонные
Украшают ново
Блюдо порционное
Луга заливного.

Полнится, как брагою,
Песенно и жарко,
День хмельною влагою
По озёрным чаркам.

Эх, застолье вольное,
Пьяное гулянье
Летнего, раздольного
Дня солнцестоянья.

Ещё пекло́ и сутки были живы…

Ещё пекло́ и сутки были живы,
Ещё текла елеем благодать,
Когда с холмов, как вражеская рать,
Спустилась тень в предчувствии поживы.

И тени дольные ей пели исполать
И ластились, убоги и фальшивы.
Закат был ржав, его ужимки лживы,
И жутко было суткам умирать.

Отметины зарниц лиловогроздых
На лбу небес, увядшем от жары,
Тянулись как предсмертные борозды.

Наследники языческой поры,
Вверху, как угли, вспыхивали звёзды
И падали в поля, и жгли костры.

Я не авгур и в тайны ауспиций…

Я не авгур и в тайны ауспиций
Не посвящён, по правде говоря,
Но если к югу улетают птицы,
Я прозреваю тайны сентября.

Я не оракул вовсе, но паденье
Увядшего листа и слизь дождей –
Что как не явное предупрежденье
О приближеньи выморочных дней.

Я не провидец и не прорицатель,
Но всё вокруг вещует и кричит
Об увядании и смерти. А Создатель
С небес холодных смотрит и молчит.

НЕ ОСТАЛОСЬ

…Вот так и ты, веслом покачивая,
Как пух Эолов осиянна,
Пройдёшь, печальная и вкрадчивая,
Канвою моего романа.

А за тобою – гладь без óплеска
И борт, в расплаве киль калящий…
Твой силуэт, до слёз, до отблеска, –
Уже не мне принадлежащий.

И там, где выгнулись стрекозами
В соитьи годы над купавой,
Истаешь в дымке бело-розовой,
Как пар уйдёшь, как память – павой.

И зáзря жизнь шумливо, пойменно,
Как о весло вода, плескалась.
Всё было – да ничто не поймано,
Не выбрано и не осталось.

ИЗ КНИГИ "ВОСКРЕШЕНИЕ" (2002)

ВОСКРЕШЕНИЕ

Как иногда заманчиво воскреснуть!
Смешать листы последней партитуры
И весь финал заупокойной мессы
Взять темою для новой увертюры.

Земные сны – готовое либретто –
Расцветить вновь майоликой созвучий
И в пёстрый зал однажды вылить это
Кантатою о жизни наилучшей.

И даже если чопорным партером
Рискует опус снова быть освистан –
Не изменять канонам и манерам
И в пику всем остаться оптимистом.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Пахнет нездешне, лоснится по-летнему
Стихотворение новорождённое.
Обеспокоено – столько же лет ему,
Сколько и мне, к нему приговорённому.

Кто мы? Ровесники? Самоцензурою
Сам же противлюсь тому утверждению.
Строки, как вестники, каждой цезурою
Спорят со мною о дате рождения.

Что ваша весть? – Наказанье? Спасение?
Не купина́ ли неопалимая?
Невыносимо вам летосчисление,
От моего рождества возводимое?

Знаю, не быть божеством богомазу, но
Всё, что нагрянуло, вечное, высшее,
Пусть и не мной, и не здесь было сказано –
Здесь и сейчас мною брошено в писчую.

Я ЖДАЛ ВЕСНУ

Я ждал весну, как ждут помёта
Самой породистой из сук.
Дождался, что ж, пошла работа,
Я – раб рабов, слуга из слуг.

Я весь оброс корою книжек,
Неврастеническим пером,
Как роковым железом, выжег
Себе саднящее тавро.

Ей, лихоманке, в смысле – музе,
Не объяснишь ведь: мог – не мог.
Назвался груздем – вот те кузов,
Попал в кутузку – вот те срок.

Теперь, погрязнувши в эстетстве,
Легко рискую впасть в конфуз,
Тяну, тяну – совсем как в детстве
Штаны за лямку, карапуз.

Я мог бы жить светло и броско,
Водить знакомства, звать гостей,
Но мой товарищ – папироска,
А ужин – полкило ногтей.

Уже не мальчик и наверно
Я должен был бы это знать:
Творить – как чиститься от скверны,
Писать – как вены отворять.

Ну что ж, дотянем понемногу,
Чай не датчане – быть не быть.
Как всеми признанному богу
Иду, весна, тебе служить.

Мои дети решают задачи…

Мои дети решают задачи по геометрии.
Сумма углов треугольника, как ты его ни крути, всё время
одна и та же…
Респираторные знания эти, как при поветрии,
Оседают микробом в мозгу, на губах и на совести даже.
Все углы, что имел я и тыкался в кои,
Как-то подспудно, но все – в пифагоровом раже
Съехались – вот! – в бесконечноугольник, все боли утроив,
У-бесконечно-не-знаю-как-там-говорится… уделав, короче, меня,
ну а сумма всё та же.
Чем я поверю – о небо! – гармонию всхлипов и вздохов?
Тангенс какой подберу, если в жизни не катит?
Милые дети, как мне уберечь вас от ЭТИХ уроков?
Всё, закрывайте учебники на х…, и ну их туда,
к Лобачевскому!
Хватит.

САМОКРИТИЧНОЕ

Паренье в утреннем тумане…
О сребролов, какая сласть
Идти к реке. Мотыль – в кармане,
В руке – сачок, ведро и снасть.

Просторен взгляд, когда потёмки
Белы и сладки, как нуга,
И предвкушениями ёмки
И вдохновенны берега.

В ещё немой слюде водицы
Недвижна стайка первых строф,
Ещё неразличимы лица
И неуверен первый клёв.

Но скоро мастера упорство
Достанет первые плоды
Погибельного чудотворства
Блеснувшей рыбкой из воды.

И загудит строкою леса,
Тысячьюсмыслами туга,
И в святость этого процесса
На миг поверят берега.

К полудню мир объявит краски
И весь улов, как Вий с одра,
В последней и смертельной пляске
Поднимется со дна ведра.

Какой же голод рыбка эта,
Краса и гордость тихих мест,
Способна утолить? – Поэта?
Ерша и кошка-то не ест.

ПРИВИВКА

Мне лето делает прививку –
Я стал не в меру говорлив.
Во рту какой-то странный привкус:
Смесь старых тем и новых рифм.

Я был бы рад, сестра, не скрою,
Когда бы снять укол помог
Сей прозаической иглою
Мой поэтический заскок.

Но не помогут, к сожаленью,
Уловки древних медицин
Убить бацилл стихопаденья –
Не знает мир таких вакцин.

К таким неистово речистым
Судьба неистово лиха:
Как рецидив – бессонниц приступ
И недержание стиха.

ДЕДА

Ах деда, деда, не было износа
Тебе, как тем трофейным сапогам.
А нынче что же? – Пук волос из носа –
Как прущая на рыбу острога.

Текущий глаз, беззубье, шепелявость,
И глянец плеши, и наждачка щёк,
И руки, чья шумящая шершавость
Сродни кошмару мёртвых курьих ног.

Ах старость, старость, твой синоним – мерзость.
Кто хочет в рай – сдавайте по рублю.
Прости мне, дед, мою щенячью дерзость,
Но я скажу… Я так тебя люблю!

ЗАПОЗДАЛОЕ

Как пахнет пожухлыми листьями! –
Мот август шибает подмышками.
Повадки у осени лисьи,
Дни лета попрятались мышками.

Потрачены кроны. – На просини,
Как искра сквозь пепел окурка,
Лукавой, мышкующей осени
Мелькает багряная шкурка.

И злато приго́ршнями брошено
В покрытие траты и тленья –
Напрасною взяткой непрошеной
Грядущей поре оскуденья.

Едва уловимой печальницей
На пёстрых разводах матраца
Вот-вот моё лето скончается,
Так и не успев разгуляться.

Рыдая, обрушусь в колени ей,
В лохмотья былого, в румяна,
О светлая дева, не тлением –
Нетленностью ты осиянна!

Уже не мечтая поправиться,
Дыханье моё уворует
Чахоточная красавица
В последнем своём поцелуе.

ДОЧКЕ, КОТОРОЙ У МЕНЯ НИКОГДА НЕ БЫЛО

Ах девочка моя,
Мой колобок,
Твой сладкий запах –
Молоко с корицей –
Мне будет сниться
И вести.
Пусти меня, прошу,
Прошу, впусти
В твой мир игрушечный,
Где куклы и кроватки,
Где запах сладкий
Кофе с молоком.
Знаком тебе он?
Мне он так знаком!
Давай играть,
Я запрягусь лошадкой,
Взнуздай меня,
Наездница,
По шаткой
Единой половице пронесём –
Из детства – в юность –
В зрелость –
И обратно
Задор и смех,
И кофе с молоком,
И розовые щёчки…

Ты уходишь…
Постой,
Ты водишь,
Мы играем в прятки…

Но чу…
Как странно,
Запах сладкий…
То одиночества
Густеющий настой.

С тобой водиться…

Собой гордиться…

Дом пустой…

СТИХА МОЛОДОЕ ВИНО

Вечер не пуст – он как зрелая выжимка
грозди дневной. Ах как вяжет прохлада
горло! Какою надеждою движим, ка-
кими мечтами ты жив, виноградарь?

Лозы, отёкшие сладостным бременем
памяти, руки твои иссновали.
Временем ночи, предутренним временем
вдосталь запасся ль? Бутыль не мала ли?

Все ли каноны отцов и прапрадедов
вызнаны, признаны годными в дело?
Сердце открыто ль во имя и ради дов-
леющей свыше судьбы винодела?

Вольному зелью – рубином играть. И я
первым почту пригубить его вкратце.
Верь, поутру вся окрестная братия
валом повалит к тебе столоваться.

ФАНТАЗИЯ

Левкоем уберу
Души моей мансарду,
Дабы её покой
Внаём тебе отдать.
Там солнце поутру,
Подобно леопарду,
Прирученному мной,
Придёт к тебе играть.

Там все мои слова –
Лукумы и цукаты.
Там ласковая речь –
Как лакомый набег.
Там жаркие дрова –
Рассветы и закаты –
В камине наших встреч
Не выгорят вовек.

Я в этот сладкий рай
И сам не очень верю,
Но светлая печаль
Пустой душе милей.
Приди, живи, играй
И никогда неверьем
Не выстуди запал
Фантазии моей.

КРУГОВОРОТ ЛЕНИ
(тетраптих)

Л е н ь у т р е н н я я

Как странно сознавать: ты только лёг,
А он уже щебечет и торопит.
Гранатовый, волшебный, тёмный сок –
Сок сновидений – всё ещё не допит.

Светило жмёт свой утренний лимон,
Урчит, как кошка, сытый холодильник,
И мир от глаз портьерой заслонён…
Да чтоб ты лопнул, бестолочь-будильник!

Л е н ь д н е в н а я

Такое пониманье – как ушат
Водицы заворотниковой:
Ты ждёшь, когда хозяева решат,
Кормить ли нынче всех одной половой

Иль дать овса. Да ты ли это, брат?
Твои ли это круп и выя? Ой ли?
Молчи! Молчи! Я несказанно рад,
Что взнуздан жеребец в соседнем стойле.

Л е н ь в е ч е р н я я

Амбре весны какой не чует нос?
И глаз какой не радуют созвездья?
Какой прекрасный в мире перекос
К безделью, не познавшему возмездья.

Немытый пол так сказочно немыт,
Так живописно покосилась полка…
Фантазии весны – лишь вами сыт.
А что же ужин? – Притча, да и только.

Л е н ь н о ч н а я

Как тот поэт: чуть свет – уж на ногах,
Весь день отчёты, прения, собранья,
К тому же в подотделах дело швах,
Командировка эта в наказанье…

(Поеду я, начальник приказал.)
Ты что-то говорила мне, как будто?..
Ах милая, прости, я так устал,
Напомни мне об этом завтра утром.

ПОПУТЧИЦА

Когда легла к нему в постель
Весна раскрытой книжицей,
Он ел капусту "Бондюэль"
И видел – утро близится.

Ещё лет сто тому назад
В своей сто первой жизни
Он знал её и был не рад,
И бился в укоризне.

Она же, сущий метранпаж
С корректором в придачу,
И эту принимала блажь,
Как чупа-чупс на сдачу.

Она была его чутьём,
Его вторым дыханьем,
Мол, всё нервическое в нём
Достойно пониманья.

И, мол, случайная навек
Теперь продлится встреча,
И лёгкость снов, и тяжесть век –
Её, её предтечи.

А он всё ныл пугливо и
Твердил: не век же мучиться…
И плакала счастливая
Писателя попутчица.

Годы ходят по кругу…

Годы ходят по кругу и нас обряжают упрямо
То в меха, то в болонь, то в дублёное варварство кож.
Только мой гардероб, начиная с костюма Адама,
Ни на что не похож, не удачен, не нужен, не гож.

Мне давно уже, лето, малы твои с лямкой штанишки
И осенние фраки, как панцири раку, тесны,
И шубейка зимы вся свалялась и режет подмышки.
Только тем и живу: ещё впору наряды весны.

РУССКАЯ БЕССЛОВЕСНОСТЬ

Любви повинность столько лет
Я нёс без тени сожаленья,
И что в итоге? – Белый свет
В преддверьи нового затменья.

Уже давно помещик бит,
Вовсю стяжает пролетарий
И арапчонок мирно спит
Как века давнего глоссарий.

Мы овражели без вражды,
Пинками изгнаны пенаты,
Самоубийцам не нужны
Ни Торквемады, ни Пилаты.

И дарят, словно благодать,
Косноязычья метастазы
Устам – нерусскую печать,
Сердцам – заморскую проказу.

Когда бы не рефренный мат,
Не эти жалкие огузки,
То русич бы и слово "мать"
Не вспомнил как сказать по-русски.

И школяру на взлёте лет
В наследство только и осталось,
Что вечно длящийся привет
От древнегреческого "фаллос".

Ещё в фаворе слово "лох".
Его трёхбуквенным убожьем
Навек простился с нами бог.
Ушёл. Табличка: "Не тревожить".

Мы – бессловесный легион,
Мы – племя девственного рыка,
Как крючкохвостый скорпион
Себя мы жалим зло и дико.

Верны невнятице-судьбе,
Мы всей шестою частью суши
Бедою рушимся в себе
И на себя несчастья рушим.

ЛЮБОВНИЦА МОЯ, ЗИМА

Любовница моя, зима,
Преподаватель белых танцев,
Сойду ль с ума? Опять – сума,
Теплынь и время расставаться.

Из прорвы солнца, с высоты,
Не с тем ли брызжет,
Что недоступны я и ты,
И тот младенец чистоты,
Что нами прижит.

Уйдём. И сделаем на срок
Его улыбку и дыханье
Своей судьбой, а оберёг –
Причиною существованья.

Я, как и ты, из ста слюдин
Лепил хоромы.
Один итог, исход един:
Истаяли и стаи льдин,
И призрак дома.

Но знаешь, милая, не век
Златой пыльце с небес сочиться,
Он завершится, наш побег,
Природа снова утвердиться.

Спроси: вернёмся ли? Вопрос
Отлит в ответы,
И льдинки тающих стрекоз,
И этот неба купорос –
Тому приметы.

Вернёмся – и восславлю я
Союз, что свыше узаконен.
Ещё чуть-чуть, любовь моя,
И – межсезонье.

Когда же мир, полусожжён,
Изныв от зноя,
Вдруг осознает, что – свежо,
Ему ты станешь госпожой
И мне – женою.

Разведу на страхе думу…

Разведу на страхе думу,
Как опару на дрожжах.
Ой вы, страхи толстосумов,
Страх сумы – ещё не страх!

Страх зимы – ещё не холод,
Дрожь в руках – не паралич,
И беспряничье – не голод,
Есть и боле, и опричь.

Не беда ещё причастье
Тлена с запахом рогож –
Усыхающего счастья,
Иссушающихся кож.

Лишь один и важен трепет
Для души, пока жива:
Что её священный лепет
Перестанет течь в слова.

Есть во мне что-то от первого танца…

Есть во мне что-то от первого танца,
жаркого сполоха, протуберанца,
что-то от времени с именем "о́но",
от квинтэссенции первобульона,

что-то от тёмного давнего предка
(чу, где-то хрустнула яблони ветка…),
что-то от хитрой змеюки на древе
и от ребра, что подарено Еве.

В бурном потоке всемирных коллизий
(низкий поклон моей солнечной шизе)
мне не воспрянуть ни духом, ни ликом –
так и останусь в обличии диком.

Так и останусь судьбой покалечен:
переозверен, недочеловечен,
образом странен и прелюбопытен,
вне – современен, внутри – первобытен.

Может, напрасно я маюсь-апрелюсь?
Жизнь есть ни с чем не сравнимая прелесть!
Даже, когда эти строки, ребята, –
всё, чем я был и чем стану когда-то.

Я НЕ БЫЛ СКУПЫМ

Я фразы копил, как чудак-антиквар –
Свои раритеты, лелеял кубышки,
Боялся, нежданный сердечный пожар
Сведёт к недостатку всё то, что в излишке.

Как скряга, как Плюшкин, как тот букинист,
Что лучше умрёт, чем загашник откроет,
Я мелко исписанный рифмами лист
Не отдал бы даже за золото Трои.

Но всё изменилось, и – настежь окно,
И – дверь нараспашку в бездонный запасник,
Берите же, люди, златое руно
И празднуйте русской словесности праздник.

Я не был скупым, я, скорее, скупал
За грошики слёз, за сердечные пенни
Всё то, что великой эпохи обвал
Пронёс мимо тех, кто безудержен в лени.

Я не был скупым, я мечтал сохранить
(Вот муки моей вам последняя гривна)
Великой поэзии тонкую нить,
Что жизнью вита и пока неразрывна.

ИЗ КНИГИ "55" (2015)

АНТРАЦИТ

За окном – антрацит. Я стою у окна.
Мне сегодня не спится, не бредится.
Уголёк сигареты и точка зрачка
дополняют созвездье Медведицы.

За спиной простыня – как уснувший прибой,
что устал твои формы облизывать.
Ты лежишь в его пене большой запятой,
только нечего больше дописывать.

Завершён мой роман. Совершён суицид
всеми поводами нашей нагости.
Я стою у окна. Забери, антрацит,
у Медведицы точку для ясности.

Если ты в России не был…

Если ты в России не был
или был, но был таков,
знай: в России нынче небо –
в рваной вате облаков.

Небеса лишь ей чреваты,
вата носится как дым,
всё теперь из этой ваты –
ватный Кремль и ватный Крым.

Очень странное явленье
для начала февраля:
продолжается паденье,
но не снега, а рубля.

Ватной поступью прохожий,
весь во власти ватных дум,
ватно движется, похожий
на морщинистый изюм.

На горе из прелой ваты
восседает падишах,
а народец глуповатый,
с ватой в сердце и в ушах,

эту невидаль природы
восславляет, блея "бля-а-а"… –
И такие тут погоды
с февраля до февраля.

ВЫЧИСЛЮ

Снова весна нам слепила из снега и наста
великолепный мираж. Только что это даст нам?
Ибо "природа", "погода" и "синь небосвода" –
здесь никогда не синонимы слову "свобода".

Вряд ли помогут мне, старому, старые рифмы.
Дайте линейку, я вычислю вам логарифмы.
Вычислю цвет и объём вашей солнечной кармы.
Вычислю силу, которой нас учат жандармы.

Вычислю боль, если боли достаточно в сердце.
Вычислю ненависть к вере любых иноверцев.
Вычислю глупость, вошедшую в каждую повесть.
Вычислю даже любую конечную совесть.

Вычислю дно, глубину нищеты, а за ней я
вычислю тех, кто жиреет, – так будет вернее.
Вычислю бред (он имеет структуру и скорость).
Вычислю правды святой беззащитность и голость.

Вычислю сон, тот, что смотрят бездомные дети.
Вычислю счастье (сказали, бывает на свете).
Жаль, одного мне не вычислить – плотности тьмы
бездны грядущей, в которую падаем мы.

БЕЛЫЕ СНЫ

В самом начале пришедшего лета,
в самом конце уходящей весны
вижу прогалины белого света,
вижу печальные белые сны.

Носит весна, как веснушки, на белом
зимнем лице мать-и-мачехи крап,
раннее лето доводит умело
до многоцветия этот масштаб.

Белое, чистое, льдистое нечто
напрочь утоплено в кобальт и хром,
ищет сознание первословечка
в этом цветастом и наносном.

И не находит. Лишь белые мари
в ночь прорываются с той стороны,
где наш язык ещё не ословарен,
где лишь наитья и белые сны.

Прочь от умелости! Суть – не в умелом.
Прочь от раскрасок! Стезя пролегла
там, где наверно сравняются в белом
белый мой лист и зима, что бела.

ВЗАСОС

Стояли с дождичком погоды,
и брезжил мир, как в день созданья,
смыкались пепельные своды
и наши губы в знак признанья

того, что мы – предмет избранья,
объект любви и слава Бога,
того, что наши состязанья
в длине засоса, слава Богу, –

простая тела молодого
потребность в чём-то неприличном,
того, что ты – не недотрога,
а я – наглец, но симпатичный.

В осеннем парке анемичном
мы как вино друг друга пили,
и ток слюны твоей лакричной
среди летящей с неба пыли

был так по-летнему обилен,
что я забыл, что снова осень,
что мы ещё не полюбили,
но странной жажды не выносим

и под покровом лип и сосен,
на зов откликнувшись природы,
в растворы губ, в ущелья дёсен
вливаем сладостные воды.

ПЕ́КЛО

Общий города шум.
Общая сохлая кожица.
Боль разделить спешу,
ту, что спешит умножиться.

Чей-то от пуха чих.
Где-то клаксон протяжный.
Мысли. Теку средь них.
Просто брожу. Бродяжу.

Тополь листвой сквозит,
молит о влажной взятке.
Небо – сплошной транзит
зноя сквозь темя в пятки.

В лужицах, – так себе,
под ноги кто-то сплюнул, –
алчущих голубей
сифилитичные клювы.

Город глядит с мостов
в поисках отраженья,
даже и тень крестов
пала – и без движенья.

Улиц канал пустой
высушен или выпит.
Лишь скарабеи-авто
сонно ползут в Египет.

Жаждой к воде влеком, –
валом, попарно, розно, –
город свой чёрный ком
катит как жук навозный.

Рыбой на берегу –
всяк, кто мечтал о вёдре.
Пятна нагих фигур –
будто на медосмотре.

Хлещет золой вулкан,
в памяти пламенеют
к ужасу горожан
брюлловские Помпеи.

Можно содрать с рамен
тряпки – ведь не убудет,
можно сзывать камен,
можно молить о чуде,

пепел зажав в горсти…
Только не будет толку.
Можно себя спасти
только слезою. Только.

Из моего позвоночника…

из моего позвоночника кто-то вынимает позвонок за позвонком,
но я от этого не становлюсь ниже, я просто делаюсь мягче и ближе
к состоянию "ком"

и волосы с той же бедою столкнулись, когда их хозяин
менял шинели,
но это, как говорится, естественные процессы, секреты
Полишинеля

я мог бы ещё рассказать про зубы, но это настолько
обглоданная тема,
что проще сказать, что во всём присутствует рок, а если научней –
система

твёрдое – предвосхищение мягкого, мягкое – просто фаза распада,
всё в мире стремится к шару, и, говорят, вселенная этому рада

причина известна: энергия, которую я распылял, распаляясь,
стремится
вернуться в первоначальную форму, окуклиться, объединиться

с тем, якобы, хаосом, которому имя, как я понимаю, – вечность,
а я просто рад, я рад, что мои конечности вот-вот войдут
в бесконечность

потрогают звёзды и квазары, планеты, немыслимые туманности,
я рад оказаться частью и этого "всё", и этой великой данности

теперь, я надеюсь, что вам понятно моё необычайно благостное
состояние:
как здорово стать чем-то, над чем не властны ни время,
ни расстояния,

ни даже оклик "забыли сдачу", – зачем мне сдача, когда я вечен,
когда я кругл, как бесконечность, когда я первый раз в жизни
беспечен

я вам оставляю, любимые, всю глупость мою, эти строки,
я в вечность иду негасимую, я в вечность иду – просто приспели
сроки

ЗАТЫЛОК

Теперь, когда мой глаз, как ёлка в Рождество,
сияет так, что прозревает всю превратность
любви, я мог бы спеть затылка аккуратность,
поскольку он – затылок – царственней всего
свидетельствует о величии его
носителя. И в этом странная занятность

мне видится. (Какой поэт не уделил
вниманья прелестям, ну, скажем, Афродиты,
а там – и свите всей, где нимфы и хариты,
и прочий женский род во благости застыл,
настолько весь святой, что странно, что бескрыл,
являя миру свои перси и ланиты,

изгибы нежные от темени до пят,
извивы страстные вокруг пупков и попок,
и локонов шелка, и кожи мягкий хлопок,
и очи страстные, что прямо в душу зрят,
и прочие дары, что распаляют взгляд, –
но только не затылки!) Выходя из скобок,

кричу: о вьюнош пылкий! подними глаза,
когда решишь зайти к любимой со спины ты!
оставь холмы внизу, пускай они увиты
всей похотью твоей, ведь выше – небеса,
в которых строгая и стройная краса
подобна знакам самой искренней молитвы.

Затылок женщины – он словно говорит:
здесь скрыта тайна, что не всякому в угоду
открыться может, и не всякому уроду
позволено узреть тот символ, что сокрыт
за кисеёй волос, и если я открыт –
то это лучшее свидетельство породы.

Когда по тонкой шее, сложенной из длин,
твой робкий взгляд скользит, причинности не властен,
туда, где всё – затылок и синоним счастья,
ты понимаешь, что вознёсся до вершин
и что затылок – это лучшее из вин…

хотя… однажды мне понравилось запястье!

ВАШ ВЫХОД

Ваш выход – прозвучало. В горле ком.
Какой же монолог пустому залу
ты не читал ещё? И быль о чём
твои уста и глотку не терзала?
Ты смотришь в никуда, и сквозь строфу
подругу жизни – старую софу
тебе являет верное зерцало.

Ты пил свой век, как пьёт холодный сок
безусый мальчик – так, едва наморщась.
Оборван лист, осенний ветерок
по мостовой несёт его на площадь,
где, расщеперя жёлтые усы,
его приметит, не из-за красы –
по долгу службы, дворник, душ подборщик.

Да, ты играл, но текст писал не ты.
Вернее, этот текст давно написан.
Он, как рефрен, летит из пустоты
и множится по залам и кулисам.
Теперь ты стар и мудр, как Приам,
и не аудиториям, а снам
последние вверяешь бенефисы.

Ты сдал все книги, господи прости,
назад в библиотеку Мнемозины,
и ничего не держится в горсти,
и мысли не горят без керосина.
Лети же, лист, над городом, лети
в тот дом, где для последнего пути
комод приберегает мокасины.

НОВОЕ ПЛАТЬИЦЕ

Снова весна оголтелая катится.
Села пошить себе новое платьице –
вырез поглубже, кармашки-приточки.
Может, кого-то зацепят цветочки?
Кошка на солнышко радостно жмурится,
ходят, наверно, ребята по улице,
всё-таки май уж, восьмое число…
Только простудой губу разнесло!
В этаком платье… Со мной бы любой…
Только куда я с такою губой!
Плачу сижу, растерявши булавки,
кошка размякла квашнёю на лавке.
Что ты тут нежишься, пузо горячее! –
будто последнее счастье девчачье…

В МАГАЗИН

Сегодня мне приснился магазин.
За ним явился сон про холодильник.
А утром, через сон давя будильник,
я понял, что по-прежнему один.

Вчерашний день застрял в моих зубах.
И я его оттуда вынул щёткой.
Потом, смывая пену с подбородка,
я думал о неглаженных штанах.

Ступив ногою голой в коридор,
я понял, что полы давно не мыты,
и пожалел, что людям не копыта
даны, но стопы, ощущающие сор.

В углу на кухне холодильник стыл.
И вид его казался мне зловещим.
И сон простой немедленно стал вещим,
как только холодильник я открыл.

Засим припёрлись мысли о деньгах.
Мне эти мысли тягостны с рожденья.
Я произвёл в уме процесс сложенья
и констатировал, что я не падишах.

Есть где-то люди, на одной ноге
стоящие. То ль свами, то ль не свами…
Когда я потянулся за штанами,
меня убила мысль об утюге.

Да. Жизнь длинна. Длиннее всех резин.
И часто удивительно конкретна.
Последнее особенно заметно,
когда ты вдруг собрался в магазин.

НЕИМЕНИЕ

Поступательно и постепенно
всё земное наше имение
возвращается во Вселенную.
Это грустно – но тем не менее.

Всё навеки родное и жданное,
всё, чем тешились, наживая,
стало незаживающей раною
и болит как дыра ножевая.

Хоть пульсирует кровь и лоб ещё
не дорезан морщинами начисто,
обретённого знания скопища –
лишь итоги простого ребячества.

И бессонницей в утра грешные
всё колотится мысль вертлявая:
всё, что нажито, – всё нездешнее,
и вернуть его – дело правое.

И вернуть его нужно всякому
без отчаянья и сожаления.
Ибо полон вокруг лишь вакуум.
Ибо вечно лишь неимение.

ИТАЛЬЯНСКИЙ АЛЬБОМ

ТОСКАНА В МАЕ

Тоскана в мае как сплошное заливное –
хоть вилкой трогай, хоть трепли ножом.
Желтозелёное безумье луговое
остановило время и застыло в нём.

Прохладно утро, да и дня желе не дрогнет,
когда, расширив глаз, настроив слух, расправив грудь,
ты вдруг взойдёшь на холм, который вогнут
иль выпукл – ведь это как взглянуть.

Весь горизонт в пыльце, как в старой замше,
а солнце, солнце – это просто всё вокруг,
закрой глаза на час, иди, открой – ты там же,
откуда вышел. Пред тобою луг,

где мелкий жемчуг свой рассыпала вербена,
лилова мальва, лучезарен портулак,
где ежевичник пузырится пенно,
где, словно мотылёк, порхает мак,

где малахитовы отливы и приливы
над рощицами тальковых олив,
где вкусно всё, где сладки дижестивы
из разнотравья бесконечных нив,

где тарантелла, как вода из крана,
свободно льётся просто сверху вниз
и где пластинку под названием "Тоскана"
своей иглою режет кипарис.

Кати же вдаль глаза, туда, где небеса о
величии земли свою слагают песнь,
испей до дна небесный кюрасао
и восхвали судьбу, за то что это есть.

За то, что ты рождён не здесь, но можешь смело
чужой тиары трогать изумруд.
Ещё денёк-другой – и позабудет тело
твоё и этот луг, и этот рай, глаза умрут

и сердце съёжится, как старое мочало,
которым грязь судьбы уже не оттереть.
Закрой глаза, открой, начни сначала.
Попробуй петь, пока ты можешь петь.

ИТАЛЬЯНСКИЙ АЛЬБОМ

РИМ

О вечный Рим, что мне твои Гекубы
и солнечный цыганский говорок?
Я из угла, где люди синегубы
и тенелюбы сплошь. Какой урок

не преподал мне мой учитель школьный?
О чём он мне тогда не рассказал?
Я из груди своей краеугольный
булыжник вынул и тебе отдал!

Твой тихий зов, печальный и неспешный,
стекающий с отрогов Апеннин,
нашёл меня под ивой облетевшей,
и я, дурак, откинул вечный сплин –

и прилетел. Какие заблужденья
меня втянули в этот хоровод?
Охота к перемене мест? Суженье
сосудов лба? Деменция? – И вот

развалина бредёт среди развалин
извилинами улиц и холмов,
животик кругл и антисексуален,
и каждый шаг, и каждый вздох не нов.

Зачем течёт в декантеры брунелло?
Зачем несут лепёшки пёстрых пицц? –
здесь тела нет, есть только антитело
с прострелом в зоне антипоясниц.

Усталые столбы Веспасиана
и муравьиных улиц мишура…
Теперь всё поздно – даже если рано
с утра в кабак ведёт меня хандра.

Пустейший хлыщ в штанишках от Версаче
по бутикам порхает мотыльком.
Он римлянин! Он юн и так удачлив,
что взгляд не оторвать… Да что мне в нём!

Не для меня такие перемены.
Ты знаешь, Рим, одним мы схожи, брат,
что всё ещё из наших дёсен стены
зубами полустёртыми торчат.

И я жую, жую свою фокаччу,
и вид на Ватикан давно размыт…
Спасибо, grazie mille, я не плачу,
мне просто грустно… и красивый вид.

Всё те же небеса над Колизеем.
Всё тот же рыжий предзакатный свет…
И пинии, и рота ротозеев,
и Вечный город, где я был. И нет.

ИТАЛЬЯНСКИЙ АЛЬБОМ

СИЕНА

Улочки – будто каверны и трещины лавы.
Камень безжизнен, но камень никто не хоронит,
ибо под патиной камня – и слово, и слава
тех, перед кем даже Вечность колено преклонит.

В этих расселинах в солнце поверишь едва ли.
Просто ты знаешь, что солнце всегда над тобою.
Город лежит как упавшие с неба скрижали –
вот она, истина, можешь коснуться рукою.

Время уснуло, пока ты разглядывал вензель,
тайную букву треченто, не в силах очнуться, –
годы прошли, ты забыл своё имя, ты Гензель,
правда, без Гретель и вовсе не хочешь вернуться.

Стопы и плиты ещё не срослись, но уже ты
равные в них ощущаешь тепло и шершавость.
Здесь даже люди вокруг – это только предметы
мимо скользящие, мимо текущая данность.

Здесь бы ты мог и остаться, присесть и прилечь, но
душу твою защемило заслонкой затвора.
Здесь ощущаешь себя словно некую вещность
в вечность попавшую – в камеру до приговора.

Снедью несметной набиты кульки магазинов,
лавки, прилавки, улыбки, – как было веками,
рты для принятия всяческой пищи разинув,
трутся туристы в проходах, как сельди, боками.

Стёртый кирпич и плитняк в разнотравии трещин,
всё, что ошую, одесную и за спиною,
станет родным, словно саван, что богом обещан,
окаменей – и немедленно станешь собою.

Можно найти уголок, где смыкаются стены, –
в тесной щели, где под тёплыми сводами арки
юность гогочет от счастья, и влить себе в вены
новую красную кровь из наполненной чарки.

Только и это не станет в тебе приближеньем
к той простоте, что дарована камню от века,
можешь сидеть без движенья, но даже сложенье
с этим "ничто" не убавит в тебе человека.

Так и останешься странно живым и глазастым,
с бьющимся часто комком за реберною клеткой,
праздника Палио точкой, ненужною частью
праздника жизни. Стихом. О Сиене заметкой.

Держит сухая ладонь с огрубевшею кожей –
створка моллюска с названием Пьяцца-дель-Кампо –
тело твоё, будто жемчуг, но сделать не может
душу твою продолжением этого камня.

ТО ЛЕТО

То лето я провёл в гостях у бабки.
Бурлящий хлорофилловый июль
забрызгал всё вокруг: и в парке лавки,
и даже душу мне. Не потому ль

я вдруг нашёл внутри себя мужчину
и, зовом плоти собственной томим,
не торопился выяснять причину
такого факта, как засилье нимф.

Быть может, подошла пора миграций
(чащобы окружали городок)
наяд, дриад и прочих юных граций…
но брюки стали тесными. Я мог

легко себе по нраву выбрать пару –
а то и тройку – резвых колдуниц,
и упиваться пылкостью дикарок,
и мять и маять счастье без границ.

Таких нашлось. Как раз и ровно пара.
Как будто мне их леший завещал.
И я в чаду июльского угара
хвалил и плакал, в общем – я попал.

Две маленькие сёстры-щебетуньи
(или подружки? обе – с огнецом;
благословенно чрево той колдуньи,
что сделало их схожими лицом) –

они пришли и встали возле вяза.
Румянец рдел – я спичку мог зажечь
об этот жар, но вьюнош долговязый
во мне решил вдруг силы поберечь.

Я наблюдал, как свет далёких окон
желтит их зубы, чёлки и глаза,
как по щеке крадётся томный локон…
Я просто ждал. Во мне всё было – за.

Их было две. Дриада и наяда.
А я один. О небо! О земля!
И хоть я ждал подобного расклада,
но вдруг подумал: "а зачем?", "а для?"…

Их хохоток звучит во мне доныне
и нервный говорок течёт ручьём,
и взгляды укоряют: "неповинен",
хотя согласны были и втроём…

Пятнадцать лет. Какой щемящий возраст,
и нов пушок над верхнею губой…
Как сладко сознавать, что ты не познан
ещё никем. Ни миром, ни собой.

В БАРЕ

Сегодня странно пенилось вино.
И лёд был сделан из округлых линий.
И бар дрожал. Нам было суждено
допить вдвоём дрожащее мартини.

Соприкоснуться. Но не кожей рук –
скорее тем, откуда сны берутся,
скорее тем, что заставляет вдруг
на улице внезапно обернуться.

И этот бар – вне времени и вех –
то блюзом тёк, то джазом кровоточил,
потом притих и этим, как на грех,
мне уйму неземного напророчил…

Дрожал бокал и отраженье в нём,
огни реклам, что в этот час так рыжи…
Ах сколько вы сказали мне! Притом
что не сказали ничего. Был выжат

последний лайм ненужный с ободка
последнего ненужного бокала,
и непроизнесённое "Пока…"
уже прощально в воздухе витало…

Далёко за полночь. И воздух густ.
И за моей спиной – лишь два пропойцы.
И этот бар – он пуст иль полупуст?
"Ещё мартини? Верьте, всё устроится".

Но шевельнулись створки ваших губ,
чей контур лёд подтаявший оплавил,
и понял я, что выстрадан и люб,
увы, не я – но тот, кто вас оставил.

По ломкой глади полуночных волн
под парусом фантазий и иллюзий
неслась моя ладья: бумажник полн,
и в нашем нарождающемся блюзе

ещё возможны: улица, слеза,
и пот в ночи, и утренняя нега…
Но в тот момент вы подняли глаза
чернее ночи, холоднее снега.

Один короткий взгляд – и в нём ответ
на все посулы сказочных пророчеств.
Мы согласились: в утрах правды нет,
как нет её в объятьях одиночеств.

Когда не смежить век…

Когда не смежить век для отдыха и сна,
когда любая ночь – как кровь отверстой вены,
так больно понимать, что зря пришла весна
и мне уже не стать троянцем для Елены.

И полночь за окном несёт собачий лай
как поздние дары бессмысленного марта.
Так больно понимать, что я не Менелай,
Урал – не Греция и за окном – не Спарта.

СЛАДКИЕ ДИССОНАНСЫ

Сладко сидеть у Христа за пазухой:
вдоволь питья и еды, и воздуха,
пусть оно нынче и с присвистом, с придыхом –
но это ещё дыхание.
По́лста пять лет обретанья запечного,
сладко-сверчкового, пусть и комичного,
пусть не во всём, скажем честно, удачного –
но всё-таки обретания.

По́лста пять лет (ведя от рождения) –
в царстве буколик от Младшего Плиния,
по́лста пять лет волшебства умирания –
бог мой, какое счастье!
Прелести возраста симметричного,
вне драматичного, глупого, мрачного,
даже и без вспоможенья аптечного –
друже, прошу, не сглазьте!

Чада – ах чада! – ломоть отрезанный,
вольно живут, никому не обязаны,
благо – хоть не удручают капризами,
детища безвременья.
Как я люблю эту девку костлявую!
Пусть лучше ад, чем собаки брехливые.
Даже подушки мои пуховые –
лишь оберёги темени.

Лихо промчались возрасты сахарны,
сколько осталось – в общем-то, похеру,
всё, что в ушедшие годы напихано, –
можно возить составами.
Быта условия (чисто спартанские)
мной ощущаемы как благоденствие.
Так и войду во врата сатанинские –
сладко скрипя суставами.

СОВРЕМЕННЫЕ САТУРНАЛИИ

Вся наша жизнь кружúт (что пыль – вокруг Сатурна)
вокруг незначимых вещей, где даже урна
с любимым прахом никого не убеждает.
Мы в землю падаем – она опять рождает,
опять, бесчисленно, бессчётно, раз за разом,
всю ту же немочь – будто вечная проказа
(как голубю сифилитичному на крыше)
ей заповедана какой-то силой свыше.

Живём больные в окружении болезных,
в клубок завитые попыток бесполезных,
среди унылых клумб с цветами из окурков,
среди укурков, полудур и полудурков,
среди салютов в честь забытого восстанья,
рожденья первенца, развода, обрезанья,
рубля, украденного вновь, попойки, спевки,
иль просто потому – что пятница и девки.

Для нор есть образ собирательный – "квартира",
где две тропы всего: от кухни – до сортира
и от сортира – к койке. – Там живёт пещерный,
счастливый, в общем, люд. Он свой мирок ущербный
среди растущего, ветшающего хлама,
прабабкой взятого, умноженного мамой
и поделённого на слабоумье детства,
воспринял и впитал как доброе наследство.

Весь ужас бытия доныне не осмыслен.
Нет мысли – оттого и не знакомы мы с ним.
И убегает жизнь, как ворог, тихой сапой,
бежит, не хуже таракана – шестилапо.
И не поможет тем, кто жжёт без керосина,
и шестистопная ямбическая сила.
Салюты. Праздники. Очередная урна.
И пыль, которой не бывать кольцом Сатурна.

КАРДИНАЛЬНО

Нам не раз уже было показано
и разжёвано многоразово:
пустыря в голове не залесишь
и аминем квашни не замесишь.

Но, беда, мы такие затейники, –
в волосах колтуны да репейники, –
наполняем дырявые сита,
удивляемся: не налито!

И твердим: из пустого в порожнее
если лить, но чуток осторожнее,
то исполнятся чаянья наши,
будет вдоволь и водки, и каши,

будет вдоволь гульбы и веселья,
и не кончится горьким похмельем
и удавкой больничного ложа
наша жизнь. Перетрём, переможем!

Бытие наше – точка из очерка,
что написан был мелким почерком
на листе из школьной тетради
и использован богом сзади.

Лишь одно нам и было завещано:
меж землёю и небом – не трещина,
не рванина, что можно заштопать,
но большая – вселенская! – пропасть.

Так что выпьем-ка чаю вприкуску и
толоконные лбы, чисто русские,
осеним троекратно перстами –
да пополним погосты крестами.

ДОМ

Ты для него была как почесть,
он верил в ласку лёгких рук,
но вдруг узнал и понял вдруг,
что стал одним из одиночеств –
одним из двух. Одним из двух.

Мой дом завшивевшим барбосом,
в глазах которого вина,
весь первый год скулил и на
любой вопрос гремел вопросом:
хозяин, милый, где она?

Ну что я мог ему ответить?
Трепать по морде? Молвить: брат,
ведь ты ни в чём не виноват,
и мы с тобой давно не дети,
уймись, родной, забудем, брат?

Я признаю, что был немыслим,
что стал глупцом на склоне лет.
И вот бессмысленный ответ:
остались дом и я, и мы с ним.
"Мы с ней" – понятья больше нет.

Он до сих пор в недоуменьи:
зачем полупуста кровать
и кто решился волю дать
теням и пыли запустенья?
И не бежит уже встречать

меня в дверях. Он обескровлен
и к смерти, кажется, готов.
Он не приемлет ни котов,
ни голубей дурных под кровлей,
и шерсть торчит из всех углов.

Он по ночам в комодах рыщет
(я слышу стоны половиц),
среди клубков, среди тряпиц
её забытый запах ищет
в обход забытых ею спиц.

Качает время паутинки
в углах, куда не ходит свет,
и заблудившийся рассвет
находит лишь мои ботинки,
что спят у входа в туалет.

Но иногда – я в это верю! –
чтоб эту муку превозмочь,
мой дом готов сорваться в ночь,
куда-нибудь, туда, за нею,
совсем как я тогда – точь-в-точь…

…вернуть её, пройдя до края
проводником, поводырём,
и снова верным стать жильём,
себя и нас объединяя
великой надобностью в нём.

ПАУК

Я лёг вздремнуть и тут увидел вдруг:
ко мне из тьмы спускается паук.
Я чётко видел его хищный глаз,
его шерстистое, почти собачье, брюхо.
А может, спал я? – Нет, не в этот раз.
И точно не был в этот раз под мухой.

А он спускался, зыркая вокруг.
Нет, я не спал. И это был паук.
Всё дёрнулось во мне, дабы бежать
(в большом всегда от малого боязни),
но я молчал и продолжал лежать,
смиряя в гландах волны неприязни.

А он спускался. Видно, для него
я был большим, огромным Ничего,
гигантским кряжем, тёплым валуном,
плато Небраски, лесом Амазонки.
Его зрачки ходили ходуном,
а ножки были выморочно тонки.

Как тлеющая спичка сквозь янтарь
в слюде окна поблёскивал фонарь,
и в комнате качался рыжий свет.
Паук повис на нити, что из попы
его тянулась, нисходя на нет
вверху, под потолком, подобно стропам.

Я не дышал. Вернее, я дышал
(поскольку он не шибко мне мешал),
но как-то так, незримо, невзначай,
как будто рыбой, будто через жабры.
А он как будто говорил мне: чай,
струхнул ты от моей абракадабры?

Трюкач мой милый, глупый шелкопряд!
В тебе, как и во мне, – всё через зад,
поскольку жизнь – всего лишь канитель,
эквилибристика и клоунада,
и мы висим, глазея, в пустоте,
и нет того, кто держит нитку, рядом.

БЕССОННИЦА

Едва ли пять утра. Небес отрава
пока не льётся – просто ждёт голов.
Сквозь сон ворона перхает картаво.
Должно быть, ей привиделся Крылов.

Я у окна. Но что я там отмечу?
Кусок асфальта и кусок стены?
Нет, вечер лучше. Лучше каждый вечер,
повыв на все округлости луны,

поглядывать, как в доме, что напротив,
вершится секс на кухонном столе.
Обычно мне видны лишь части плоти,
и даже не всегда дезабилье.

Да, вечер лучше. Он всегда конкретен,
он – как вопрос, поставленный ребром:
давай-ка, выбирай, в своём куплете
свет или тьму ты огранишь пером?

Бессонница. Приход её коварен,
а цель её обманна и хитра.
Мой позвоночник перпендикулярен
и полу, и кровати в пять утра.

Мой день настал. И лёгкий приступ ямба
теперь как лёгкий завтрак для меня.
Пройдут парадом тысячи сомнамбул
передо мной на протяженьи дня.

И сотни слов бессмысленных и разных
спадут, зачем не знаю, с языка.
Замкнётся круг, я снова стану праздным.
И вновь к перу потянется рука.

Наступит вечер. Да, уж лучше вечер.
Он как-то ближе сердцу и уму.
Я даже на вопрос ребром отвечу
довольно чётко: выбираю тьму!

Раздёрну шторы, как закат потухнет,
и дом напротив мне отправит весть
о тех двоих, что любят секс на кухне,
а в спальню ходят только, чтобы есть.

Мама-мамочка, роди меня обратно…

Мама-мамочка, роди меня обратно.
Я не справился с задачкой и с вопросом.
Мы для Бога – словно гнилостные пятна.
Вот он нас и поливает купоросом.

На Урале даже вёсны – как протечки
из хрустального небесного гальюна.
Разливное дерьмецо – и человечки
по нему гуляют радостно и юно.

Здесь поют и водку пьют лужёной глоткой,
и за правду бьются – мы вас или вы нас!
Но зачем кому-то правда, если с водкой
развесной идиотизм дают навынос?

Если вёсны ничего не начинают –
лишь смывают наше прошлое в клоаку?
Если люди, как и псы, вовсю дичают
и приходят общей сворою на свалку?

Я опять строчу письмо и жму "отправить".
Только Бог – он не в Москве, и он затейлив.
У народа – вывих мозга, и – не вправить.
И Господь не отвечает на емэйлы.

Течь из носа у капели от бессилья.
Как калека стонет колокол церковный…
Здесь вчера ещё цвела моя Россия,
а сегодня здесь одни собачьи го́вна.

НЕ ПОМОЖЕТ

если нечего сказать
говори "морозно"
мы с тобой идём в кровать
разно или розно

галка села на крыльцо
здесь у галки место
в пальцах греется лицо
как в опаре – тесто

мне сегодня хорошо
я сегодня выпил
держит воздух колесо
потому что ниппель

от стены и до стены
у меня дорожка
стул и стол и свет луны
да в стакане ложка

там был чай, но чая нет
только мокрый сахар
мне две тыщи двадцать лет
я сегодня знахарь

мне сегодня по плечу
леммы и дилеммы
я не плачу, не хочу
уходить от темы

галка села на крыльцо
потому что может
я разбил бы в кровь лицо
только не поможет

РЫБАЛКА В СЕЗИМБРЕ

Вот и Сету́бал. Забыт автобан.
Бухта внизу – как урочища лимба.
Здравствуй же, пра́отец наш, Океан,
здравствуй же, дева морская Сезимбра.

Камень террас испещряет холмы
белыми пятнами – виллы и дачи.
Зелень и небо, и солнце, и мы –
счастья ловцы, рыболовы удачи.

Густо надавлена краска из туб:
кобальт и хром, и краплак, и белила.
Сочен мазок и поистине груб –
словно рука рыбаря положила.

Что за художник, себе говоришь,
здесь народился, в такой деревушке…
Жжёная умбра сбегающих крыш –
точно веснушки у милой простушки.

Во́ды. А во́ды! А этот цветник
шхун и баркасов на блещущей глади!
Чаек, кружащих акридами, крик –
даже и он здесь лишь яркости ради!

Синь такова, каковой не была
в день под названием "первоначало".
Что за наркотик в зрачок мне ввела
лодка, отчалившая от причала?

Здесь, в глубине, как и в рыхлости глин, –
наши истоки и наши зачатки.
Пена кормы – как густой каолин –
в кадре бела и ликует в сетчатке.

А из-за тучки невидимый Бог,
радуясь, что не наносим урона,
больше лукав, больше весел, чем строг,
брызжет улыбкой и блещет короной.

Шкипер – как маг! Но сегодня их два –
равновеликих на нашем баркасе,
"sim!" говорящих, способных едва
нас различить в туристической массе.

Двое устойчивых, как из ларца.
Двое любителей качки и евро.
Схожих загадочно, но не с лица –
просто наличием общего нерва.

Двое, способных без чар и чудес
взять и извлечь из глубин, ниоткуда,
с помощью ловко закинутых лес
странно живое и влажное чудо –

вёрткой макрели текучую ртуть,
окуня щёку с большой оплеухой,
золото спаруса – мелкую жуть
недр подводных. С какой голодухи

все эти твари, крючка не боясь,
столь безрассудно хватают объедки?
Впрочем, любая открылась бы пасть,
если бы ей предлагали креветки!

Спиннинга выхлест – как выстрел с бедра.
Дикий азарт без конца и начала!
Тучен улов в окоёме ведра.
Славен наш день вдалеке от причала.

Где-то за мысом исходят на крик
чайки, беснуясь, а может – сирены.
Видно, сзывают уже на пикник
всех беззаботных и благословенных.

Сегодня, милый дом, я далеко не сир…

Сегодня, милый дом, я далеко не сир.
Взгляни-ка, вот и сыр дырявеет на блюде,
и вентиляция, что сделана из дыр,
со мною курит в такт, вдыхая полной грудью.

И я, вообрази, сегодня не вовне.
Все эти пазухи, каверны и пустоты
зияют от тоски, так почему бы мне
вдруг не потрафить им и не заполнить гроты?

Земной мой оберёг, ты мой лелеешь сплин,
хранишь мой краткий сон и охру фотографий
и перелистываешь сигаретный дым
как бесконечный том собранья эпитафий.

Я много раз бежал, тебя на произвол
и на расправу запустенью оставляя.
Я созерцал дворцы, но лучше не нашёл
тебя, мой милый храм, хоть и прошёл до края.

Все путешествия – как схватки суеты,
а впечатления – как факт мертворожденья.
И ты – в конце дорог, я снова здесь, и ты
привлёк меня к груди, не зная осужденья.

Заморские пиры – как сыр, что весь из дыр.
Натешились вполне души моей извивы.
Все изыски Европ – для снобов и транжир,
пресыщен ими глаз и сыты объективы.

Ну здравствуй, милый дом. Мы брюхо на разрыв
опробуем сейчас, тарелки ставь не мелки.
Мечи на стол харчи и водку на обмыв
приезда – но не всю, оставь для опохмелки.

Идти по жизни не греша…

Идти по жизни не греша –
как в дождь плясать и не намокнуть.
И в каждом па ведёт под локоть
нас наша грешная душа.

И пусть уже окончен бал,
и звуки те нам только снятся,
но как же здорово признаться:
да, я грешил. Но – танцевал!

Когда утерян смысл творчества…

Когда утерян смысл творчества
и жизнь не значит ничего,
и хороводит одиночество
с тенями дома твоего,

к тебе приходит осознание,
что ты не пел – лишь вторил ты,
что все надуманы страдания
и все несбыточны мечты,

что не писал ты, а пописывал,
что был ты тварь, а не творец,
и жизнь как книгу перелистывал,
хотя и знал её конец.

Я не пищал бы крохою в яслях…

"Вероятность появления на свет конкретного отдельно взятого человека – 1 к 400 триллионам".

Из достоверных научных источников

Я не пищал бы крохою в яслях
и в классах не сидел бы так упрямо,
и нынче бы не путался в словах,
когда бы не случились папа с мамой.

Я б не бежал за ксивою в ОВИР,
не знал бы ни склонений, ни ругательств,
но всё свершилось, и нагрянул мир,
по странному стеченью обстоятельств.

Любовь, любовь, недаром ты слепа,
а я, твой плод, похоже, слишком зрячий,
народу ходит по земле – толпа,
и я хожу, почти белогорячий.

Теперь меня опять почти что нет,
и потому так радует занятность
того, что появление на свет
имеет нулевую вероятность,

и смысла нет в сознании своём
нести ненужные слова и лица –
при этом ощущать себя нулём,
но числиться зачем-то единицей.

Забавно думать, что мой первый вдох –
не просто случай в бездне, всё крутящей,
а что всему причиной то ли Бог,
то ли другой мужик живородящий.

СИЖУ ПОД ОЛЬХОЮ

Сижу под ольхою. Она жива. А я
её многозначность, как будто себя, кроя
на тысячи тонких, пока ещё тёплых жил,
могу лишь сказать, что я жил. Когда-то жил.

Скамья и затылок. Дорожка. Сырой песок.
Никто из-за тучки не целится мне в висок.
Ничто не стоит, кроме Вечности, за скамьёй.
Сижу под ольхою. Ну где же ты, Боже мой.

ПРЕВОЗМОГАЯ

Ей нравилось слово "превозмогая".
Коленей для милого не раздвигая
(лишь только мечтая об этом ещё),

в укромной беседке, увитой плющом,
того, что с усами, дождаться во мраке,
того, кто прочёл твои тайные знаки

и шепчет, и шепчет теперь на ушко
про то, что народ называет грешком,
а маменька с папенькой – грехопаденьем,

про сердцебиений в груди совпаденье,
про негу, что слаще варенья из груш,
про то, что никто не узнает, к тому ж, –

ужели не счастье? В груди – колотьба,
и там, под корсетом, такая борьба,
что хочется сдаться – и сдаться без боя,

а после уже разбираться с судьбою
(была не права ли, была ли права –
пусть после об этом болит голова),

пока же – пленять и в руках изгибаться,
хотеть целоваться – и не целоваться,
и таять как воск, и гореть как Москва,

и осознавать, что ты, в общем, близка,
но не опускаться до капитуляций,
поддавшись едва – начинать отстраняться,

глядеть на кумира поверх поволок,
потеть до ладошек, крутить завиток,
шептать: ну пожалуйста, слазьте…

Хотеть не давая – ужели не счастье?
(Желанная, влажная, полунагая,
в обнимку со словом "превозмогая"…)

ПОСМОТРИ

Посмотри, как течёт это небо за кромку земли.
Знать, старухе невмочь, и её молоко убежало.
Посмотри, как оса всё кружит над бутылкой шабли,
будто вызнав того, для кого достают смертоносное жало.

Посмотри, как протёрт этот бархат, в который сезон
этот всё ещё бархатный веки твои укрывает.
Посмотри, как дрожит напряжённой струной горизонт
и навеки "вчера" и "сегодня" на "было" и "нет" разрезает.

Посмотри и забудь, ибо "завтра" – пустая мечта.
И оса улетит как несомое вдаль веретёнце.
В этом крае теней ты уже досчитал до полста,
и бутылка шабли остаётся последним пристанищем солнца.

ИЗ КНИГИ "ПИСЬМО В НИКУДА" (2017)

КАЗАЛОСЬ БЫ

Автомобилий клин несётся мимо
открытого окна, по-доплеровски лих.
Дрожат углы, и кажется, что их
не меньше в комнате, чем крыл у серафима.

Стоит теплынь. Окно отворено.
И кажется, что можно канарейкой
защебетать, забить крылом и, той лазейкой
воспользовавшись, выпорхнуть в окно.

И кажется, ничто в реберной клетке
полёт не сдержит. Даже дом пустой,
прощая тела буйного постой,
к окну заботливо сдвигает табуретки.

Казалось бы, не обмануть судьбы
душе пернатой, если б, к сожаленью,
не сослагательное это наклоненье –
"казалось бы".

СНЕЖОК НА 1 АПРЕЛЯ

Ну не шутка ли – этот реющий
в синем воздухе белый пух?
Веселящее душу зрелище –
дискотека у белых мух.

Сыпет густо, как в той пословице:
богу брод, ну а нам – потоп.
Может, боженьке нездоровится?
И с утра у него озноб?

Как бы ни было, мы капризными
сроду не были – край не тот.
Забавляемся, как сюрпризами,
катаклизмами круглый год.

По ледку семенящей поступью
поспешает сметливый люд,
птичьи плюсны, купаясь в россыпях,
чудеса кружевные ткут,

по дворам детворой немерено
понакатано снежных баб,
и позыркивают растерянно
фонари из-под снежных шляп.

Ах ты, белый цвет моей родины,
ниспадающий чистый свет…
Как в последний раз колобродим мы –
будто дальше и жизни нет,

будто там, где, пестрея красками,
закружит нас краса-весна,
разопреем в апреле ласковом,
растеряем остатки сна

и тогда это счастье кончится.
Не затем ли в холодный плен
так и хочется – ай как хочется! –
провалиться со всех колен.

Не доверяйте слов своих гортани…

Не доверяйте слов своих
гортани,
гортань не вечна и в конце
обманет.

Уносит ветер всякий звук
изустный,
каким бы ни был этот звук
искусным.

Доверьтесь белому листу –
он сдюжит,
переживёт, перележит,
послужит,

дождётся рук, дождётся глаз
и даже
однажды вдруг праправнуку
расскажет

о мире том, что был для вас
чудесным,
пока не стали вы листом
древесным.

ПРАВИЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Если выбить из комнаты душной спесь –
что же комнатой будет зваться?
Этот куб, обрастающий мною весь?
Или же квадратура матраца?

Этих стен оползающие углы?
Или пуха в моей перине
залипуха соития да столы,
устоявшие по причине

многоножья? – Не знаю. Но я погряз.
И в квартире моей зыбучей
я люблю вас, мой ангел. Люблю я вас.
Это странный, но правильный случай.

А У НАС ХОРОШО!

Где-то страсти кипят и, наверно, ломаются копья.
И не хочет один отойти от другого никак.
А у нас хорошо. Мы – на даче. Сажаю укроп я.
Мне скажи "эрдоган" – я подумаю, это сорняк.

Вот и солнце заходит. Жена нам пельмешки на блюде,
как парящее нечто, выносит в наш маленький сад.
Мы усядемся с ней как обычные русские люди.
И нажрёмся от пуза. И я закурю самосад.

Где-то Путин. А что, он по-прежнему Путин?
Он по-прежнему правит и ест на закуску детей?
А у нас хорошо. Никакой этой царственной мути.
Я крыльцо, вон, чиню, надо выправить пару гвоздей.

Нет, у нас хорошо! Только жалко, избушка ветшает.
И жена всё зудит, что пора уже что-то решать.
Дураки говорят, что за нас кто-то где-то решает.
Кто ишшо, кроме любы моей, может что-то решать!

Я вчера на рыбалку ходил, и попалась таранька.
А голуба моя о ту пору смоталась в сельмаг.
Ввечеру, после ебли, нас радостно встретила банька.
Нет, у нас хорошо, и вы не представляете как!

Приезжали сыны. И поведали об энтэрнетах.
Это ж сколько людей потерялось, на это подсев!
Ходит мир ходуном. Где-то там. Вот, воистину, – где-то.
Там не так хорошо и, видать, там не ро́дит посев.

А у нас хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Ежли я заскучаю,
и захочет душа, ну, не знаю, чего-то ишшо,
я скажу себе: цыть, дурачина! и так всё до краю.
Ведь у нас хорошо. Мы в России, и всё хорошо!

Я был на кладбище…

Я был на кладбище, где мама и жена.
Детей не взял, – она обожжена,
душа моя, и мне хотелось плакать, –
зачем, я думал, детям эта слякоть.

Но был не прав. Все знают, что умрут.
И очень важно знать, что где-то ждут
тебя родные. Вечно и упрямо.
Как и при жизни. Бабушка и мама.

НИЧЕГО НЕ ВЕРНУТЬ

Нет, мы не ста́ры.
Мы опять юны.
Касается колена толк волны.
И горизонт качается как озимь.
В песке забыты галек ордена.
Волна кипит – на то она волна,
чтоб набегать и разбиваться оземь.

В Тоскане собирают виноград.
А здесь – вельми прохладно. Шоколад
до сей поры у местных не в фаворе.
На попеченье попадая к ним,
ты лишь печеньем мог быть утолим,
чей фунтик на подушке чудотворен.

Прости, Христос, прости меня, Аллах,
мы с ней зажаты в тех же зеркалах,
что и тогда здесь отражали вечность.
И я держу её под локоток,
и ток меж нами, краткий свой виток
свершая, убегает в бесконечность.

Яйцо на завтрак. Благо, что пашот.
И я, беззубый разевая рот,
вдыхаю запах моря и настурций.
Засим – вялотекущий променад
и олово небес – в воде и над,
и снова птицы, что в лицо смеются.

Скрипят зонты. Спасатель пьёт вино.
Итог наш отрицателен давно,
поскольку минус между "есть" и "было".
Мы снова здесь. Спроси меня – зачем?
Настурции завяли и печень-
е высохло. Лишь сердце не остыло.

НОЧНОЙ ДОЖДИК

Вот и дождь – та-дамм… та-дамм… –
урезонил тишь.
Унисонят проводам
ксилофоны крыш.

Ночи склон, сбежавший сон,
мокрых пяток топ…
Монотонный камертон
и рывки синкоп.

Нотный стан и провода –
не одно ль и то ж?
Крыши, стопы и вода,
да ночная дрожь.

Пустота – и не пуста,
просто – из цезур.
Как легко читать с листа
этих партитур!

Капли нот с утра – везде.
Как бутоны рифм.
Подхвати же, новый день,
этот лёгкий ритм.

ВЕСНА ПОСЛЕДНЯЯ

Опять в весну ступаю как дурак.
Как в первый раз. Как будто здесь я не был.
И рифм не берегу. Зачем? И так
весёлый, бирюзовый мой пиджак
почти сливается с весенним небом.

И глупо вдаль я мыслями теку.
И невдомёк мне, старому фигляру,
что в эпитафии (о коей ни гу-гу)
весна последняя последнюю строку
уже закончила на стенке капилляра

в моём мозгу.

ЖАРА

Вот она, жара, –
когда из тела вытаивает зола
и рушится остов, основанный на углероде
или на чём-то вроде –
на некой основополагающей субстанции бытия.
Мытия
не помогают; только что вытирал воду и вот –
уже вытираешь пот.
Мышцы рыхлы, бессильны жилы,
отовсюду течёт слабое подобие рыбьего жира,
который не высыхает, но покрывает тебя мокрой коркой.
Хочется стать жучком, охлаждаться норкой.
Но самое гадкое – это нервы,
от них не помогают даже кондиционервы.
Стоишь – и таешь, идёшь – и таешь, сидишь – и таешь,
и понимаешь, что отлетаешь.
И всё, что тебя окружает – загривки, лица, –
одни мокрицы, и ты – мокрица,
и думаешь: какая роскошь, когда мурашки,
но нет мурашек – одни подмышки. Где промокашки?
где белый айсберг?
Тебе на тучке комфортно, Изверг?
Жара – вот она,
раскалённой проволокой на тебя намотана.
Вместе с потом со лба брови оплыли на нос.
Кому помолиться, чтоб хоть плевочек ветра принёс?
чтоб просто сказал: назавтра прогноз –
только дождик с градом
и будет лёд на завтрак, и будут сугробы рядом…
Наш век – это век медицин, микстур, шприцов и пипеток,
но нет от жары таблеток!
Сижу тут один на веранде я
и думаю слово
Гренландия.

ИТАЛЬЯНСКИЙ АЛЬБОМ

ОДНА НОЧЬ ВО ФЛОРЕНЦИИ

Этот вечер незнамо где.
На краю моего здоровья.
Синь небес отдана́ воде.
А́рно сонно поводит бровью.

Понте-Веккьо в плену зеркал
множит на́ два себя по массе.
Будто всё ещё не отсверкал
Рим и с ним – достославный Кассий.

Вне времён неисповедим
мир. Флоренция – точно брана.
Зной ушёл. Мы с тобой сидим
в подвернувшегося ресторана

жарком чревике. Чрева рыб
раздвигаем по дну тарелки.
Тешим брюхо – а ведь могли б
и не быть так животно мелки.

А снаружи, за ширмой стен, –
там история… тьма историй…
Величайший парад камен!
Там Уфицци и там дель Фьоре.

Там – не тени во тьме аллей
и не призраки ночи синей…
Алигьери. И Галилей.
Микеланджело. И Россини. –

Живы все! И их чистый свет
мы с тобою узрим воочью…
"Что? Сейчас? Не с дороги. Нет.
Не вот так, не бегом, не ночью".

Мы прибились на краткий постой
к закуту, где чихает кондишн,
нам кричал этот город "постой-
те", но не был услышан.

А потом мы сплетались в ночи
(топкий омут – а не перина!),
в перерывах (коль так горячи) –
снова "Нобиле Кавальерино".

А наутро – уже не до вех,
ибо дождь зарядил (как подарок).
Снова – чревоугодия грех,
снова бар, снова фрутти ди маре…

Мы сошлись, что решён вопрос.
Монтальчино стал новой вехой.
Там – "Брунелло", сыры из коз
и колбасный бутик с энотекой…

Флорентийская ночь прошла.
И какого мы здесь искали?
Мы не видели ни шиша.
Только ели и только спали.

ИТАЛЬЯНСКИЙ АЛЬБОМ

ЧИНКВЕ-ТЕРРЕ

В перьях облачных горизонт,
ощущаемый как потеря
ориентации, растворён
в водах Специи. Чинкве-Терре.

И фотограф, любитель мачт,
парусов и девиц в бикини,
здесь, лишённый иных задач,
обессмертил меню в витрине.

Колоритен чинарь во рту
у торчащей в окне старушки,
развеваются на ветру
её ветхие постирушки.

Из горы, как из фрукта червь,
выползает неспешный поезд –
прибывает людской резерв,
пополнение очередное

легиона лихих зевак,
шилом в область крестца отмеченных.
Объективы их так и сяк
ловят встречных и поперечных.

Пожираемы взглядом сплошь
эти скалы и это море.
Чем ещё ты меня проймёшь?
Монтероссо? Риомаджоре?

Из холодной моей земли
до Италии путь неблизкий –
раскали же свои угли,
Чинкве-Терре, по-лигурийски,

подмани меня, привлеки –
и я буду тебе благодарен
за конические кульки
с каноническим каламари,

погружаемый до ресниц
в небеса и в опунции эти,
в запах незабываемых пицц,
окунаемый в бирра Моретти

и в веснушчатый рыже-лиловый закат,
изливающий краски долу, –
им всегда твои щёки горят,
вечно юная Манарола.

Отбываю в унылый край,
и обратный мне путь заказан.
Я запомню тебя как рай,
поселившийся в радужке глаза.

В белой тоге, бела белей,
нависая над бухтой носом,
чайка сытая на скале
бдит – единственный здесь проконсул.

ИТАЛЬЯНСКИЙ АЛЬБОМ

АБРУЦЦИ

В краю не знающих по-русски
в матроске белой от "Лакост"
ты перламутров, как моллюски,
и, как моллюски, влажен. Тост

ты поднимаешь за Абруцци.
Тебе, паяцу, un caffè
не помешал бы, только рвутся
в душе все струны, и лафе,

ты чувствуешь, – конец. "Ну, братцы,
давайте же, пока живём!.." –
…пока не выловят на пьяцце
тебя живьём.

ПАЛЬМА-ДЕ-МАЛЬОРКА

Бухта, где яхты – как трупы ежей:
всё побережье, щетинясь, воздвигло
мачты – что копья, что белые иглы –
ради забавы великих мужей.

Так размещается скромный доход
моря и неба, и землевладельца.
В трюме прохладном шикарное тельце
яхтовладельца – úз года в год.

Евро давно непостижен уму.
Мощь его крепнет – и крестится Раша.
И отражает высотка "Ла Каша"
каждым стеклом нашу зависть ему.

Вечный июль бесконечных сиест.
Пенной волны балеарские слюни.
Позеленевший во святости Луллий,
на пьедестал низошедший с небес.

Айсберги лайнеров в жарком порту
проистекают людскою водою.
И, как последнее средство от зноя, –
йогурт, что тает в руках, не во рту.

Всюду – иссохшие фиги и тлёй
съеденный лист, парашюты каштанов,
пальмы, как взрывы, да истуканы
мельниц, крутимые только Землёй.

Юркий турист, промелькнувший стремглав
мимо собора Святого Франциска,
морем облизанный как ириска,
в мокром песке оставляет "I love"…

Что ж, покидая твои берега,
вытру испарину, словно истому…
Завтра подаришь кому-то другому
ты, де-Мальорка, свои жемчуга.

ВЕРНУВШИСЬ

Вернувшись из заграниц, находишь, что ты потерян.
Испражнившийся грач уверяет, что мир до сих пор трёхмерен.
Обречённо меняешь на чёрные свои голубые носки.
Дом тебя сторониться – похоже, не ждал возврата.
За окном нескончаем рефрен – коленца отборного мата.
А вот и знакомые зомби: чувства усталости и тоски…

Стряхнув терракоту с кед, вытаскиваешь ботинки.
В глазах, как дурной послед, мелькают ещё картинки
покинутых кущ и лакомых гущ на чужой стороне.
Но это всего лишь мираж, последнее наваждение,
нагромождение благ, которых лишён с рождения,
не всякий дурила сдюжит – вот так побывать вовне.

И сызнова учишься жить, пытаешься ломко, несмело.
Сосед, христарадничая, величает тебя "братэлло",
а ты ещё полон мальвазий и прочих искрящихся влаг,
но он излагает трижды всё то, что излишне дважды,
и ты, будто йог, медитируешь: нужно любить сограждан…
сосед мне вовсе не враг… хотя ещё тот синяк…

А к ночи сгущается солнце (какая волшебная мука!)
в виде сдвигаемой мебели, в виде пронзительных звуков,
в виде того, что ты знал, но, видимо, подзабыл. –
Рядом какой-то чудной и до ёка родной непоседа
всё теребит тебя за рукав и на дискант срывается: Деда!
Ты посмотри, я из кубиков выложил слово "Победа"…

Только тогда до тебя вдруг доходит, какой ты дебил.

ПИСЬМО К СИМПАТИЗИРУЮЩЕЙ

Не верю, что могу я соответствовать
хоть чем-то Вашим пылким ожиданиям.
Привычка разгильдяйствовать и бедствовать
сильней во мне, чем пьяницева мания.

Я чищу нос в кулак, живу вполголоса,
субботы жду, как иудей – спасения,
курю табак, давно теряю волосы
и олицетворяю невезение.

А Вы такая собранная, цельная –
как пазл из пары сотен бриллиантиков.
Слегка поторопились Вы, наверное,
подумайте, где я – и где романтика.

Вы вся такая чистая, небесная,
а я – сплошное недоразумение.
Иметь меня, машер, признаюсь честно я,
намного хуже менянеимения.

Вам нужен лорд, как минимум – из Йóркшира,
чтоб Ваша жизнь была – одно блистание,
а я пью квас, засасываю "Дóширак"
(лапша такая быстрого питания).

И вряд ли кто-то вздумает оспаривать
простое, как два пальца, утверждение:
негоже мужика и нимфу спаривать –
во избежанье нимфовырождения.

И пусть ничто в Вас больше не обманется
насчёт меня во тще анекдотической.
Позвольте мне, дремучему, откланяться
на этой ноте, светлой, поэтической.

АХ КАК МНЕ БЫТЬ?

To Alice-Maree Joy

Ах как мне быть? Твоя округлость –
отнюдь не то же, что безуглость
банальной плоти, выгиб форм
твоих – как лёгкий хлороформ
для глаз, исколотых о пики
локтей, коленей, что Великий
с обычной спешкою творца
нам преподнёс для созерца…
Да, тут он, видно, потрудился,
а может, сладкого напился
и, в томной неге возлежа,
уж не ужа нам, не ежа,
но чистый образ совершенства
явил для высшего блаженства.
Загладил, так сказать, свой грех,
решив: пусть будет, для утех.
Мой чистый опий и подушка,
усну ль? Щеки твоей опушка
и дужка ушка, всё – как сон.
И, хлороформом унесён,
я вновь в бреду бреду сквозь кущи,
куда, по счастию, допущен,
и снова верю в чудеса,
и даже чресла воскреса…
Excuse me, зарапортовался.
Но есть ещё момент, остался
всего один ещё момент.
Добавлю сотый комплимент:
хотя в тебе и так всё гладко,
но есть особенная складка,
в укромном месте, где рука
к плечу стремится, вся легка, –
там есть местечко, где нагая
подмышка, словно запятая

вне скобок стоя у груди
(веди, перо, меня, веди!),
распространённым предложеньем
мне предлагает продолженье
всего, о чём могу мечтать, –
так вот, за эту благодать
готов продать словарь и бога,
и даже родины немного,
и только этим впредь и жить…
Скажи, мой ангел, как мне быть?

В КРАЮ ЗАБЛУДШИХ

Мне посчастливилось бывать в краю Заблудших,
где всё – кпсс и молот невесом,
где мир надуманный прикидывался лучшим
и где народ-кихот сражался с колесом

иллюзии своей – как с мельницей идальго,
где вера в рай и без попа была жива,
и если на груди качалася медалька –
то рай был обретён. – Но стёрлись жернова

у ветхой мельницы очередного -изма.
Истыкана копьём, она могла лишь пасть,
поскольку лишь беда выглядывала из-за
стены с названием "одна шестая часть",

но чёрт меня дери! – моя шальная память
нет-нет да оживёт и бросит тело в дрожь
(желая, как сегодня говорят, поспамить),
и думается мне: пусть было так, и всё ж…

…и всё же для друзей там шире были двери,
а если был замок, то ключ всегда лежал
под ковриком дверным или, по крайней мере,
за фикусом в горшке. Предметом дележа

была лишь гордость за дозволенность родиться
в стране, где Ленин рос. За давностию лет
на ум нейдут другие поводы гордиться…
Хотя, постойте! Помню, был ещё балет.

Там были звёздами не геи – сталевары,
и как ругательство звучало "пидорас",
и под раскаты шестиструнные гитары
безрукий хлопал, а безногий рвался в пляс.

Там затевалось всё, попробуй лишь затей-ка.
Там песня строила и с нею жизнь текла,
и полновесная советская копейка
в кармане звякала и рубль берегла.

И годы шли по пять, не зная прочих меток,
и не хоругвь плыла, а реял транспарант,
и каждый был кузнец и в кузне пятилеток
ковал орало. Этот новый вариант,

что мы построили (я говорю о жизни),
спустив в сортир всё то, что было нам дано, –
без оптимизма, не нуждаясь в эвфемизме,
по-русски смело я могу назвать. Говно.

ЛЕТО

Лето. В пыли отпечатавшегося штиблета
след. И признаки раннего обрастания
зеленью, плотью скелета ветвей. Лето.
Это – как голос во мне "перестань" и я
с голосом этим носящийся где-то
там, на границе сознания.

Выйти. Оставить сомнения, страхи и выйти,
выю свернув, головою крутя от томления,
к липкой смоле прилипая смелее, открытей,
с прежнею верой и благоговением
жизнь принимая. Шепчите, речите,
ветви, о дне спасения.

ОСКОМИНА

Я в панике искал в миру слова –
но всё осталось чувством. Только чувством.
И даже крик меня, едва-едва
явившегося в мир, был грустным.

Едва пришед, я и тогда кричал
о невозможности себя как слова,
о несоединимости начал
вербального и естестного.

И, возгласив, одним я овладел –
умением плетенья рюшей, кружев.
Я был желтком – и вот я поглядел
на скорлупу яйца снаружи…

Весь этот мир, что так шумит вовне,
лишь тем велик, что он неугомонен.
И от него оскомина во мне –
как Эверест среди оскомин.

И мой нарыв – как вскрывшийся Сезам.
Ни трёп его, ни лепет не погубят.
Я больше доверяю сыновьям,
утаивающим, что любят.

Я больше доверяю голосам,
струящим свет из обжитых могилок,
и маме, что рукой по волосам
моим когда-то проводила, –

но не словам и не значеньям их,
не начертаниям пера и кисти.
Вы посмотрите, даже этот стих,
составленный из них, мне ненавистен.

НЕ СДАВШАЯСЯ ПОЛЬША

Вот я сподобился! Какая же зараза –
любовь юнца, да будет проклята стократ!
Все тридцать витязей во мне взыграли разом,
из моря вышедши и не зашедши взад.

Всю щекотливость нам усугубляла мама
(орлы столкнулись и срослись в её бровях),
но я подделал ключ от этого сезама,
да и не нужен ключ, коль дочка на дверях.

Когда вам с жезлом на двоих – едва пятнадцать,
то вряд ли видится хоть что-нибудь вкрупне.
Хотелось большего, но только целоваться
она позволила. Лишь целоваться! Мне!!

Она позволила!!! – облом из всех обломов!
В её диване, без сомненья, был изъян.
Была полячкой иль еврейкой, от погромов
в душе берёгшей свой еврейский бриллиант,

и не дала. Но как хотела! Вспоминая
теперь возню свою на ней и сползший плед,
я точно знаю, что довёл её до края.
До края пропасти в её тринадцать лет.

Теперь ей пятьдесят. А может быть, и больше.
Конечно, больше, и гудит от внуков дом.
Любимая моя, не сдавшаяся Польша,
как хорошо, что я с тобою не знаком.

ЗАПАХ УТРЕННЕГО КОФЕ

В проём окна глядит рассвет.
Он, как и я, ещё потерян.
Мой новый день мне шлёт привет,
хотя из всех его примет
пока – лишь отсвет на портьере.

И сон уже неймёт виска,
и даль, сбежавшая за реку
вчера, сегодня так близка –
до волоска внутри мазка…
Как мало надо человеку,

что слышит в этот ранний час
шаги любимой, там, на кухне…
Она войдёт сейчас, и враз
коснётся солнце милых глаз.
И если мир нежданно рухнет,

и скажет Бог: хоть всё подряд
возьми с собой к своей Голгофе –
не буду рыскать наугад,
возьму её счастливый взгляд
и запах утреннего кофе.

СЕМЬ СЛОГОВ

Дождь не крался, не падал, не шёл –
он, как плод, всё полней наливался,
словно сад – по-весеннему цвёл,
словно манна – с небес осыпался.

Он ко мне заглянул неспроста.
Верно, чем-то хотел поделиться,
будто видел – страница пуста,
будто знал, что пустая страница –

будто сад без ухода и вод.
Он как будто бы мне, остолопу,
говорил: пробудись, садовод,
и поправь свои мысли и стопы,

отомкни кладовую, как встарь,
путь туда ещё не заповедан,
паутину смахни, инвентарь
ещё годен, хотя он и дедов,

и пустую, сухую ладонь
я наполню, прошествуя ливмя,
от корней до листвы – только тронь –
всё опять оживёт после ливня,

не напрасны порывы "хочу",
неудачи и срывы бывают,
я ведь лысины тоже мочу
и, ты знаешь, не все прорастают…

……

Вот и новая капля легла
в окоём моего палисада –
будто ягод сдержать не могла
перезрелая гроздь винограда.

Я из ящика вынул листок
и дрожащей, неверной рукою
написал под дождя тукаток
семь слогов:
Боже, счастье какое!

УМОЗРИТЕЛЬНОСТЬ

Гляжу вокруг, глазам видна
тропа, крадущаяся в гору,
и вся гора об эту пору –
как груда пёстрого рядна.

Не разглядеть отсюда мне,
где василёк, где одуванчик,
и только пятна мать-и-мачех
мной выделяемы вполне.

А под горой блестит река,
да так блестит – что больно глазу.
Я отвожу глаза, и сразу
их заселяют облака.

Зачем, зачем так ярко всё
вокруг меня на этом свете?
Какой всезнайка мне ответит
и в ясность ясность привнесёт?

Печаль внутри меня темна.
Темна, поскольку изначальна.
А мир вокруг, как ни печально, –
так… умозрительность одна.

РАСПЛАВЛЕННО

Увы, вчерашний брошенный пиджак
так и висит на стуле. Стало жарко,
и он, красавец, как ни бы́ло жалко,
застрял в квартире. Мой неспешный шаг –
как суд костром, что на рубахе выжег
проекции расплавленных подмышек.

Такое лето и таков Урал.
Вчера ещё по улицам со свистом
носился Север в исступленьи льдистом,
но в ночь обмяк, потёк и перестал.
К обеду же в расплавленном асфальте
мы были – как вкрапления в базальте.

Казалось бы, зачем мне память жечь
воспоминанью о Понте Эвксинском,
когда и в этом пекле сатанинском
уже расплавлены и мозг, и речь,
и телу, как увядшему растенью,
уже невмочь, уже не до хотенья?

Но всё мерещится далёкий пляж
и грезится, как волны моют ноги,
и я бегу, бегу к своей берлоге,
под душ, под душ, на третий свой этаж,
чтоб после на постели стать звездою,
раскинув члены в избавлении от зноя.

ОСЛЕПИТЕЛЬНО ЖЁЛТОЕ СОЛНЦЕ

Я выхожу на улицу, не зря
ни трещинки, ни тени на фасаде.
Весь мир в надсаде, видимо, не зря
жираф пятнистый в клетке, в зоосаде,

мне снился утром. Мой пятнистый сон –
единственное здесь разнообразье.
Всё ослепительно, и солнца пуансон
расплющивает мир, напорист, безотказен.

И лавой низвергается с высот
растопленное сливочное масло.
В глазах – желтó, полуоткрытый рот
несёт язык, растресканный как прясло.

Жара – тот оползень, а город – тот расплав,
чем в этот день играет бог Горнило.
Пытаешься, все члены распластав,
нащупать ветерок, дабы омыло.

Пытаешься найти – пускай намёк
на тень, на сень, на струйку кислорода,
и вдруг кричишь: я выучил урок!
избавь же, Изувер, от небосвода,

что, жёлтый, жёлтым делает меня,
поверь или проверь на полиграфе:
в истлевшем мозге на излёте дня
одна лишь мысль – о пятнах на жирафе.

СЕРАЯ ФИГНЯ

Сегодня пасмурно и серая фигня,
сошед с небес, клубится под ногами.
Скольжу по городу, и нет во мне меня,
как нет и вне. Кусты торчат рогами

из преисподней рвущихся чертей. –
Разросся ад, а здесь свободно место.
Фатально всё, и сквозь фату ветвей
рыдает лето, вечная невеста.

И моросит. Их вечный миозит
кривит скамейки в обнищавшем парке,
от горних кущ промозглостью разит,
и, прялку отложив, кемарят Парки.

Летит пыльца. От неба до лица
пыльце воды лететь уже не нужно –
они слились, и цвет их – цвет свинца,
и всё вокруг ненужно и недужно.

И кажется, что миру больше лет,
чем миру есть, – настолько он потрёпан,
и верится, что если был завет,
то был один – всемирного потопа.

И зря выходит в это "ничего"
босое лето в платье подвенечном.
Есть только дождь. Есть только аш два о.
Так сыро, что почти бесчеловечно.

Я снова поклоняюсь сентябрю…

Я снова поклоняюсь сентябрю.
Он самый завершённый месяц года.
Я в сентябре готов сказать "люблю"
тебе и куче разного народа.

Уходит жар. Со лба не каплет пот.
И даль промыта как слюда в оконце.
Земля, исторгнувшая щедрый плод,
в изнеможеньи нежится на солнце.

Звенит струной натянутая высь,
где птицы, как шестнадцатые, юрки.
Чихни в Находке, миг не шевелись –
и "будь здоров" услышишь в Петербурге.

И снова жизнь, как небо, велика,
и вот он – рай, он на Земле воссоздан.
И счастье носит запах шашлыка,
свербит в носу и раздувает ноздри.

Друзья толпятся, и горит фонарь,
и если на крыльцо случайно выйдешь,
поймёшь, что мир – как рюмка, как чинарь,
что никогда не выкуришь, не выпьешь.

НИКОГО

Вот и дом, где почти не живу.
Вот подъезд. Он уныл и оплёван.
И площадка, как сон наяву,
где впервые я был поцелован.

Вот ступени, что помнят меня,
и перила… Я должен держаться.
Я вернулся в свои ебеня,
правда не с кем уже целоваться.

Я хочу лишь нащупать ключи
в безразмерном, как ужас, кармане.
Я себе говорю: не кричи,
всех разбудишь, а лучше не станет.

Я вернулся. Спасибо, мой бог.
Ты хранишь, и я истинно верю…
Я вернулся. А там – никого.
Никого. Там. За дверью.

ОЩУЩЕНИЕ

Есть, наверное, что-то странное
в этих сполохах зим и осеней,
не ухваченное, окаянное,
будто – в пальцах, сплетённых до сини.

Явь и кровь – две текучих жидкости.
Ум с желанием ветром вымело.
Вот я – городом, гордо сжав в горсти
всё, что отжило, всё, что вымерло.

Полным ртом плюю я в горгулий сглаз
(пусть бы их глаза повылазили).
Не спасут плевки ни меня, ни вас.
Ощущение – словно сглазили.

Есть, наверное, тот, кто выльется
нам ответом из вышней просини.
Есть, наверное. Только мылится.
Ощущение, словно бросили.

Утро. Заморозки…

Утро. Заморозки. Лист – не палый,
индевелый, зелёный, мятный –
изразцы, кружева, опалы
первоснежья удержит вряд ли.
Я иду. И зачем я вышел?
Здесь морозно, трава – из жести
и ежами торчит из крыши
кислород моего предместья.
Пусть шуршат под листвою мыши –
я иду. Это значит, ногу
ставлю правой, когда о левой
забываю, и понемногу
перемещаюсь в пространстве
к богу.

В ДЕРЕВНЕ

Всякий день января на даче
снегом выбелен до краёв.
У сельмага полки собачьи
и дивизии воробьёв

бьются насмерть за вдруг упавший
с милосердной руки сухарь.
Трубы дымом трубят вчерашним,
прошлогодним трубят, как встарь.

Дует ветер, крепчает стужа,
где-то ёжатся мертвецы,
и позёмка шальная кружит
снега колкого леденцы.

В белых шалях по зимней моде
из сугробов торчат дома.
Вот и всё, что здесь происходит.
Всё, что здесь происходит, – зима.

И сидишь у окна в печали,
и глядишь со слезой в глазу,
как места эти одичали –
сверху пусто, бело внизу.

Никому из кутузки белой
никуда уже не сбежать,
остаётся всего три дела:
жрать да пить, да детей рожать.

ДОРОГИ

Дороги ведут из города
сквозь белой зимы ущелья.
Леса подставляют бороды,
дороги находят щели.

Дороги ведут из города,
дорогами мир расширен,
и не на четыре стороны,
а больше, чем на четыре.

Дороги ведут из города,
уводят нас от удушья,
от липкого, едкого смородина
спасая тела и души.

Дороги ведут из города,
нанизывая, как бусы,
на нити из чистого холода
деревни, места, улусы.

Дороги ведут из города,
как самый искусный лоцман,
туда, где о волчьи морды
луна по-щенячьи трётся.

Дороги ведут из города.
В дорогу пускайтесь смело –
зимою она из творога
и из сметаны белой.

ХОЛОДНО

Где-то рождается то, что рождается.
Даже и здесь, где привыкло гибнуть.
Так уж спокон повелось, называется
"руша себя, на себе воздвигнуть".
Холодно. Нечеловечески холодно.
Холодно йети и знобко машинам,
птицы расклёвывают от голода
то, что всегда считалось мышиным.
Нам ли, безбожным, поклоны класть?
Нам ли ведомыми быть Володимиром?
Знамя трепещется, якает власть,
завтра пугает своим дозиметром.
Скоро мотыги в руках не сдержать,
в лес не ходи – лишь рентген в лукошке.
Ржа ест железо, а душу – лжа.
Квас оливье превратил в окрошку.
Пусто вокруг и по-прежнему холодно,
запада нет и восток не ярок,
дико, никчемно, темно и сволочно,
вороном грает мат-перестарок.
Пакость и пагуба. Если бы
бабой хотя бы какой согреться,
но прямо в окна глядят попы,
и от попов никуда не деться.

ЧУЖОЙ

Зимний вечер нигде и зазря.
Дверь, паря, выпускает наружу
весь остаток тебя, за проход "ничего" ничего не беря,
и твой взор упирается в лужу
жёлтого фонаря.

Есть в подлунной такие места,
где есть только фонарь и аптека,
где и звёзды устали блистать –
потому и зашли, и окурок в руке человека –
есть единственная звезда.

Выходи же во двор, покури,
покричи и повой, и охрипни.
Где-то там, наверху, зажигают свои фонари
здесь ненужные звёзды и спящая Рипли
сберегает чужого внутри.

ПИСЬМО В НИКУДА

Вот так вот, стало быть, теперь мы стали жить.
И хоть калоше старой сетовать негоже,
но, милый друг, ты, верно, знаешь, что "тужить"
и "жить" – не два похожих, а одно и то же.

Я из дому теперь почти не выхожу.
К зиме ботинки вон достал – шнурки сопрели.
Чуть потянул – порвал. Ну что ж, узлом свяжу,
пойду с узлом, чай, не Энрико Маринелли.

С тех пор как нет жены, как будто сожжены
мосты мои туда, где будущность копилась
для встречи сладостной со мной. Но нет жены,
и эта будущность тихонько удалилась.

У нас стоит зима. По-прежнему – она.
В умах и в душах – недоборы чётких линий.
Хочу туда, где много моря и вина
и грусть сладка, как уверяет Старший Плиний.

Какие новости? – Мне не до новостей.
Что тапки новые нужны, я год уж силюсь
и вспомнить не могу, склерозный дуралей.
Встаю, хожу курить – вот тапки и сносились.

На днях звонил Лексанлр. Докладывал, что жив,
и в трубку кашлял, бедный, будто из могилы.
Куда-то звал меня, но я сказал "лежи,
дурак". С десяток слов я разобрал от силы.

Не мог же я и впрямь обмолвиться ему,
что свидимся и так, без всяких приглашений.
Безносая нас ждёт в чудесном терему,
никто не убежит – ни бестолочь, ни гений.

Пишу тебе слова. Все старые слова.
До новых ли теперь? Нам умствовать негоже.
Да и смешно выходит, как начнёшь едва
словами новыми описывать всё то же.

Единственно прошу, пиши хоть иногда.
Письмо есть повод, пусть надуманный, напиться,
курить и представлять, как было всё тогда,
и тасовать в дыму события и лица…

ТРАМВАЙЧИК

Держась за поручень вагончика,
с улыбкою размером в мир
я доедал остатки пончика –
такой счастливый пассажир.

Такой разнеженный, облененный,
такой весь погружённый в сласть –
я мчался по проспекту Ленина,
в стальном вагончике трясясь.

Плывучей ртутью рельсы-ниточки
текли в зрачки через очки,
дома качались как улиточки,
авто сновали как жучки,

как червячки ползли прохожие
все в пятнах солнца золотых,
и пудру, на пыльцу похожую,
я с губ облизывал своих.

Смеялось лето за окошечком,
галдели птички в унисон,
а я хрустел в кармане трёшечкой,
как будто это миллион.

И тут вошла в вагончик девочка.
Такая юная – атас!
Курносый нос, чулочек в клеточку –
ну, прям, пироженка для глаз!

Вкусняшка в платьишке с бретелькою –
как на верёвочке йо-йо.
И сердце тотчас карамелькою
в груди растаяло моё.

И, ослеплён такими чарами,
я поспешил с ней рядом встать.
Какая девочка! Недаром я
заначил трёшечку, видать.

Вдохнул для первого признания,
в глазах – сто тысяч чертенят…
но всё, что я припас заранее,
застряло в горле у меня.

Трамвайчика качнулись стеночки,
и по лицу промчалась тень,
и бог спросил: серьёзно? девочки?
в твои-то восемьдесят семь?

ИЗЫДИ

Изыди, Сатана, молю, изыди.
Души не мучь и не царапай лист.
Не всяк пиит, кто строки парно видит,
не всяк порхает, кто эквилибрист.

Мой дар – обман, и сам я – род обмана.
Из спички не добудешь яркий свет
и слов не натаскаешь для романа
из вороха ветшающих газет.

Мой свет – всего лишь отсвет на предмете,
лишь отсверк очага на кочерге,
и в жизни я лишь потому приметен,
что грязь сера на чёрном сапоге.

ИЗ КНИГИ "ГЕККОН" (2019)

ГЕККОН

Когда бедняге некуда деваться,
геккон легко отбрасывает хвост.
Я каждый день отбрасываю пальцы
подальше от пера, но снова в рост

они идут и тянутся к бумаге.
И вот в который раз я с ней грешу.
Я был покоен, был в едином шаге
от всех свобод, но вот опять пишу!

Зачем пишу? В России для глагола
и пары нет сердец, что можно жечь.
(Попробуйте читать без валидола
или без валиума слушать речь.)

Однако некий неуёмный голос
одно твердит: ну потерпи пока.
И вновь, как нарождающийся полоз,
в строфу ползёт ненужная строка

и множатся бесчисленные смыслы,
и рифмы семенят на конкурс "Мисс…",
и я свой каждый выдох углекислый
роняю из груди на белый лист…

И грезится, что я зачем-то нужен, –
недаром же глазаст и языкаст, –
хотя любой язык всегда недужен
в отсутствие умов, ушей и глаз.

Моя беда с названьем "безнадёга"
всегда приходит с четырёх сторон.
Зачем пишу? Зачем ещё так много
во мне хвоста, скажи мне, мой геккон?

ВНАЁМ

Когда сдаёшь квартиру внаём –
понимаешь, что всё пропало.
Дети выросли и разъехались. Дело в том,
что не может быть лишку, есть только мало.
Из квартиры исчезнут: портрет жены,
одеяла, подушки, хранящие запах,
сковородка, запомнившая, что блины –
это так по-субботнему, нах.
А потом заведутся в щелях клопы,
постоялец брезгливо съедет,
обнищавшее нечто застонет ыыыыыы,
как когда-то дурные дети,
и на кухне в шкафу одичает соль,
никому не нужна, как старость.
Я сегодня сдаю квартиру внаём,
словно душу,
ту, что осталась.

СЧАСТЛИВАЯ ПРИМЕТА

Пусть рифмы плесть – напрасный труд,
но есть счастливая примета:
когда твоей строкой согрета
была хотя б на пять минут
одна душа больная тут, –
тебе в верхах зачтётся это.

И пусть ты путал сон и быль
и был лишь притчей во языцех,
и, как паяц о многих лицах,
творил из жизни водевиль, –
тебе должны дозволить иль
воскреснуть, или воплотиться,

чтоб в свой черёд праправнук твой
или чужой тебе по крови,
но сродный сердцем, вскинул брови
и с благодарною слезой
прошёл свой новый мезозой
чуть-чуть счастливей, чуть толковей.

Хотя возможно, всё не так.
И врёт нелепая примета.
И жизнь твоя, как сигарета,
погаснет, выпав изо рта,
и просто грянет пустота –
без слов, без смысла, без ответа.

ТЕОРЕМА

Дано: глаза тускнеющие, память
и двор – сплошная чёрная дыра.
Там в классики играла детвора.
Картина маслом, успевай обрамить.

Там девочка, парящая вприскачку,
была неудержима словно дым,
и мелом розовым и голубым
чертёжник-мальчик был навек испачкан.

Допустим: нужно, стоя, обозначить
границы допустимого овна
и прям у края стоя, у окна,
задаться вдруг вопросом: был ли мальчик?

Допустим, мальчик наш – уже не мальчик.
Ну вот скажите мне, друзья мои,
что делать старику в плену хуньи,
когда ему окном зажало пальчик?

Доказано, что в мире опустелом
выть на луну, скулить, кропать стишки –
не продуктивно. Потому грешки
всегда написаны бесцветным мелом.
И красной кровью из моей башки.

БАБУШКА

Я помню всё. Такая вот проказа
живёт во мне с тех пор, как был рождён.
И в этом я не бабушкиным глазом,
скорей – слезою в нём был утверждён.

Она была согбенна как лекало,
была живуча будто трын-трава,
но что меня всегда в ней привлекало,
так это то, что песни и слова

из уст её текли – как дождь из тучек,
и я, зелёный, нежный, как самшит,
внимал её восторженному "внучек".
Теперь никто мне так не говорит.

Она мне что-то жаркое на ушко
шептала, отходящему ко сну,
о стрелах, о царевнах, о лягушках,
о том, что осень позовёт весну,

о том, что будет завтра, промокая
простынкой слёзы на моих щеках…
Она была посланницей из рая.
И вдруг ушла, в душе оставив швах.

Ах милая моя, я в эту ересь
поверил, глупый, словно в благодать.
В лягушках все царевны засиделись,
на что мне, принцу, в общем-то, плевать.

Никто уже на титул тот – "невеста" –
не претендует вот уж сорок лет…
Для бабушки оставленное место
останется свободным. Знаю. Дед.

ПОКА НЕ СЪЕДЕН

Судьбы своей роман ведя с начала
и доведя до крышки, до обложки, –
теряешь всё. Так мышь теряет сало
при виде кошки.

Перед Ничем всегда равновелики
любые смыслы, истины и ложи,
верней сказать – они равнобезлики,
равноничтожны.

И если вдруг на краткое мгновенье
представится, что век недаром прожит, –
не верь, забудь, твоё исчезновенье
всё уничтожит.

И что бы жизнь тебе ни обещала,
ничто в ней не ведёт тебя к победе.
Остановись и просто кушай сало.
Пока не съеден.

ХОЧЕТСЯ ХОРОШЕГО

Начало мая. В рассогласовании
в природе всё, поскольку холода,
и в твёрдом агрегатном состоянии
душа и мысли, воздух и вода.

Как будто той грозы, воспетой Тютчевым,
и не было в подлунной никогда.
Весна невоплощённая, уж лучше бы
ты называлась попросту – "беда".

Бежит слеза щекою онемелою
и, падая, становится тверда,
в оковах льда бесплодной старой девою
весна моя сгорает со стыда.

И праздники, что длятся до девятого,
начавшись снегопадом в День Труда,
ни трезвому не дарят, ни поддатому
ни радости, ни счастья – ни черта.

Земля белесым пеплом припорошена,
и Солнце – лишь названием звезда,
и до мурашек хочется хорошего.
Да негде взять. Сплошное – "как всегда".

ДАВАЙ, ПОКА

Зачем ты, пакостный подросток,
любитель юных вертихвосток,
стыда и совести лишён,
смущаешь мой покой и сон?

Зачем уводишь, не жалея,
меня из царствия Морфея
туда, где льётся сердца яд
и чресла похотью горят?

Зачем томишь меня и маешь?
Зачем постель мою взбиваешь,
как море – пену, шаловлив,
когда во мне сплошной отлив?

Зачем, такой бесстыже русый,
бесцеремонный и безусый,
ты распаляешь мою ночь
и тормошишь былую мочь?

Не Гумберт я, хотя, покаюсь,
бывает, что и размечтаюсь
среди нимфеток и лолит,
и даже чувствую – зудит,

но ты подумай головою:
зачем мне бедствие такое
в мои печальные года?
Неужто мы с тобой тогда

своё с лихвой не отгуляли?
Ты ж помнишь эти трали-вали
у Гали дома и у Вали,
и у меня потом гурьбой…
Эх, развлекались мы с тобой

почти как викинги, как гунны!
Теперь, давай, сползай с трибуны.
Прошу как друга, уходи!
И не трынди мне о груди

по-детски ладной и невинной.
Их было столько в жизни длинной,
что даже и не перечесть,
но ты пойми: пора и честь,

как говорится, знать коняке.
Ведь мы с тобою не маньяки,
и мне уже не до езды
и не до новой борозды.

Уймись. Давно пора уняться.
Хотя… пускай ещё поснятся
мне эти прелести слегка –
не сахар жизнь у старика…
Давай, пацан, пока. Пока.

ТРИНАДЦАТОЕ

Тринадцатое было воскресеньем.
Так выпало. Тринадцатое мая.
Грозы ещё не знавшая, весенняя,
носилась пыль, тугим вьюном свитáя.

Зефир-повеса, вздорный, загулявший,
ещё похмельной полон был бравады,
и я, дурак, едва глаза продравши,
надумал вдруг воскресным променадом

себя развлечь. Какие потрясенья
заставили меня, такого доку,
тринадцатого! утром!! в воскресенье!!!
благополучную покинуть норку?

Люта ли духота меня добила
или излишняя намедни рюмка –
не суть теперь, причин не сохранила
размякшая подкорка недоумка.

В животворящий аммиак парадной
уже реинкарнировалась муха,
а по двору шли поступью парадной,
сплочённым строем – серость и разруха.

Тянулся май. Тащился. Полз. Поджарый,
облезлый пёс, сошед с картины Босха,
выкусывал блоху, арбою старой
гремел трамвай на стрелке перекрёстка, –

всё было как всегда. Благословенно.
Величественно было, уж поверьте.
Родной до спазма, русский, неизменный
лежал на всём покров беды и смерти.

У винного согбенные пропойцы
в недопущение любой оплошки –
отец и сын, и дух святой – вся троица –
растаскивали мелочь по ладошке.

И только тут пришла, как озаренье,
благая мысль, и твёрдою походкой
в нежданно просветлённом настроении
я двинулся за куревом и водкой.

В стекле газетного киоска зыбко
с обложки глянцевой, заокеанской,
своей непостижимою улыбкой
сиял небесный лик пророка Маска.

НАСОС

В деревне всё из наслажденья:
и сон до первых петухов,
и это благорастворенье
духмяных сельских воздухов,

и лай собак, и смех девчачий,
и му и бе коров и коз,
и даже хрю из рыл свинячьих,
и хрусткий стрёкот из стрекоз,

и свет из звёзд, и рос паденье,
сиденье в речке без трусов,
и даже то стихотворенье,
что из прокуренных усов.

Кругом зады и сенокосы,
здесь даже сам Иисус Христос
ходил бы пьяным, голым, босым
и только в венчике из роз.

И даже тот насос-паскуда,
ревущий как пятьсот турбин,
нам мил и люб, подлец, покуда
качает воду из глубин.

Как притягательно заразна
такая жизнь! Её бы для,
так бы и жил здесь невылазно,
для радости, здоровья для.

Вернувшись в город, получаешь
под дых и в нос – сплошной невроз,
и вдруг однажды замечаешь,
что воешь ты, а не насос.

В ТУ ПОРУ

…в ту пору я легко писал стихи,
полулежал, зарывшись в одеяла,
и светлою волною накрывало,
и все огрехи были не грехи,

и я едва ли ощущал себя
(не будучи ни мальчиком, ни мужем),
цвела под носом первая, к тому же,
пыльца волос, какую теребя,

я складывал небесное с земным,
соединял духовное с телесным,
и было то настолько интересным,
что просто не желало быть иным,

звучала песня, в общем нехитра,
но столько было счастья в каждом звуке… –
ничто, ничто не слаще этой муки,
когда тебе четырнадцать с утра, –

и мир был нов и трогательно люб,
и рифмы сразу зрелыми рождались,
как вишенки рукой с куста срывались
и клались в рот меж удивлённых губ…

Я ВЕРНУЛСЯ

Я ушёл от тебя, бородатый, –
слишком гордый я был человек –
и шатался весёлый, поддатый
по земле весь отмеренный век.

И хотя многократно рисуем
был мне образ твой, о борода,
я тебя поминал только всуе
вместе с блядью и чёртом всегда.

И теперь, на пороге, над бездной,
прошепчу я, синея губой:
знаешь, бог, это было полезно,
я вернулся и буду с тобой.

Посидим, за судьбу поболтаем,
ты же любишь о сущем болтать,
так и вечность, глядишь, скоротаем,
если можно её скоротать.

Ты поведаешь мне, тяжела ли
жизнь в верхах – как старик старику.
Отодвинь-ка подальше скрижали
да возьми, лучше, пиццы к пивку.

ЛЕТО НА ДАЧЕ

Лето на даче, душа на отдыхе.
Солнце купается в белом облаке.
Речка резвится и зелень стелется.
Что-то мне в счастье не очень верится.

Как-то привычней, милее, что ли,
душу, как в душе, купать в недоле
и сознавать, сколь отрады зыбки,
предпочитая хандру улыбке.

Как-то понятней душе измученной
жить, чтобы жизнь, как процесс, наскучила
пуще мигрени и инфлюэнцы и
прежде подагры и импотенции.

И чтобы не было ничего кроме и
было бы так же, но только знакомее,
так, чтобы сердце тоска царапала,
чтобы из глаза и с неба капало,

чтобы лежать на диване лежнем,
если о жизни мечтать – о прежней,
если чего и захочет тело –
так отвечать ему: надоело!

Просто прошу вас, не надо париться,
дайте лежать и спокойно стариться,
ибо сегодня душа на роздыхе,
дайте ей в летнем растаять воздухе.

ОХОТНИК И НЕОХОТА

Охотник проснулся, охотник не хочет
идти на охоту, там дождик, там мочит,

там что-то гуляет по небу недобро,
стозевно и обло – но только не вобла,

слегка сголуба – но, похоже, не гомик,
там в искорках пота не ёжик, не слоник,

там жёлтое что-то, там что-то краснеет,
пойду-ка к окошку, чтоб видеть яснее…

И из-под простынки он выпростал ножку,
ведь каждый охотник ребёнок немножко

и каждый охотник, конечно, желает
не только узнать, где фазан обитает,

но также понять, как нормальный мнемоник,
зачем там гуляет не ёжик, не слоник

и точно не вобла, которую ели
и точно вчера под пивко одолели…

Запнулся охотник о вилки и ложки
и в капельках синих увидел в окошке

зелёное что-то на пасмурном небе,
как плесень, которую срезал на хлебе,

которым вчера приходилось в охотку
закусывать пиво и воблу, и водку…

И было виденье: висит на осине
не красный, не жёлтый, зелёный и синий,

но больше оранжев, слегка фиолетов,
забытый кусочек ушедшего лета

и всеми цветами играет на солнце,
и радугой, вроде бы, даже зовётся.

Воскликнул охотник: глядел бы часами!
у солнышка нынче круги под глазами!

оно, видно, тоже вчера согрешило,
а утром поплакать немного решило.

И он улыбнулся, залез под простынку
и тут же уснул под капели сурдинку,

успел лишь подумать: сегодня суббота,
охота в субботу – всегда не охота…

ПЕРВЫЙ ЛУЧ

В который раз уж этим летом,
в своей решимости упрям,
садам, их кронам и ветвям,
дворам, их крышам и дверям,
и всем вещам, и всем предметам
своим непостижимым светом
рассвета луч, и зрим, и прям,
дарует, будто алтарям,
востока золото, и где-то
у горизонта, тут и там,
в снега лиловые одеты,
взмывают тучи-минареты
как пики новых Фудзиям.

О КРАСОТЕ

Когда, хлебнув чайку, он встал из-за стола
и руку опустил за куревом в карман,
вся пойма вдоль реки была уже бела.
"Туман, – подумал он. – Какой густой туман!"

И, хрустнув позвонком, с гримасою в лице
проследовал к двери, где вечера настой
застал его врасплох, и, стоя на крыльце,
он думал про туман: "Какой же он густой!"

Садилось солнце в дол, пылали облака,
а ниже – тёк туман. Знакомые места
лежали перед ним – как в луже молока.
И он подумал вдруг: "Какая красота!"

И в этот вечер он решил огня не жечь,
убрал в карман кисет, в котором самосад
тепло похрустывал, потом решил прилечь,
и навсегда прилёг, увидел райский сад

и тут же заскучал по красоте.

Зрачком до слёз промеренная даль…

Зрачком до слёз промеренная даль
и солнце, что, привстав, уже садится,
и полсталетней выдержки печаль,
всё ковыряющая в сердце спицей,
и к ним, как не последняя деталь, –
замученная в кулаке синица;

засим идут бессонница и мгла
с названьем лето, но не лето вовсе,
поскольку у него спроси тепла –
оно немедля превратится в осень,
и сучий брёх, торчащий как стрела
из мозжечка пером многоголосья;

добавим к куче то, чего нельзя
туда не кинуть: глупую привычку
существовать, и дома – в шестьдесят –
отсутствие, и думу-рахитичку
о бесполезности всего и вся –
от курицы до ейного яичка, –

и мы, возможно, обнаружим смысл,
который правит всей моей вселенной,
где я и режиссёр, и сценарист,
и даже сам себе военнопленный
и где я вынужден любую мысль
орально ублажать и внутривенно,

где у всего первопричиной лень,
где свет парадоксально неподвижен,
где из угла маячат что ни день,
чудесно не отбрасывая тень,
в последний путь намазанные лыжи.

С ЛУЧШЕЙ ДЕВОЧКОЙ В МИРЕ

Я не стану сходить от любви понемножку с ума –
я сойду уже весь, раскатав по-щенячьи губёшку.
Обломай об меня свои белые когти, зима, –
я не стану твоим, ни взаправду и ни понарошку.

Чьё-то имя нездешнее, бредя, шепчу, лепечу
и как будто лечу, хоть ещё не уверен – лечу ли.
С лучшей девочкой в мире водить хороводы хочу,
с лучшей девочкой в мире, что пахнет клубникой, пачули.

С лучшей девочкой в мире в душе моей сто бесенят
вновь уверуют в рай и в забытую цифру шестнадцать.
С лучшей девочкой в мире я стану безумней стократ
и в свои шестьдесят уже не захочу возвращаться.

ХОЧУ БЫТЬ ДЕРЕВОМ

Шибают прелью складки октября,
чернеют лужи, и слабеет разум.
Сегодня крив я. Нет, скорей, – коряв
и веселящим одурманен газом.

Да так, что впору в небо прорастать
остатним всем, а не сидеть как репа,
дрожать листвой и облако вдыхать,
и выглядеть и молодо, и лепо…

Стать деревом! – Мне это по плечу.
Недаром же такое часто снится.
Хочу быть деревом, быть деревом хочу,
хочу стволиться и хочу ветвиться.

И в птицах быть. И пахнуть. И цвести.
И из рассветов добывать румяна.
И андрогином стать, и травести,
зеленоглазым и от ветра пьяным.

И обрастать, как водится, корой,
такою нежной – как соски на сиськах.
И оставаться, в общем-то, собой –
нормальным дубом, навсегда российским.

ОКТЯБРЬ

Прямая речь осин – сплошные многоточья,
глагол слюнявит свой страдательный залог…
Бесстрочием разбит, я увидал воочию
беспрочье октября – и лёг, и занемог.

Раскиданы листы и опус недописан,
водянка в мозжечке и мор среди затей.
Октябрь, царь бомжей, в своём тулупе лисьем
бредёт и бередит мне душу, Берендей.

Зачем он тут? – Физиономия помята
и озерца лица – глаза его – пусты,
сочится сукровица бледного заката
из намозоленной дождями темноты.

Лишь ты, любимая, одна – без заморочек,
вся – в лёгком хохотке, вся – в хлопотаньи рук…
Ещё чуть-чуть тебя – и выпорхнут из строчек
тире – стрижи мои с путёвками на юг.

СВЯЗЬ

Есть в России город Луга
Петербургского округа;
Хуже не было б сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего.

А. С. Пушкин

Теперь, когда зима и скован ворот
ледком февральским у моей дохи,
я выдыхаю снежные стихи
о городе моём. Далёкий город
был тем, который славят петухи

неистовей любых поэм и песен,
и где, случайно выйдя за сарай,
ты находил и край Земли, и край
отхожей ямы. Зелен и древесен,
он был похож на обретённый рай.

Он так жасмином пах, когда смеркалось!
В нём был покой и старая изба,
и милая моя, святая ба,
и лето в нём, начавшись, не кончалось,
как не кончалась никогда гульба.

Зачем теперь о дальнем и ненужном
я вспоминаю, память вороша,
когда уже и тело, и душа
в согласие пришли и в этом вьюжном
углу я доживаю не спеша?

Зачем приоткрываю эту дверцу
и снова совершаю этот путь?
Уж не затем ли, чтобы отдохнуть
от холодов смогло больное сердце,
а я чуть-чуть, ну хоть чуть-чуть, всплакнуть?

Местечко между Питером и Псковом,
сирени взрыв и керосинки вух
на общей кухне, и засилье мух,
и ветреная Светка Иванова,
смущавшая мой неокрепший дух, –

вот золото! Захочешь – не растратишь.
И боль саднит, остра и ножева.
Гляжу сквозь занавесок кружева,
как ты, шальное детство, мимо катишь
и мама улыбается, жива.

И вдоль дороги – тот же земляничник,
а за леском – всё то же Омчинó,
куда, безусым, нам запрещено
под страхом порки, – помню всё отлично,
как будто в сотый раз смотрю кино.

В бессчётный раз глотаю приворотный
настой тоски и мучаю листок,
и каблуком взрывается песок
оксюморонной улицы Болотной,
и все шаги – как выстрелы в висок.

Забытый город, что рожденьем дался,
ты весь во мне, ты как чудная вязь
предутреннего сна. Оборотясь,
скажу: с тобой я так и не расстался,
вступив в причинно-следственную связь.

БЕЗ НАДЕЖД

Грязца дорог расквашена дождём.
Дерюга туч – одна для всей округи.
На проводе иззябшие пичуги –
как ноты песни "Лучше подождём".

В такую пору нужно сохранять
в подперье сухость – пусть вода летает.
К тому же небесам, что протекают,
видней, кому сидеть, кому летать.

Сыра постель и даже мысль сыра,
одно и есть занятье для потехи –
смотреть, как время, капая со стре́хи,
в кровь разбивается о дно ведра.

Не нужен горизонт – он отродясь
столь незаметен и неадекватен,
что даже сам не знает, что́ из пятен
есть свалка туч, а что земная грязь.

Лишь иногда в какую-нибудь брешь,
в случайную дыру, спускает солнце
луча спасительного волоконце
и шарит, по привычке, без надежд.

ПАРЕЙДОЛИЯ

Семь из семи в неделе отышачишь –
и выстрелит душа как самострел,
и полетит стрела тоски на дачу –
в деревню, где когда-то ты успел

увидеть в сонных ивах – веки Вия,
в овсах – усы славянские Дали,
где из зрачка растёт парейдолия –
цветок блаженной некогда земли,

где у калитки (голо, оголтело,
мальчонку потрясая до трусов)
младым дубком омела овладела,
как есть – Памела пубертатных снов,

где ум до сердца не бежит с вопросом,
а здрав ли я, когда вылазит дым
из труб печных то Чосером, нечёсан,
то в бороду закутанным Толстым,

когда в сторонке стайкою девчонок
берёзы собираются в кружок
и пробирает речку до печёнок
боль за ундин, попавших на крючок,

где бьёт фонтан фантазии и зыбки
границы все, и мир одушевлён
и умещён на уголке улыбки,
в которую ты перевоплощён,

где воин терракотовый – картофель –
из глинозёма прёт через века,
где счастье ни анфас, ни в профиль
так не похоже на тебя, на старика.

ПОЙ!

Когда в тебе все силы разом
иссякнут, словно от хулы,
и твой непобедимый разум
споёт прощальное "курлы",

когда ты, жалок и недужен,
поймёшь, не занятый ничем,
что всем вокруг ты стал не нужен,
да и себе-то – низачем,

иди туда, куда уходят
все те, кто больше не у дел,
и где все твари по природе
своей – есть сущности без тел,

туда иди, где горячее,
куда спокон тебя влекло:
где сера гуще, жар сочнее,
где тот, что с вилами и Ко,

и где полно клыкастых бестий,
что отторгает мать-земля,
где все, кто одиноки, вместе
скулят одно: финита ля.

Быть может там, среди уродов,
томясь как вялый артишок
в плену котлов и сковородок,
ты вдруг воскликнешь: хорошо!

И, прокоптив углём древесным
своё срамное неглиже,
уже не вспомнишь о телесном,
не говоря уж о душе.

Не вспомнишь ты, как ретивóе
в груди плясало гопака,
как напряжённой тетивою
звенела каждая строка,

и не прокрутишь на начало,
до ламца-дрица-гоп-ца-ца,
и будет всё – одно мочало,
одно мочало, без конца.

Ни галуны, ни позументы
пускай тебе не по чинам,
пока живёшь – лови моменты,
в моменты жизнь заключена.

И насмерть стой, пока, хоть тресни,
не пал последний твой редут,
и пой свои шальные песни,
поскольку завтра не дадут.

А у черты со всех силёнок
зажми зубами не обол,
но – русский, жгущий до печёнок,
лукавый, солнечный глагол.

Доешь обед, пуская ветры,
и слушай, как баском тугим
кишок ликующие метры
поют тебе последний гимн.

ПИСЬМО О РАСТОРЖЕНИИ

На сто десятом этаже
планктон практически невидим.
Писал письмо о расторже…
и вдруг себя возненавидел.

И, воротник рванув, – к окну.
Ух, как в аду многоэтажно!
И одинаково. Скакну
в Москву, в Лумпур, в Бомбей – не важно.

Пусть упаду, но пролечу
сто девять все – со всех лопаток
и дам почувствовать плечу,
как это сладко – быть пернатым.

И там, на первом этаже,
где ад асфальтов и щебёнчат,
своё письмо о расторже-
ньи всех договоров закончу.

Топлёное – до пенки – молоко…

Топлёное – до пенки – молоко
да с лучшим в мире сахарным печеньем –
знакомый вкус. Уйдя так далеко
в заведомо неверном направлении,

не знаю почему, но я не сгуб.
Теперь, когда ни кожи и ни рожи,
мне этот вкус недолюбивших губ
всё чаще грезится – до мурашей по коже…

Прости меня за то, что был тяжёл,
что разменял дорогу на тропинки,
прости меня за то, что я ушёл
и целое разбил на половинки.

Любимая, когда-нибудь, в тиши,
мы снова встретимся – до ёка и до оха,
и ты мне скажешь: просто почеши
мне спинку, милый, без тебя так плохо.

Ты будешь старая, а я – древня древней.
Моя рука, уже без сгиба в пальцах,
прильнёт к тебе, помнёт тебя взашей,
разгладит твой окаменевший кальций.

И мы обнимемся как прежде, я и ты,
последний дух из душ рискуя выжать,
и навсегда останемся слиты,
поскольку нам иначе и не выжить.

РОДИНА

Я любил тебя так – что ни дать ни взять,
ни отсыпать впрок, ни сгрести в охапку.
Там, где матери было где подремать,
там, где дед мой когда-то притиснул бабку,

где солома свивалась от матерщин
и звезда цеплялась за ель, взлетая,
ты из отроков делала нас, мужчин.
Но теперь я вырос и я не знаю,

то ль в Багдаде мне трескать инжир-халву,
то ли в Юрмале дом возвести из бруса,
то ли место моё навсегда в хлеву
средь безмозглых овец Иисуса.

Рассвет. Окно…

Рассвет.
Окно.
В кроватке – спящий мальчик
(для грустных размышлений слишком юн),
и солнечный к нему крадётся зайчик –
как рыжий кот, как утренний шалун.

Ликует день, природа оживает,
щека ребёнка – в солнечной пыльце,
и свет небес улыбку омывает,
цветущую на ангельском лице.

Я задремал, и мой проснулся мальчик,
и улыбнулся, и "привет" сказал,
и вдруг заметил я: настенный зайчик
за полчаса два метра пробежал!

Когда бы не любимое созданье,
не смог бы я кошмара превозмочь:
я вдруг увидел скорость умирания –
по зайчику, крадущемуся прочь.

"Ты плачешь? " – я услышал, убирая
с ресницы непослушную слезу.
"Ну что ты, милый! Просто я зеваю,
и от зевка слеза в моём глазу".

ЛЮБЛЮ

Люблю бокал "Клико" на завтрак
(один бокал – чему он враг?),
газету – утреннюю мантру,
глоток-другой "Копи Лювак",

одно яйцо арауканы,
на тонком тосте мармелад
и чтобы Джон, слуга из Ганы,
не спал, когда с ним говорят,

и не был, как лошок, потерян.
Послушай, Джон… Хэлло-оу, Джо-он!
Скажи мне, Джон, ну как там Мэри?
Всё хорошо? Ну хорошо.

Я знаю, ты вполне приветлив,
приём сегодня у Де Жак,
скажи, чтоб подавали бентли,
не для приёмов кадиллак.

О чём, то бишь, я?.. А, о главном!
О том, что знаю и люблю.
Ну вот скажите… так забавно…
с утра немножечко туплю.

Итак, вернёмся же к искусству
любить не всё, но глубоко.
Все, кто подвержены распутству
безвкусиц, – где-то далеко,

а здесь, в имении Ювенти,
о всяких глупостях – ни-ни.
К примеру, есть ли sentimenti
у вас при слове "Балвини"?

Что? Никаких? И мысли скисли?
Но это же простой вопрос!
The Balvenie – есть лучший виски,
когда since nineteen sixty first.

Засим идут: из Эрисейры
ракушки всяческих племён,
что – в атлантическом бассейне,
уж и не помню их имён,

в черничном соусе косуля,
пюре каштанов, козий сыр,
что в Пьенце сварен был в июле,
но только если он без дыр.

Люблю, когда костюм – в полоску
да с блёсткой, мать её ети,
которую уже, для лоску,
не видно метров с девяти.

Люблю, когда носок у туфель
не уступает кораблю,
белужьи яйца, чёрный трюфель,
а белый трюфель не люблю.

Ещё люблю, когда от грёзы
не отрывают грубо так!..
Что в холодильнике? Морозы?
Увы. Ну здравствуй, "Доширак".

ЭПИКУРЕЙСКИЙ СОНЕТЕЦ

В последний день смешного февраля
я три рубля последние потрачу
и укачу, как водится, на дачу,
где всё предрешено и без рубля.

Где небеса, полёгшие в поля,
ещё сини и где я, наудачу,
впервые в девятнадцатом заплачу,
себя капелью ранней веселя.

От ничегонеделанья сопрев,
вечор из баньки выскочу наружу
и голым побегу среди дерев

навстречу счастью под названьем "ужин",
который съем рыча, который съев,
я снова в жизни смысл обнаружу.

СВЕТА

Кому-то лагерь пионерский мил.
В тот год – не мне, я ненавидел лето.
Но вдруг нашёл под майкой пару крыл –
в тот день, когда вожатой стала Света.

Смешно теперь об этом говорить,
но память до сих пор её рисует.
Ну как тут было Свету не любить,
слегка промокшую в тот день, слегка босую

и с босоножками спасёнными в руке,
с дождя ворвавшуюся в жизнь мою, о боже.
И эти капли на её щеке…
И эти прыщики на мокрой коже…

Едва ли мог представить тот малец,
что Света прорастёт воспоминаньем
сквозь всю кору, сквозь пятьдесят колец
бессветного его существованья.

Теперь, когда иной мне брезжит свет,
она стоит передо мной, полуодета,
и капает с волос её на плед,
и на пол капает. И – лето.

НОЯБРЬ

Ноябрь, драное пальто, –
бродяжкой на пороге.
Входи же, милый, здесь никто
не вытирает ноги.

Садись к огню, бери стакан,
оставь повадку лисью,
мы снова вместе, воздух прян
и смяты желтолистья,

и птицы бесперечь поют
про новые гастроли…
Ну и зачем, скажи, ты тут?
Не за моей душой ли?

Поверь мне, милый дуралей,
я не всплакну, не струшу.
Бери её, бери скорей,
мою смешную душу.

Я разолью стакан на два.
Моя душа, не скрою,
который год едва-едва…
полёвкой под листвою.

Ещё шуршит, но как-то так…
уже почти без звука,
и зла, поскольку скуден злак:
всё скука да разлука.

А тут, на счастье, – ты зашёл,
пускай – на миг короткий,
давай, дружок, – на посошок,
в последний раз, по сотке.

И не тушуйся, и не стой
как истукан в передней,
я ж у тебя, поди, такой
не первый, не последний.

КАК НИ КРУТИ

Как ни крути, всё плохо, очень плохо.
И завтра будет хуже, чем вчера.
И солнце сядет, и уйдёт эпоха,
и превратятся в ветошь вечера.

И валенки наденешь, и галоши,
но в некий час, среди простых затей,
нечаянно окажешься хорошим.
Для внуков. Как и раньше – для детей.

И эта живность так и будет шастать
перед глазами и любить тебя –
горластая, лобастая, ушастая,
не отставая, вечно теребя,

с утра пораньше, дальше, до обеда,
с обеда и до вечера – всегда,
используя тебя сперва как деда,
потом – как лошадь, а потом, беда,

ты будешь самолётом, вездеходом,
и киборгом ты будешь, патамушт
родился приспособленным к невзгодам
и нужным лишь для утоленья нужд

беспечного, галдящего наследья.
Какое счастье – пой и веселись!
И если ты не вспорот и не съеден,
то шпингалет возьми и застрелись.

Пляши и пой. Скачи и двигай попой.
Ушами ешь и висни на бровях,
ресницами, как форточками, хлопай
на всех возможных во Вселенной скоростях –

и станешь сладок ты и заизюмлен.
И все соседи на версту окрест
(дай бог им в этот миг благоразумья)
услышат, как ты воешь от безумья,
врастая сердцем в почву этих мест.